

...Что движет солнце и светила

ЕВГ. БОГАТ

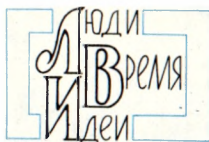


...Что движет
солнце
и светила

Л









Люди. Время. Идея

ЕВГ. БОГАТ

*...Что движет
солнце
и светила*

ЛЮБОВЬ В ПИСЬМАХ
ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1978

1 ББК 87.7
Б 73

ХУДОЖНИК Л. ЗУСМАН

70803—554
Б—————51Р—78
М101(03)78

©Издательство «Детская литература», 1978 г.

ЧАСТЬ I

Восхождение



ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА



ДЕНИ ДИДРО



СТЕНДАЛЬ (АНРИ БЕЙЛЬ)



МАРИ РОЛАН

ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН
ТЕРЕЗА ГВИЧЧИОЛИ





ВОЛЬТЕР (МАРИ ФРАНСУА АРУЭ)



ИОГАНН ФИХТЕ



ШАРЛОТТА ЛЕНГЕФЕЛЬД



ИОГАНН ШИЛЛЕР



КАМИЛЬ ДЕМУЛЕН
ЛЮСИЛЬ ДЕМУЛЕН

Два голоса

МАРИАНА АЛЬКАФОРАДО —
ШЕВАЛЬЕ ДЕ ШАМИЛЬИ

...Могу ли я быть когда-либо свободной от страданий, пока не увижу вас? Между тем я несу их безропотно, потому что они исходят от вас. Что же? Не это ли награда, которую вы даруете мне за то, что я полюбила вас так нежно? Но будь что будет, я решилась обожать вас всю жизнь и никогда ни с кем не видеться, и я заверяю вас, что и вы хорошо поступите, если никого не полюбите. Разве вы могли бы удовлетвориться страстью менее пылкой, чем моя? Вы найдете, быть может, возлюбленную более прекрасную (между тем вы говорили мне когда-то, что я довольно красива), но вы никогда не найдете подобной любви, а ведь все прочее — ничто. Не заполняйте более ваших писем ненужными вещами и не пишите мне более, чтобы я помнила о вас. Я не могу позабыть вас...

Я заклинаю вас сказать мне, почему вы так упорно стремились околдовать меня, как вы это делали, раз вам было известно, что вы должны будете покинуть меня? И почему вы столь ожесточились в желании сделать меня несчастною? Почему вы не оставили меня в покое в моем монастыре? Разве я чем-либо оскорбила вас? Но я прошу у вас прощения; я не возвожу на вас никакой вины: я не в состоянии помышлять о мести, и я обвиняю лишь

суровость своей судьбы. Мне думается, что, разлучив нас, она причинила нам все то зло, какого мы могли опасаться; она не в силах разлучить наши сердца; любовь, которая могущественнее ее, соединила их на всю нашу жизнь. Если эта моя любовь вам не вовсе безразлична, пишите мне часто. Я поистине заслужила, чтобы вы несколько заботились о том, чтобы оповещать меня о состоянии вашего сердца и ваших дел.

Женщины, которая это писала, вероятно, не существовало никогда, хотя в подлинность ее писем верили поколения читателей в течение трех веков. Дотошные литературоведы установили недавно, что действительно в XVII веке в одном из португальских монастырей находилась некая Мария-Анна Алькафорато, но любовные письма не ею написаны, а полузабытым литератором, дипломатом, острословом Гийерагом.

...С тех пор как вы удалились, я ни одного мгновения не была здорова, и моим единственным удовольствием было произносить ваше имя тысячу раз в день; некоторые из монахинь, зная о плачевном состоянии, в которое я погружена вами, говорят мне о вас весьма часто; я стараюсь как можно реже выходить из своей кельи, где я виделась с вами так часто, и я непрестанно гляжу на ваш портрет, который мне в тысячу раз дороже жизни, он дает мне немного радости; но он дает мне также и много горя, когда я думаю о том, что вас никогда, быть может, больше не увижу. Неужели вы покинули меня навсегда?

Неужели не было этой любви, этой тоски, этой нежности и потребности в понимании?! И перед нами та-лантливая литературная мистификация, шутка?!

Я пишу вам в последний раз и надеюсь дать вам почувствовать разницей в выражениях и самим духом настоящего письма, что вы наконец убедили меня в том, что разлюбили меня и что, следовательно, мне не надле-

жит более любить вас. Итак, я отошлю вам при первой возможности все, что у меня еще остается от вас. Не бойтесь, что я буду писать вам; я не надпишу даже вашего имени на посылке. . .

ЭЛОИЗА — АБЕЛЯРУ ¹

Ты написал своему другу длинное утешительное послание хотя и по поводу его невзгод, но о своих собственных. Подробно припоминая их с намерением утешить друга, ты еще больше усилил нашу тоску. Желая же исцелить его боль, нам ты нанес новые и расправил старые горестные раны. Умоляю тебя, исцели этот недуг, причиненный самим тобой, раз уже ты облегчаешь боль от ран, нанесенных другими. Ты поступил как друг и товарищ и отдал долг дружбе и товариществу.

Подумай о том, сколь великий долг лежит на тебе предо мною лично: ведь тот долг, которым ты обязался вообще перед всеми женщинами, ты должен еще ревностней уплатить мне, твоей единственной.

О мой любимейший! Все наши знают, сколь много я в тебе утратила.

. . . Ты обладал двумя качествами, которыми мог увлечь каких угодно женщин, а именно — талантами поэта и певца. Этими качествами, насколько нам известно, другие философы вовсе не обладали.

Как бы шутя, в минуту отдыха от философских занятий, ты сочинил и оставил много прекрасных по форме любовных стихов, и они были так приятны и по словам,

¹ А б е л я р Пьер (1079—1142) — французский философ, богослов и поэт. Трагическая история любви Абеляра и Элоизы закончилась уходом их в монастырь. Переписка Абеляра и Элоизы (1132—1135) была в XII веке переведена с латинского языка на французский и вдохновляла многих писателей.

и по напеву, что часто повторялись всеми, и имя твое беспрестанно звучало у всех на устах; сладость твоих мелодий не позволяла забыть тебя даже необразованным людям. Этим-то ты больше всего и побуждал женщин вздыхать от любви к тебе. А так как в большинстве этих песен воспевалась наша любовь, то и я в скором времени стала известна во многих областях и возбудила к себе зависть многих женщин. Какие только прекрасные духовные и телесные качества не украшали твою юность! Какую женщину, хотя бы она и была тогда моей завистницей, мое несчастье не побудит пожалеть меня, лишившуюся таких радостей? Кто из мужчин или женщин, пусть они раньше и были моими врагами, не смягчится из сострадания ко мне?

Подлинность этого письма бесспорна: была Элоиза, замечательная женщина, был Абеляр — философ-вольнодумец, и была их любовь.

... Душа моя была не со мной, а с тобой! Даже и теперь, если она не с тобой, то ее нет нигде: поистине без тебя моя душа никак существовать не может.

Но, умоляю тебя, сделай так, чтобы ей было с тобой хорошо. А ей будет с тобой хорошо, если она найдет тебя благосклонным, если ты за любовь отплатишь любовью, и пусть немногим вознаградишь за многое, хотя бы словами за дела. О, если бы, мой дорогой, твоя привязанность ко мне была не столь уверена, ты больше бы заботился обо мне! А ныне чем более ты уверен во мне, в результате моих стараний, тем больше я вынуждена терпеть твое ко мне невнимание.

На полях одной из копий письма Элоизы Петрарка добавил: «Ты везде, Элоиза, говоришь наисладчайше и ласково».

На что же смогу я надеяться, если я потеряю тебя?

НАЧАЛО

На что же смогу я надеяться, если я потеряю тебя, и что сможет еще удерживать меня в этом земном странствовании, где у меня нет утешения, кроме тебя, да и это утешение — только в том, что ты жив, ибо все прочие радости от тебя для меня недоступны. . .

Началось же земное странствование ее на самой заре XII века: в году то ли 1100, то ли 1101 — точно не установлено. И уж ровно ничего не известно нам о родителях и детстве ее, дошли лишь название монастыря, в котором изучала она латынь и мудрость античных классиков, — Аржантейль, и имя дяди, удочерившего ее, — Фульбер. Но если первые семнадцать лет ее растворены в сумерках рассвета, то подробности последовавших затем удивительных десятилетий, начиная с того часа, когда в доме парижского каноника Фульбера поселился магистр Абельяр, пожелавший обучать юную племянницу каноника Элоизу философии, вот уже почти тысячелетие ранят человеческое сердце. Самому Абельяру исполнилось тогда сорок; был он редкостно умен, образован, бесстрашен и славен, как никто во Франции; его диспуты с ортодок-

сами католической церкви заминались, как пятнадцатую столетиями раньше в Афинах беседы Сократа, которого Абельяр почитал высоко; чтобы учиться у несравненного магистра тонкому искусству диалектического мышления, юноши, оставив родину, семью, возлюбленных, тянулись в Париж с самых далеких окраин Европы. . .

Кто даже из царей и философов мог равняться с тобой в славе? Какая страна, город или поселок не горели желанием увидеть тебя?

Абельяр обманул каноника Фульбера: он полюбил тайно Элоизу еще до того, как поселился в его доме. И стал не учителем ее, а возлюбленным. Потом уже, когда судьба нанесла ему ударов больше, чем может выдержать самый мудрый и сильный, он нашел достаточно в себе чистосердечия, чтобы написать о тех днях: «Руки чаще тянулись к телу, чем к книгам, а глаза чаще отражали любовь, чем следили за написанным».

Теперь он писал не философские трактаты, а любовные стихи: их разучивали рыцари и ремесленники, купцы, горожане и горожанки и распевали не только в Париже. Это была любовь большая, естественная и долгожданная, как шар солнца, расплавляющий изнутри тяжкое, уродливое тело тысячелетней тучи.

Ночью, когда Абельяр мирно спал, люди, нанятые каноником Фульбером, жестоко изувечили его.

Скажи мне, если можешь, только одно: почему после нашего пострижения, совершенного исключительно по твоему единоличному решению, ты стал относиться ко мне так небрежно и невнимательно, что я не могу ни отдохнуть в личной беседе с тобой, ни утешиться, получая от тебя письма? Объясни мне это, если можешь, или же я сама выскажу то, что чувствую и что уже все подозревают.

Тебя соединяла со мной не столько дружба, сколько

вожделение, не столько любовь, сколько пыл страсти. И вот, когда стало невозможно то, чего ты желал, одновременно исчезли и те чувства, которые ты выражал ради этих желаний. О возлюбленный, это догадка не столько моя, сколько всех, не столько личная, сколько общая, не столько частная, сколько общественная. О, если бы так казалось мне одной, о, если бы твоя любовь нашла что-нибудь извиняющее, отчего — пусть немного — успокоилась бы моя скорбь! Если уж я лишена возможности лично видеть тебя, то подари мне сладость твоего образа в твоих высказываниях, которых у тебя такое изобилие, — писала она ему из бедной, суровой обители через семнадцать лет после разлуки.

Это были тяжелые годы и для Абеяра: католическое духовенство осудило его как еретика и заставило собственноручно сжечь философский трактат, в котором он защищал доводы человеческого разума. Абеяр бедствовал в дальней обители на берегу океана, каждый день ожидая, что его отравят или заколют. . .

Будучи юной девушкой, я обратилась к суровой монашеской жизни не ради благочестивого обета, а лишь по твоей воле. Ведь я не могу ожидать за это никакой награды от бога. Очевидно, что я так поступила совсем не из любви к нему. . .

Самое замечательное в этом письме, может быть, его начало: обращение — «господину, а вернее, отцу, супругу, а вернее, брату, служанка, а вернее, дочь, супруга, а вернее — сестра, Абеяру — Элоиза». Но и этих человеческих уточнений ей казалось недостаточно, она ищет «еще более нежное и чистое имя, которое только можно измыслить».

Пока я наслаждалась с тобой любовью, многим было неясно, почему я так поступаю: по любви ли к тебе или ради чувственности. Ныне же конец являет, что побуждало меня вначале. . .

Рядом с кельей, в которой жила, она сама похоронила его еще через шесть лет — еретика, чьи сочинения были осуждены церковью и папой.

Она не участвовала в диспутах и не оставила после себя трактатов, до нас дошли не философские сочинения ее, а письма Абеяру. Их стоило бы назвать не любовными, а тем новым, нежным и чистым именем, которое она хотела и не сумела «измыслить».

Она была моложе Абеяра на двадцать два года, но если искать название чувству, которое насыщает ее письма, то самое точное, пожалуй, — духовное материнство.

Она подарила человечеству больше, чем даже талантливые сочинения. Она внесла в мир себя самое. Она была в самом чудесном и полном смысле этого слова — луч солнца, высвечивающий возможность иных, высших, истинно достойных человека форм любви, которую ничто не может убить.

Элоиза первой в истории человеческих чувств — собственной личностью, судьбой — выразила мысль, которая стала потом истиной: целомудрие надо понимать не физически — это цельность духа.

И она первой убедила навечно: «Сказать: «Я тебя люблю» — значит сказать: «Ты не умрешь».

Новая замечательная эпоха — Возрождение — началась, в сущности, с отношений Элоизы и Абеяра, она началась не с великого зодчества, не с великой живописи и не с великих путешествий, а с великой любви. Новая глава в истории человеческого духа открывается строкой о любви. . .

Через сто пятьдесят лет девятилетний мальчик Данте увидит девочку Беатриче, «одетую в благороднейший алый цвет», и, став великим поэтом, расскажет о любви

к ней в книге «Новая жизнь», а потом в «Божественной комедии».

Может быть, он и не стал бы великим, если бы не полюбил, не изведal космическую мощь чувства, «что движет солнце и светила».

Этой строкой, как известно, заканчивается «Божественная комедия».

Потом молодой Петрарка увидит в авиньонской церкви Лауру...

«СЛАВНАЯ ДОБРОДЕТЕЛЯМИ...»

Существовали ли Беатриче и Лаура в действительности? А если существовали, то были они для Данте и Петрарки «очаровательными абстракциями» или же великие поэты любили их как подлинно живых, реальных женщин?

Добросовестные историки перерыли архивы и доказали с нотариальной точностью, что Беатриче и Лаура действительно существовали.

Второй же вопрос относится к той области человеческих отношений, которая не оставляет в архивах юридически бесспорных документов. Сонеты и канцоны — не нотариальные записи.

Кто-то из философов однажды обмолвился, что опыт любви — самый потрясающий опыт человека. Что бы ни говорили и ни писали о парадоксах любви, в этом потрясающем опыте существует нечто если не математически точное, то нравственно непреложное, бесспорное; несмотря ни на что существуют сумасшедшие закономерности, гармония странностей. Иначе это и не было бы опытом, то есть миром, отвоеванным у хаоса. И чтобы понять любовь Петрарки к Лауре — «заурядной жене» заурядного авиньонца, имевшей одиннадцать детей! — надо

углубиться не в архивы, а в самый потрясающий опыт человека.

О том, кто любит, говорят иногда, что новое состояние души делает для него окружающий мир нереальным. Мне кажется, точнее было бы утверждать, что этот человек видит в окружающем его мире новые реальности.

Более того, по степени точности ощущения этих новых реальностей можно судить, действительно ли человек любит. И когда Петрарка пишет: «Все — добродетель, мудрость, нежность, боль — в единую гармонию сомкнулось, какой земля не слышала дотоль. И ближе небо, внемя ей, нагнулось; и воздух был разнежен ею — столь, что ни листка в ветвях не шелохнулось», то в этом ощущении единства между человеком и космосом, в понимании того, что сердце и листва составляют целое, — мудрость любви, а не холодного умозрения.

Поэзия — от легендарной Сафо до нашего Николая Заболоцкого — подтверждает: истинной любви более, чем точным наукам, дано открыть эту новую реальность — родство между нашим существом и Плеядами, горящими на небе, или ритмом волнующегося моря. Это родство обыкновенно бывает закрыто от нелюбящего человека: ему кажется, что он существует сам по себе, и мысль, что человеческое сердце и галактики живут, возможно, по одним и тем же законам, не вызывает у него особенного доверия. Он не пережил той минуты, когда это открывается и з н у т р и.

Ну вот, я раскрыл томик Петрарки, чтобы выписать те строки, и уже не могу тотчас же отстранить его от себя.

«Ясны устал ловить. Надежды лживы». «И как мои не утомились ноги разыскивать следы любимых ног». «Мой плач — мой смех». «Коль не любовь сей жар — какой недуг меня знобит?»

Она улыбнулась. Она побледнела. Она наклонила голову.

Когда Петрарка увидел Лауру в одной из авиньонских церквей, было ему двадцать три, ей двадцать. Она была уже женой. Он — молодым ученым и поэтом. В срок вторую годовщину их первой встречи, через двадцать один год после кончины ее, Петрарка, уже старик, перебирая архив, нашел сонет, который раньше ему не нравился, и написал новые строки: «В год тысяча трехсот двадцать седьмой, в апреле, в первый час шестого дня, вошел я в лабиринт, где нет исхода».

Через пять лет он умер, сидя за работой, с пером в руке. Незадолго до этого написал: «Уже ни о чем не помышляю я, кроме нее». Он написал это, выдержав тяжелую борьбу с собой. Чем старше он становился, тем явственней ему казалось: любовь к ней — вина перед богом.

Но, видимо, я пишу сейчас вещи, известные достаточно хорошо. Не лучше ли рассказать о том, что дорого мне в этой истории?

Стареет любимая женщина. Седеют волосы, морщинами покрывается лицо, тяжелеет походка. Мне могут возразить, что Петрарка, ослепленный любовью, не замечал, как стареет Лаура, которую он видел изредка на улицах и в церквях.

Но он замечал. Более того, в самом начале любви к ней, когда Лаура была молодой, он увидел ее в воображении — постаревшую, с «увядшим ликом», и испытал нежность и боль, не сравнимые ни с одним из чувств не только в старой рыцарской любовной лирике, но и в его собственных сонетах. Эта нежность и боль выше бессонных ночей, когда он шептал ее имя. Бессонные ночи были и раньше в «самом потрясающем опыте человека», нежность и боль от мысли, что твоя любимая постареет, увянет, явились в мир с Петраркой.

В более позднем сочинении, через шестнадцать лет после того, как он увидел ее — юную — в портале собора, Петрарка утешает себя тем, что он «более обременен заботами и старше летами» и потому стареет быстрее, чем она, даже «истощенная болезнями и частыми родами».

Это уже не условный язык рыцарской поэзии, а реалистически трезвое размышление человека, который боится, что его любимая может умереть раньше, чем он.

Но в этой трезвости больше подлинного чувства, чем в самых «безумных» строках.

Когда она умерла, ей было за сорок. В тот век женщины увядали рано. Петрарка видел ее незадолго до «черной чумы», и он любил ее, как никогда раньше, — постаревшую.

Любовь Петрарки к Лауре часто называют «идеальной»; он, можно услышать, остановился на самой начальной стадии любви — на идеализации любимого человека. Он любил на расстоянии...

Любил бы он ее столь же возвышенно, если бы судьба соединила их жизни?! Любой ответ на этот вопрос относится, конечно, к области фантазии... Но сама тема «идеализации» заслуживает трезвого и серьезного рассмотрения.

«В любви неизбежна идеализация». Это утверждение стало общим местом. Но в отличие от многих общих мест, которые существуют пассивно, вне нашего сознания, и не оказывают ни малейшего воздействия на нашу судьбу, на формирование нашего отношения к человеку и миру, убеждение, что «в любви неизбежна идеализация», именно идеализация, то есть что любимый человек кажется нам телесно и духовно лучше, совершеннее, чем он есть на самом деле, это убеждение существует не вне нашего сознания и не пассивно. Хотим мы того или нет,

оно в решающую минуту оказывает воздействие на нашу судьбу.

Нам не устают повторять с детства: «В любви неизбежна идеализация», и мы начинаем воспринимать это как непреложную, рожденную тысячелетней мудростью истину.

Да, любящий видит в любимом то, чего не видят окружающие их, «не ослепленные любовью» люди. Они видят уголь, он — алмаз; они — «ничего особенного», он — чудо из чудес. Он не замечает иронических улыбок искушенных жизнью мудрецов, понимающих, чем кончится этот «эмоциональный шок» любви. Им-то, мудрецам, отлично известно, что рано или поздно чудо из чудес станет опять заурядным существом и тот, кто сегодня растроганно ловит малейшее изменение в выражении ее губ, тоже иронически улыбнется — над собой.

Искушенные жизнью мудрецы это уже испытали.

И вот наступает день. Покров, сотканный из солнечных лучей, падает, чудо из чудес подергивается серым пеплом обыденности, алмаз становится углем. Он или она тоже иронически улыбаются — поначалу действительно над собой, делаются искушенными жизнью мудрецами и наблюдают потом сочувственно-насмешливо за очередным безумием.

«В любви неизбежна идеализация» — это объясняет, успокаивает, это ослабляет боль утраты. Если идеализация, то, собственно, что же утрачено: мечта, мираж? Идеализация в любви — сон наяву. Стоит ли оплакивать сны? . .

А может быть, то, что мы, нисколько уже не задумываясь, называем «идеализацией в любви», на самом деле не идеализация, а нечто иное, несравненно более содержательное и реальное? Может быть, любящий видит единственную, высшую истину о человеке? Это истина о самом ценном и самом лучшем, что в нем заклю-

чено. Но заключено как возможность. И тот, кто его полюбит, видит ее явственно, выпукло, будто бы она уже и не возможность, а реальность.

В этом чудо любви: Уголь перестраивается в алмаз, но он и останется им надолго, навсегда, если его огранивать, а не пассивно им любоваться. Если за радостью узнавания следует радость труда.

Человечество за века — особенно успела в этом церковь — создало аскезу¹ нелюбви, но нет АСКЕЗЫ ЛЮБВИ, той, что учила бы, как сохранить навсегда увиденное в любимом человеке однажды, аскезы, которая разрушила бы пошлую «истину» о неизбежности идеализации.

Для того чтобы создать эту аскезу, надо, по моему, в первую очередь отрешиться от одного опасного заблуждения. Речь идет о традиции рассматривать любовь как нечто, относящееся, безусловно, к области стихийного и бессознательного, чем управлять кощунственно, да и невозможно. Она сама по себе рождается; она сама по себе уходит. Высшим выражением пафоса иррациональной мощи любви — в литературе и искусстве — была Кармен. Но и в обыденной жизни этот пафос торжествует: менее величаво, но не менее упорно.

Единственной на моей памяти попыткой направить эти волнующиеся, неуправляемые воды в «точное, каменное русло» был трактат «О любви» Стендаля, но недаром он при жизни писателя разошелся лишь в нескольких экземплярах, да и сегодня, честно говоря, не стал нашим настольным томом. Удобнее, легче, даже, пожалуй, радостнее воспринимать любовь в образе Кармен — шалой и вольной, не ведающей, что будет с ней завтра. Формула об идеализации любви, вероятно, и родилась как естественное оправдание радости, которую мы не

¹ Аскеза (греч.) — строгий образ жизни.

можем удержать дольше, чем она сама хочет быть с нами.

Но если то, что мы видим в любимом человеке, не очаровательная мимолетность, а высшая истина о нем, реальная возможность рождения подлинного алмаза, а мы, наслаждаясь идеализацией, не удержим навсегда увиденное однажды, то не ожидает ли (и не только нас, но и мир!) действительная утрата?

Хорошо известно, что делает ваятель, когда узнает в косной материи любимый образ, — работает. Отношение сознательного и бессознательного в этой работе не установить ни одному математику, но ясно одно: цель поставлена сознательно.

Нет, вероятно, и двух любящих, которые бы видели что-то совершенно одинаковое в тех, кого они любят. Любому открывается в любимом нечто совершенно особенное, единственное, отвечающее потребностям именно его души. Что ни любовь, то новая истина. Но, несмотря на разнообразие, «относительность» этих истин, существует и нечто абсолютное, объединяющее их.

Петрарка в соответствии с терминологией XIV века назвал этот абсолют «отблеском божественной красоты». Мы на языке нашего века и нашего общества назовем его бесконечной ценностью человеческой личности.

Нравственный труд по воссозданию и развитию этой ценности в любимом существе и должен составлять содержание аскезы любви. А совершен он может быть только сознательным усилием. Аскеза — отказ от себя, отречение. Аскеза любви — тоже. Из состояния «для себя» человек должен перейти в состояние «для тебя», перенести центр личного существования из «я» в «ты». Истинная любовь — духовное материнство; раскрывается оно в вынашивании лучших частей души любимого человека, они вынашива-

ются с материнской самоотверженностью и материнским терпением. Именно тут и ожидает нас чудо. Чтобы понять его, надо осознать любовь как творчество — творчество лучшего, что заложено в любимом.

Но ведь одна из самых замечательных особенностей творчества в том и состоит, что меняются, рождаются заново, не только полотно или камень, но и сам художник. К творчеству в любви это относится особенно. Потому что в нем и «субъект» и «объект» живые, и понять, кто же «субъект», а кто «объект», невозможно: оба они, если любят, духовно работают, воссоздавая лучшее, что заложено в любимом.

За радостью узнавания — радость труда, за радостью труда — радость рождения. Человек будто бы отказывается от себя, но при этом ничего не теряет, а только выигрывает. А точнее, он теряет себя частичного, а выигрывает себя целостного. Он рождается заново как личность, в которую вошел не только еще один человеческий мир, но и весь космос. Разрушаются перегородки эгоизма, обособленности, раскрывается новая емкость мировосприятия. Когда поэт пишет: «Я заметил во мраке древесных ветвей чуть живое подобье улыбки твоей», мы верим с ним, что любовь действительно космическое чувство.

Но гораздо чаще торжествует эгоизм. Он или она вынашивают лучшее не в любимом, а в себе. Борьба за первенство, за утверждение себя, желание господствовать, не раствориться самому, а растворить в себе делают идеализацию в любви неизбежной.

Эта борьба за первенство, желание господствовать заставляют и «вторую сторону» отвечать тем же. И вот человек, уныло уставившись в тускнеющий уголь, не верит, что он когда-то казался ему алмазом.

В одном старом томике меня поразила строка: «Тайна любимого лица». Размышляя над

ней, я думал: важно помнить, что любимое лицо имеет тайну. Ту самую тайну, которая окутывала черты Лауры.

В Амвросианской библиотеке в Милане хранится рукописный экземпляр сочинений Вергилия, принадлежавший Петрарке с его юности, — его любимая книга, его неразлучный спутник во всех странствиях. На обороте первой, белой страницы этого фолианта, которая своей лицевой стороной когда-то была приклеена к переплету, находится запись в восемь длинных строк, писанная собственноручно Петраркой; эта запись — единственное место, где он открыто и, называя Лауру по имени, засвидетельствовал свою любовь. Вот содержание этих строк:

Лаура, славная собственными добродетелями и долго воспеваемая моими стихами, впервые предстала моим глазам в раннюю пору моей юности, в лето Господне 1327-ое, в день 6-й месяца апреля, в церкви Святой Клары в Авиньоне, в час утренний; и в том же городе, в том же месяце апреле, в тот же 6-й день, в тот же первый час, лето же 1348-ое, у сего света свет оный был отнят, когда я случайно был в Вероне, увы! судьбы своей не ведая. Весть же горестная настигла меня чрез письмо моего Людовика в Парме, в том же году, в день мая 19-й, поутру. Тело ее непорочное и прекрасное было погребено в усыпальнице братьев Миноритов в самый день смерти к вечеру; а душа ее, я уверен, — как о Сципионе Африканском говорит Сенека, — возвратилась на небо, откуда была. Сие же, на скорбную память о событии, с некоей горькой отрадою положил я написать именно в этом месте, которое часто у меня пред глазами, да ведаю, что в сей жизни ничто не должно мне более нравиться, и дабы частое созерцание сего и помышление о

скоротечности жизни напоминали мне, что после того, как порваны крепчайшие сети, пора бежать из Вавилона, что помощью Божией благодати легко станет, если строго и мужественно буду памятовать суетные заботы, пустые надежды и печальные исходы минувшего времени.

Мы чувствуем в Петрарке живую, страдающую, тощую душу — душу, вызывающую острое сегодняшнее сочувствие, потому что он любит не «идеальный», вымышленный образ, а живую, «земную» женщину.

Его сонеты — письма к ней.

СТАРЫЙ ПАРУС

А сейчас в старинной почтовой карете въедем в старый Париж — Париж XVIII века...

Он смутно ширится над мостами, соединяющими берега Сены, — Париж почерневших соборов, живописных жилищ, лавок ювелиров, аристократических аллей, шумных рынков, немощеных улиц, каменоломен и Париж чердаков, где жили и мыслили философы...

Сегодня, на расстоянии почти трех столетий, Париж этот похож на город, который существовал не в живой реальности, а лишь в воображении художника. Но он существовал и не вызывал у современников — парижан XVIII века — ни малейшего восхищения. Он им казался неудобным, некрасивым, нескладным, нелепым...

Об этом «нескладном, нелепом» и исполненном восхитительных (восхитительными они кажутся нам — людям XX века) подробностей городе рассказано в книге Луи Себастьяна Мерсье «Картины Парижа».

Картины Парижа неотрывны от истории любви, ко-

торой посвящен наш рассказ. Они будут играть не роль декораций — с ними переплетены те тончайшие человеческие отношения, которые, возможно, в этом городе в тот век были одной из самых больших ценностей.

Когда-то по иному поводу я писал, что человеческие отношения могут быть долговечнее человеческой жизни — в исключительно счастливых случаях человеческие отношения сами по себе могут стать такой же реальной ценностью, как строения гениальных зодчих.

Когда я был в Париже — не в воображении, а в действительности, — в Париже сегодняшнем, то, стоя перед собором Парижской богородицы, или церковью Сент-Шапель, или Лувром, думал о том, что отношения двух людей, его и ее, которые ходили по этим улицам в XVIII веке, оказались не менее долговечными, чем бессмертные сооружения из серого тысячелетнего камня. И думал я и о том, что отношения этих двух людей сегодня волнуют нас особенно, как сегодня особенно волнует нас будто бы сотканная из невесомых, каменных, бестелесных кружев церковь Сент-Шапель. . .

В письмах к ней он не боялся писать о мелочах, подробностях, деталях, мимолетностях жизни, об анекдотах, историях, маленьких забавных событиях. . . А когда они не разлучались и им не нужно было писать писем, они об этом говорили. Они жили рядом, почти на соседних улицах.

Мне хотелось найти часто упоминавшийся в его письмах дом, где она жила, — на улице Старых Августинцев.

Я шел по ней, всматриваясь в узкие, непомерно высокие фасады старинных жилищ — плоские, одряхлевшие, с усталыми окнами, — и хотел угадать тот дом,

то окно. Давно, читая и перечитывая в Москве том его писем к ней, мечтал я о часе, когда буду идти по этой улице, искать этот дом.

10 июля 1757 года, вечером, он вошел в ее дом, не застал ее и написал:

Пишу, не видя. Я пришел; хотел поцеловать у вас руку и удалиться. Придется, однако, удалиться без этой награды; но разве я уже не буду достаточно вознагражден, засвидетельствовав вам, как я вас люблю? Теперь 9 часов; я пишу вам, что люблю вас. По крайней мере, я хочу это написать, но не уверен — послушно ли мне перо. Не придете ли вы, чтобы я мог вам это сказать и исчезнуть? Прощайте, моя София, прощайте; ваше сердце, значит, не говорит вам, что я здесь? Первый раз я пишу в сумерках: это положение должно бы привести меня в очень нежное настроение. Но я чувствую лишь одно: я бы не ушел отсюда. Надежда увидеть вас удерживает меня здесь, и вот я продолжаю беседовать с вами, даже не зная, выходят ли у меня буквы! Повсюду, где их не будет, читайте, я вас люблю.

Это было первым письмом Дидро к Софи Волан...

Потом в течение почти тридцати лет он написал ей еще пятьсот пятьдесят два письма. Кроме писем к любимой, он писал философские сочинения, комедии, романы и статьи в «Энциклопедию», ставшую величайшим событием в умственной жизни Европы. Он написал в «Энциклопедию» тысячу двести шестьдесят девять статей...

Пятьсот пятьдесят три... Тысяча двести шестьдесят девять...

Самое удивительное, что письма его к ней часто похожи на статьи, сочиненные для «Энциклопедии»: он рассуждает о развитии ремесел, особенностях архитектурных стилей, государственном устройстве Китая, влия-

нии искусств на нравы, пишет о культурных различиях народов и эпох, о странных обычаях и традициях. . . И письма к ней, даже самые энциклопедические, все же не похожи на статьи для «Энциклопедии»: он не сообщает ей те или иные философские, научные данные, как в статьях, написанных для «Энциклопедии», он их ей дарит, почтительно и щедро. Ему хочется ей подарить не только себя, собственное сердце, но и весь мир — с его обычаями, традициями, архитектурными стилями и странностями, достойными исследования и размышления. . .

Но, может быть, самое удивительное в том, что похожа на его письма к ней тысяча статей, написанных им в «Энциклопедию». И не одной лишь общностью тем похожа, но щедростью души и ума человека, которому хочется одарить весь мир чем-то выдающимся, даже бесценным, потому что он любит и он любим.

Порой кажется, что это — первая любовь, любовь почти детей. Он мечтает, чтобы его портрет хранился в шкатулке рядом с портретом ее сестры. Он называет это желание «сладостным» и «невинным». (Будто Ромео обращается к Джульетте!) Он пишет, что любит тонкие чувства, и соседство портретов — его собственного и сестры Софи — в одной шкатулке доставит ему особую радость. (Это уже не Ромео и Джульетта, это уже то новое, что раскрывалось тогда в человеческой душе.) Он задает ей вопрос: «Хорошо ли вы спали? Спите ли вы когда-нибудь, как я, раскинув руки?» Он восклицает: «Сколько нежны были вчера ваши взоры!» Он ликует: «Сколько нежны они с некоторых пор. Ах, Софи!»

Когда они познакомились, ему было сорок три, ей — сорок.

У него была жена, дочь, и немало романтических увлечений уже было в его жизни. (Однажды он даже бежал ночью из тюрьмы, чтобы удостовериться в невер-

ности возлюбленной, чувства которой стали внушать ему опасения, а наутро вернулся и был тюремщиками понят: в XVIII веке даже тюремщики понимали, что такое любовь!)

В тюрьме он сидел за ряд «возмутительных» сочинений, в том числе за «Философские мысли», в которых, наряду с вещами и более серьезными, а точнее, более острыми социально, утверждал: «Только страсти и только великие страсти могут поднять душу до великих дел. Без них конец всему возвышенному, как в нравственной жизни, так и в творчестве... Умеренные страсти — удел заурядных людей».

Он писал об этом бесспорно искренне, но великую страсть он изведal лишь через ряд долгих лет, уже немолодым — сорокалетним.

Была немолода и она. К сожалению, о ее жизни до встречи с Дидро нам почти ничего не известно. Почему она не вышла замуж и была не «мадам», а «мадемуазель»? Были ли и у нее увлечения романтические, любила ли она до Дидро?

Не сохранилось и ее портрета. Сам Дидро не расставался с ним никогда. Портрет Софи украшал обратную сторону титульного листа любимого им томика Горацио... Как известно, библиотека Дидро (и этот Гораций с Софи Волан) была куплена Екатериной II и переслана в Петербург, когда великого энциклопедиста не стало. Может быть, в недрах книгохранилища удастся когда-нибудь найти тот томик, и мы увидим лицо женщины, которую Дидро любил «безумно»?..

«Когда любишь женщину, — писал он Софи через четыре года после их первой встречи, — надо быть безумно в нее влюбленным, как я безумно влюблен в вас».

А может быть, если бы нашелся в питерских архивах тот единственный ее портрет, мы бы испытали, когда стихло острое любопытство первых минут, легкое удив-

ление: это она? Мы испытали бы это удивление не потому, что возлюбленная Дидро была некрасива или неочаровательна, а потому, что в XVIII столетии, во Франции особенно, утвердился тип женской красоты, все очарование которого заключалось в игре, изменчивости, подвижности лица, отражающего жизнь души.

Вот как описывала себя госпожа д'Эпинэ, подруга энциклопедистов, с которой поддерживали интеллектуально-интимные отношения и Дидро и Руссо: «Меня нельзя назвать красивой, но я не урод, я маленького роста, худощавая... лицо у меня насмешливое, живое, мягкое, интересное».

Портрет д'Эпинэ сохранился — она похожа на нем на девочку, затихшую после игры, стареющую в неподвижности, грациозную, умную не по летам, угловатую — острые колени, острые локти, острый подбородок, — чистосердечно-хитрую и некрасивую. Она то и дело разбивала чье-нибудь сердце. Потому что в XVIII веке любили красавиц XVIII века. Эта красота — почти бестелесная, с неправильными подвижными чертами лица — показалась бы, наверное, несерьезной в тяжеловатомпомпезном XVII веке и неглубокой в середине XIX. В XVIII же она утоляла потребность человеческой души в новой искренности и новой естественности. Но поскольку душа, как скрытый ребенок, часто стыдится именно этого — быть или стать более естественной и искренней, — то и ее жизнь выражается часто в игре, и это формировало тип женской красоты, потребовавшей от живописцев особого тончайшего мастерства: легко ли передать на полотне некрасивые подвижные черты, все очарование которых в том, что они непередаваемы. Этих некрасиво-красивых женщин любили с веселой самоотверженностью и трезвым безумием, с рыцарской верностью и тысячами сумасбродств. Может быть, первый раз в истории чувств ум и душу женщины люби-

ли настолько больше ее телесной яви, что последняя ценилась лишь в меру воплощенности души и ума.

Это было подлинным открытием женщины — не менее фундаментальным, чем последовавшие за XVIII веком открытия человеческого ума и сердца.

Полагаю, что в этом открытии особую роль сыграл Рембрандт, а точнее, та духовная работа веков, которую выявила его кисть. Выразив в женщине общечеловеческое, Рембрандт создавал, вырабатывал новые оценки женской красоты. После некрасивой Данаи и далеко не юной Хендрикке Стоффелс самых красивых и юных можно было любить лишь при условии, если в них заключалось хотя бы обещание этой духовности, которая, в сущности, не делится на мужскую и на женскую и если волнует в женщине сильнее, то лишь потому, что в сочетании с мягкостью, доверчивостью и детской открытостью женской души действует, ранит неотразимо...

Я все время ловлю себя на том, что в этом повествовании о любви мне то и дело хочется писать о вещах, будто бы к любви отношения не имеющих: не только о сонетах Петрарки к Лауре, но и о письмах Петрарки к Боккаччо, в которых он рассказывал о сокровищах старых библиотек, восхищался Цицероном, возвышенно говорил о бессмертии человеческого духа; мне хочется писать не только о любви Дидро к Софи Волан, но и о его любви к науке, мудрости, истине; мне хочется писать о великих людях, чьи жизни историю любви не украсили и не обогатили — о Сенеке, о Леонардо да Винчи, — и писать о них именно в повествовании о любви. Почему?

Потому, возможно, что все совершающееся в духовном мире человека, все, что его духовно углубляет и делает более мудрым, не может не воздействовать на сердце, на человеческие отношения, даже самые интимные, и без мудрецов античности не было бы через века

любви Абеяра и Элоизы. Самые далекие, казалось бы, от любви духовные состояния к любви не безразличны.

Но вернемся к потерянному портрету Софи Волан. Желание увидеть, хотя бы мысленно, лицо женщины, которую любил Дидро, мы можем, увы, утолить лишь общими рассуждениями о типе женской красоты в XVIII веке. Чтобы лучше понять этот тип — с неправильными, подвижными, мелкими чертами лица, часто изрытого оспой, как у возлюбленной Д'Аламбера Юлии Леспинас, — вообразим для контраста Венеру Милосскую или любую из античных статуй: ведь более далекого от античного идеала типа женской красоты, чем в XVIII веке, мир не видел. И это был век, когда любили, как никогда!

Для меня долгое время было загадкой то, что именно в античном мире, где женщину не любили, не видя в ней существа, равного по сердцу и уму мужчине, что именно в этом, не понимающем и не любящем женщину мире созданы в камне непревзойденные образы идеальной женской красоты. Потом я понял: это можно было создать, лишь не любя. Живая, земная любовь и подобное неземное совершенство — «две вещи не совместные». Мы помним миф о Пигмалионе: он изваял статую женщины — само совершенство — и умолил Афродиту, богиню любви, ее оживить, чтобы статуя стала его женой. Афродита, как известно, пошла навстречу его желанию: статуя стала живой женщиной. О дальнейшем миф умалчивает. Но мне кажется, что если бы это было не мифом, а реальностью, Пигмалион обратился бы опять к Афродите, на этот раз с мольбой, чтобы его любимая стала менее совершенной.

В образах античной красоты живут великие мысли, но не великие чувства. Это больше идея женщины, чем она сама. Шекспир, написавший в сонете о любимой: «Ты не найдешь в ней совершенных линий...», бесхит-

ростно объяснил тайну любви: она любит не то, что совершенно, она сама делает совершенным то, что любит. Она открывает человека как чудо и делает это чудо реальностью. Она видит то, что видит она одна, и делает это видимым для мира. Она величайший из алхимиков, делающий чистое золото из самых недрагоценных металлов. И ей не нужно идеальное совершенство; совершенство нужно для нелюбви как оправдание и единственно возможная радость.

Типы красоты менялись из века в век, потому что возрастала, усложнялась тоска человеческого сердца по пониманию и нежности, и то, что утоляло ее в XV веке, не могло утолить в XVIII. А то, что утоляло в XVIII, было в XIX не нужно. . .

Если бы римляне эпохи поэта Катулла могли увидеть женщин Модильяни, то, вероятно, сочли бы их уродливыми наподобие чужих богинь. Нам кажутся некрасивыми изящные с мелочной точностью римлянки того времени — мы не чувствуем в них души. А Катулл одну из них безумно любил и посвятил ей бессмертные стихи о любви. И стоит им ожить в нашей памяти перед изящным римлянкой, даже самой «бездушной», как видишь в мертвом камне живую душу, несовершенное становится совершенным. Но чудо не только в этом, чудо в том, что если бы к полотну Модильяни римлянин эпохи Катулла подошел с его стихами, женщина на полотне не показала бы ему красивой.

Типы красоты менялись быстрее, чем человеческое сердце, поэтому и возможна великая общность людей в искусстве, в любви, в истории. Поэтому легкое удивление, которое мы, люди конца XX века, возможно, испытали бы, найдя портрет Софи Волан, быстро уступит место пониманию, даже восхищению, стоит ожить в нашей памяти строкам из его писем к ней. . .

Они были немолоды, но люди, окружавшие их, от-

неслись к этой поздней любви назидательно и строго, будто бы имели дело с детьми, которых надо в их безрассудном увлечении остановить. В самом начале этой любви, когда Дидро и Софи сидели и говорили о чем-то в ее маленькой комнате на улице Старых Августинцев (конечно же, о любви они и говорили!), вошла ее мать (было у нее три дочери; две из них, в отличие от Софи, замужем), открыла ящик секретера, достала какие-то бумаги и вышла, не подняв головы, будто бы и не видела ничего. Но она увидела, и поняла, и потребовала, чтобы Софи уехала из Парижа в их маленькое родовое имение, и с тех пор постоянно, когда только могла, разлучала их, и именно поэтому письма занимают в их отношениях такое большое место.

Дидро был чересчур добр и великодушен, чтобы уйти от жены, которая соединила с ним жизнь, когда он был безвестен и беден; он был чересчур целен для того, чтобы уйти от дочери, которую нежно любил, а Софи была чересчур добра для того, чтобы настаивать на его разрыве с семьей, — и она на всю жизнь, до старости осталась «мадемуазель», а он остался на всю жизнь ее возлюбленным.

В нравственно нестрогом XVIII веке подобные отношения не вызывали осуждения, более того, общество их уважало, но и в том же нравственно нестрогом столетии любовь Дидро и Волян удивляла и даже порой раздражала целомудренностью и естественностью. Это была любовь без маски.

Когда в 1767 году, то есть через десять лет после того майского вечера, когда он, не застав ее дома, робко написал: «Я хотел поцеловать у вас руку и удалиться», ему передали, что Екатерина II хочет видеть его, гордость Европы, у себя в Петербурге, чтобы осыпать великими милостями, он ответил скульптору Фальконе, жившему, как известно, в России:

.. У меня есть подруга, я связан самым сильным и самым нежным чувством с женщиной, которой я посвятил бы сто жизней, если бы они у меня были. . . Я мог бы видеть, как мой дом рассыпается в прах, и сохранить спокойствие, мою свободу под угрозой, мою жизнь скомпрометированной, всякого рода несчастья, обрушившиеся на меня, лишь бы она осталась моей. Если б она мне сказала: «Дай мне свою кровь, мне хочется пить», я отдал бы ей всего себя, лишь бы утолить ее жажду. . . Я так нежно люблю ее, и цепь, которая нас обвивает, так нежно сплетена с нитью ее жизни. . .

Когда надо было выбирать между милостями императрицы и милостями любви, он не колебался ни минуты. И это удивляло, вызывало досаду в том веке, когда о любви больше писали, чем любили, больше восхваляли ее, чем жертвовали ради любимого человека чем-то существенным.

Но вернемся к его первым письмам к ней. Хотя любое из его писем к Софи, когда бы оно ни было послано ей, кажется самым первым. В этой любви торжествует вечное начало. Наверное, потому, что он любил ее, она любила его. Эта строка может показаться чем-то само собой разумеющимся, но, к сожалению, люди часто любят в любви именно себя самих. Он тоже, разумеется, любил себя, но потому, что видел: он нужен ей. И она, конечно, себя любила, но потому, что понимала: она нужна ему.

В 1759 году он ей писал:

Четыре года назад вы казались мне прекрасной. Ныне я нахожу вас еще прекраснее; такова волшебная сила постоянства — добродетели наиболее требовательной и редкой.

А через несколько дней задавал ей, как девочке, вопрос: «Не запретила ли вам маменька переписываться со мной?»

И сам себя успокаивал, как ребенок:

Вы... думаете обо мне, любите меня и будете всегда любить. Верю вам. Могу играть, гулять, разговаривать, работать, быть всем, чем угодно.

А через два дня:

Я люблю вас с искреннейшей и сильнейшей страстью. Хотел бы полюбить еще более, но это невозможно.

Но оказалось, что он ошибается; это возможно.

Еще немного, — писал он ей, — и буду с вами и принесу вам уста невинные, губы нетронутые, глаза, какие вот уже месяц ничего не видят. Как мы будем счастливы, когда мы вновь встретимся.

И в том же письме замечательные строчки, в которых соединились его ум и его сердце:

Я познал всю мудрость наций и решил, что она ничего не стоит в сравнении с той безумной нежностью, которую мне внушает моя подруга. Я услышал их величественные речи и подумал, что одно лишь слово из уст любимой вызывает в душе моей волнение, какое они не в силах дать мне. Они говорили мне о добродетели, и образы, какие они рисовали, возбуждали воображение мое; но я предпочел бы увидеть мою милую, молча смотреть на нее и уронить слезу, которую вытерла бы она своей рукой или осушила своими губами.

Но отвлечемся на минуту от писем ради старого Парижа, жизнь которого, как я уже говорил, неотрывна от этой любви.

Когда я шел ночью по улице Старых Августинцев, а час ночной выбрал я потому, что хотелось мне тишины и безлюдия, я думал опять и опять о том, что любовь их неотрывна от старого Парижа, от его немощеных улиц, карет, рынков, мастерских ремесленников, «философских» чердаков, от самого воздуха столицы Франции XVIII века.

Чтобы понять их отношения, которые и «лепились»

XVIII столетием, и были вызовом ему, надо войти, углубиться в старый Париж, в старый век...

Парижане любили не только веселые развлечения, но и серьезную музыку; они ходили в церковь, чтобы наслаждаться органом, вызывая тем самым досаду у высоких духовных особ, полагавших, что орган должен поднимать благочестие, а не мирскую радость.

Особенной любовью парижан пользовался органист Дакен¹, игравший в церкви Сен-Поль. И вот однажды трубы и педали этого органа были унесены для ремонта, осталась одна клавиатура. Большой орган был совершенно пуст. Тем не менее, когда в воскресенье церковь была полна поклонниками Дакена, он начал играть, и никто не заметил, что в органе недостает основных частей. Все голоса, казалось, были налицо, даже нежнейший голос флейты.

В церкви находились в тот день и инструментальные мастера, которым было известно, что орган пуст. «Не может этого быть, — говорили они между собой, — по-видимому, оставили в нем что-то». Когда Дакен кончил играть, они поднялись на хоры, осмотрели, даже обыскали орган и не нашли ничего... кроме маленького немолодого человека, который играл с непонятным, загадочным мастерством, вводя в обман даже инструментальных мастеров!

Этой истории нет в письмах Дидро к Софи Волан, хотя он любил ей сообщать все городские анекдоты. (О сердечных чувствах, писал он однажды, буду говорить тогда, когда не хватит «городских анекдотов».) Этой истории, повторяю, в его письмах нет. Они сами по себе эта история, потому что он, Дидро, в эпоху, когда в нравственном мире его века, казалось бы, отсутствова-

¹ Д а к е н Луи Клод (1694—1792) — французский композитор, клавесинист, органист.

ли столь необходимые «части», как естественность, доброта, постоянство чувств, размах страсти, не останавливающейся ни перед какими жертвами, когда игры в любовь было несравненно больше, чем самой любви, заставил «орган» играть на все голоса, поражая его полновзвучным богатством.

Рассказав ей все городские анекдоты, он добавляет:
Вы заслуживаете, чтобы я запечатал письмо, не повторивши вам, что люблю вас, но не могу сердиться и не ради вас, а ради себя самого говорю, что люблю вас всей душой, беспрестанно думаю о вас.

Это тот нежнейший голос флейты, которого не должно было быть в пустом органе, по мнению инструментальных мастеров...

Письма Дидро к Волан напоминают орган и тем, что самое личное, интимное соединяется в них с общечеловеческим, мировым.

Он резко расширил интимный мир личности, заложив в нем основы тех зависимостей и соотношений, которые сегодня, когда любой из нас не отрывает интимное от социального, кажутся чем-то естественным, но тогда обладали большой новизной.

Конечно, не случайно изменения эти в мире личности были совершены в XVIII столетии: ведь именно в нем — философствующем, любвеобильном и героическом в последнее десятилетие века — началась та великая метаморфоза (ряд колоссальных социально-экономических потрясений), которая и создала небывалый мир, окружающий нас сегодня...

Порой кажется, что люди XVIII века испытывали особое беспокойство, беспокойство перед отплытием. Они без конца писали и говорили, как без конца говорят люди в последние часы перед большим расставанием. Европа расставалась со старым миром.

И можно подумать, что лишь один человек не испы-

тывал беспокойства — Дидро. Он испытывал особое беспокойство — беспокойство любви, потому что, как все любящие, порой сомневался в сердце и верности любимой, но он был абсолютно уверен в великом будущем человечества.

Он верил в человечность. В одном из писем к Софи Волан он рассказывает о разговоре между собой и Гольбахом, тоже философом-вольнодумцем, энциклопедистом, но настроенным более пессимистически, чем жизнелюбивый, обожающий человека Дидро. Они говорили о жестокости и человечности. Они волновались, ссорились. Гольбах отыскивал в минувших веках дикие казни, горы отрубленных голов, массы растерзанных человеческих тел и с иронической улыбкой потчевал рассказами об этом чувствительного Дидро: полюбуйтесь, что за милое создание человек!

Дидро же говорил ему о героизме, о великодушии, о милосердии, о том, что открывалось ему в истории и современности. Он не игнорировал жестокие рассказы Гольбаха — сердце его наполнялось яростью к деспотизму, а «рука тянулась к кинжалу», но он был убежден, что истина о человеке полнее. Подобно большинству думающих людей века, он верил, что человек зол не от рождения, а от дурного воспитания и дурного законодательства.

Человек от рождения добр.

Пусть ошибаюсь, — писал Дидро Софи Волан, — я радуюсь, что подобная ошибка могла родиться в глубине моего сердца.

Он беспредельно любил человека.

Все, что натура человека заключает в себе правдивого, великого, мужественного, честного, трогает меня и наполняет мою душу волнением.

И в том же письме:

Нежный друг мой. Я люблю вас всем сердцем, это

чувство не в силах ослабить ничто, напротив, мне кажется, что оно способно еще возрасти.

Мне хочется сейчас снова на миг вернуться к великому органисту Дакену. Однажды во время службы, в рождественский сочельник, он так изумительно воспроизвел на органе пение соловья, что после окончания игры церковные служители послали сторожей на поиски птицы, которая, как думали, залетела под церковный купол.

О мой друг, — писал Дидро Софи, — когда Дафнис увидел свою Хлою после долгой жестокой зимы, разлучившей их, взор его помутился, ноги подкосились, он зашатался. . . В иные минуты мне кажется, если бы вы, друг мой, по какому-нибудь волшебству вдруг оказались возле меня: я умер бы от счастья.

Это поет соловей Дакена, тот соловей, которого так и не нашли под куполом церкви.

Они часто расставались надолго, и в то же время они не расставались никогда. Он безумно по ней тосковал, но не было и минуты, чтобы он не ощущал ее рядом. Он рассказывал ей в письмах обо всем в мире. И, в сущности, рассказывал об одном — о любви к ней. Он пишет о дожде, о философских беседах, о бесчисленных мелочах. . . Он передает ей содержание всех разговоров, которые показались ему почему бы то ни было важными. И — удивительное свойство любви! — самые далекие от их отношений разговоры оказываются для него существенными именно потому, что имеют осязательное и непосредственное касательство к его сердцу, наполненному страстью и нежностью.

В этом смысле весьма интересно его письмо из имени Гольбаха от 15 сентября 1760 года.

Во время сильного дождя, когда нельзя было выйти из дома и уже казалось, не о чем было говорить, «речь зашла о покупках и мебели». Гольбах высказывал мнение,

что о падении нравов в обществе можно судить по великому множеству мебели с потайными отделениями. Дидро возразил ему, что видит в этом лишь одно: люди любят теперь не меньше, чем любили в предыдущие века, но пишут об этом больше. И тут некая мадемуазель заявила: «Люди слишком много развлекаются, для того чтобы любить по-настоящему».

Дидро не согласился с ней.

Представьте себе, что у какого-нибудь народа вдруг обнаруживается всеобщее пристрастие к музыке. Тут, без сомнения, появится столько плохих музыкальных произведений, столько фальшивого пения и скверной игры на инструментах, как никогда. Зато люди талантливые как в композиции, так и в исполнении при возможности обнаружить свои таланты окажутся столь прекрасными исполнителями, певцами и композиторами, как никогда в иное время. Если нынче больше, чем когда-либо, плутней, фальши и развращенности, то и простодушия, прямоты, истинной привязанности, чувства деликатности, длительной страсти также больше, чем в прошлые времена. Кто создан любить и быть любимым по-настоящему, тот и будет по-настоящему любить и внушать любовь.

Это говорит истинный философ, и это говорит истинно любящий человек, и это играет орган Дакена, чья полнозвучная мощь и нежность особенно ощутима от того, что вокруг немало «скверной игры на инструментах».

От того, что истинный философ и истинно любящий человек были в нем органически объединены, он часто задавал ей в письмах детски мудрые вопросы — те самые вопросы, которые начинают волновать человека в самом начале его жизни. А было ему уже около шестидесяти, и он написал сочинения, о которых говорила вся Европа.

Почему люди незаслуженно страдают, — обращается он к подруге, — вот один из тех вопросов, на который по сию пору не дано ответа. Странная вещь — жизнь, странная вещь — человек, странная вещь — любовь.

Он хотел в исследованиях этих «странных вещей» дойти до самой сути и иногда казался себе безумным и жаловался Софи, что не понимает себя.

Но она его понимала. Ее письма к нему не сохранились, как и ее портрет, но сам Дидро не раз говорил о той роли, которую эти письма играют в его жизни.

Время рассеивает иллюзии, — написал он ей однажды, — для всякой страсти наступает конец. Но чем чаще я тебя видел, тем сильнее любил. Со временем моя нежность возросла; суть в том, что в основе ее лежат качества, реальность и ценность которых росла с каждым днем.

С годами росла не только нежность Дидро, но и его мудрость. И в этом росте творчески участвовала любимая женщина. Душа стареющего философа раскрывалась все полнее, делалась все более восприимчивой (чувствительной, как говорили в XVIII веке); стареющий мыслитель не старел, он плакал, смеялся, удивлялся, он был юно очарован миром, он с какой-то неизбывной первоначальной остротой воспринимал его новизну.

Тайна нестарения — в любви. В любви к женщине, обладающей качествами, «реальность и ценность которых росла с каждым днем».

Человека, не знакомого с жизнью Дидро, первый раз раскрывающего том его писем к Софи, может удивить, даже ошеломить одна их странная особенность; вот он пишет:

Люблю тебя так, как ты того желаешь, как ты того заслуживаешь... Мое почтение всем вашим дамам... Сколько разговоров вызовет мое письмо! Как хотел бы я вас послушать.

Какое письмо вызовет разговоры?! Но ведь оно настолько интимно, что, казалось бы, читать его может лишь один человек в мире!

Письма Дидро к ней читала вся семья Волан: сама Софи, ее строгая мать, ее замужние сестры. . .

Дидро, вероятно, понимал, что в условиях строгой «домашней цензуры», в которых оказалась его возлюбленная, когда ее родные делают все, чтобы их разлучить, письма его все равно будет читать не одна Софи. И это с самого начала отразилось на их форме; строки, обращенные лишь к ней, порой чередуются со строками, в которых он шутивно, с характерным для него расположением ко всем людям, обращается к ее матери или сестре. . . Но с течением лет эта, казалось бы, невозможная для любовного письма форма стала настолько естественной, что ловишь себя на мысли: иначе Дидро и не мог писать! А тайна естественности этой формы в целомудренности его отношения к ней; он писал ей вещи не менее нежные, трогательные, чем если бы обращался к ней одной. И он обращается к ее сестрам и матери, как к людям родным, которые не могут не понять его сердца. И он победил. Они — даже патриархально строгая мать — поняли его и полюбили.

А он писал и писал. . . Иногда ежедневно: про смешное и про серьезное, о мелочах и о «сильнейших жизненных порывах», он писал и забывал, что их отделяют сотни лье. «Пишу так, как будто нахожусь возле вас и беседую с вами, облокотясь на спинку вашего кресла». Он писал о бесчисленном множестве мелочей, о путанице лжи и истины, о «красоте моральной» и «красоте поэтической». Он, само целомудрие в жизни, порой восклицал — в духе XVIII столетия: «Картины, созданные добродетелью, спокойны и безжизненны, — только страсть и порок оживляют творения живописца, поэта и музыканта».

Сам он сумел соединить страсть с добродетелью.

Он сумел соединить страсть с добродетелью, потому что у него было большое сердце. (А. П. Чехов как-то восхищался тем неожиданно-бесхитростным определением, которое один мальчик дал морю: «Море было большое».) У Дидро было большое сердце.

Вот в череде «городских анекдотов» он рассказывает подруге и такой: одна бедная женщина явилась к человеку, который помог ей выиграть судебное дело; чтобы его поблагодарить, во время разговора она достала из кармана дешевенькую табакерку и собрала кончиками пальцев остатки табака. «Ах, у вас нет больше табаку, — сказал ее покровитель, — дайте мне вашу табакерку». И он положил туда два луидора, насыпал сверху табака, чтобы их не было видно.

«Такой великодушный поступок нравится мне...»

«Мне более по душе осушать слезы несчастным, чем разделять чужую радость».

Порой, рассказывая ей о том, что волновало старый Париж, он добавляет: «Философы много смеются над этими событиями».

Да, никогда философы не смеялись так много и так чистосердечно, как в XVIII веке. «Философы много смеются...» (Робеспьеру тогда было четыре года, он кормил голубей на пустынных улицах маленького города...)

В письмах Дидро к Софи ошутима смутная тоска по совершенному человеку, по человеку, который все может делать красиво: красиво любить, красиво шутить, красиво мыслить, даже... красиво играть в карты!

Дидро казался себе старомодным человеком, но на самом деле он был уже в открытом море, различая далекие берега новой жизни...

И вот он уехал, в конце концов, в Россию после долгих настояний его товарищей-энциклопедистов и самой Софи Волан, уехал не ради милостей Екатерины II, а потому что питал надежду содействовать освобождению русских крепостных и утверждению в Российской империи мудрого законодательства.

По дороге в Россию из Гааги он писал ей: «Где бы я ни находился волею небес, всегда буду носить любовь в своем сердце». «Разница в градусах широты не изменит моих чувств; и под полюсом вы будете столь же дороги мне...» «...Мы вновь увидимся, моя милая, нежная подруга!» Он называл ее, уже пятидесятилетнюю, «мое дитя».

Он вернулся, они увиделись, и долгими вечерами у камина он рассказывал ей, ее сестрам и матери о снежной России...

Когда-то он в одном из писем задал ей очередной «детский» вопрос: «Почему старики бывают красивы, а старухи нет?»

Она старела, ей исполнилось шестьдесят, шестьдесят пять — она стала старухой, — его любовь и нежность не убывали: она казалась ему по-прежнему красивой.

Накануне отъезда в Россию его чувство к ней выдержало, быть может, самое большое испытание, которое может выпасть на долю любви: испытание новой любви.

В 1870 году, когда Дидро было пятьдесят семь лет, он увлекся мадам Демо, сорокапятилетней красавицей, с которой познакомился на курорте. В большинстве жизнеописаний Дидро об этой его любви ничего не пишут, видимо не желая разрушить ощущение цельности его почти тридцатилетних отношений с Софи Волан. Но лож не совместима с любовью и с повествованием о любви.

О волнениях этой последней любви Дидро писал

другу, и почти в то же самое время он писал Софи Волан о нежности, о чувствах, которые испытывает к ней... Он лгал, лукавил? Нет! Искренность Дидро, как и его великодушие, вне сомнения. Все дело в том, что «милая подруга» стала для него настолько же родным человеком, как сестра, как мать, как нечто совершенно неотрывное от его сердца, она стала самой дорогой частью его души, и расстаться с ней было невозможно, как расстаться с лучшим в себе самом.

Когда Софи умерла, он, узнав об этом от дочери (Софи и дочь Дидро подружились в последние годы), выразил одно желание: уйти из жизни вслед за нею.

Через пять месяцев это желание исполнилось. Он умер за завтраком, жена обратилась к нему с вопросом, он не ответил.

Он умер без страданий, но жил он, страдая.

Когда-то в самом начале любви к Софи, он пересказал ей в письме историю, услышанную от одного моряка:

Была сильная буря, она повалила мачты и паруса, матросы изнемогали от усталости, корабль без руля был отдан на волю волн и ветра, который гнал его на рифы. Люди ожидали крушения, и тут один матрос нашел в трюме старый парус, истлевший, испещренный дырами; он натянул его, как мог, и тем самым спас корабль: потому что новые паруса под напором массы ветра рвутся, как бумага, этот же устоял в борьбе с ветром — потому что был дырявым — и повел корабль...

Когда читаешь письма Дидро к Софи Волан, кажется, что достаешь из трюма тот самый спасительный старый парус.

А дыры в нем — раны в человеческом сердце.

В 1818 году в жизнь Стендаля вошла великая любовь к Метильде Дембовской.

В 1817 году вышла его книга «Рим, Неаполь и Флоренция».

Читая ее, мы можем увидеть, исследовать те душевные состояния, из которых рождается любовь.

Он не любил, когда писал эту книгу.

Но его душа уже была открыта для великого чувства. . .

И ниже речь пойдет не о любви, а о том долюбном состоянии человеческого сердца, без которого подлинная любовь немислима.

Это был тяжелый период в жизни писателя; крах наполеоновской империи, реставрация Бурбонов, торжество политической реакции в Европе порой заставляли духовно богатых, нелицемерных, честно мыслящих людей раскрывать лучшие силы души в жизни не общественной, а частной. Стендаль сумел, путешествуя по Италии, изучая ее искусство, нравы, расширить сферу «частной жизни» до общечеловеческого, до «мировых уравнений. . .» (он увлекался математикой и любил естественнонаучные термины), до «мировых уравнений красоты».

В Милане ему посоветовали посмотреть собор в час ночи, когда восходит луна.

Царила изумительная тишина, — пишет Стендаль, — эти беломраморные пирамиды такого строгого готического стиля и такие стройные, устремленные в небо и четко вырисовывающиеся на его усеянной звездами темной, южной синеве. . .

Я оборву цитату на полуслове, чтобы тем явственнее было услышано:

. . . восхитительное мгновение.

И потом он еженощно ходил к собору ради этих «восхитительных мгновений».

Лишь человек, способный переживать подобные мгновения, может потом испытать и великую любовь. В сущности, как некая чудесная возможность она уже заключена в этих «восхитительных мгновениях», нужны лишь дальнейший рост души и счастливая встреча, чтобы она родилась.

Он все больше и больше наслаждается миланским собором, он дает ему замечательную характеристику: «Архитектура эта, лишенная разумных оснований, кажется воздвигнутой по какой-то причуде, она находится в согласии с безрассудными иллюзиями любви».

Через два года он будет писать о «безрассудных иллюзиях» женщине, которую глубоко, пламенно полюбил.

В эти полуночные миланские часы шлифовалась, углублялась, «обтачивалась» душа для великой любви.

Стендаль испытывал в то время «животрепещущий интерес» ко всему, что открывала ему Италия: к старинным палаццо, к фонтанам на улице, картинам и статуям, нравам и лицам. Для него это было чем-то большим, чем красотой, для него это было «введением в историю человеческого сердца».

Что-то ему, конечно, и не нравилось, и он искренне говорил об этом итальянцам, он не умел быть неискренним. «Когда я лгу, — писал он, — становится скучно».

Позднее, первый раз в жизни истинно полюбив, он открыл, что и в любви малейшая неискренность за себя мстит.

Книга «Рим, Неаполь и Флоренция» замечательна тем, что описывает душевные состояния, одинаково естественно рождающиеся в человеке и под влиянием большого искусства, и под влиянием большой любви.

Его волновали, конечно, не только памятники архи-

тектур, но и живые человеческие страсти. С «животрепещущим интересом» относится он к анекдотической истории о некоей Теодолинде, которая, узнав, что ее возлюбленный, полковник М., ей не верен, посылает ему вызов от неизвестного лица, требуя удовлетворения за неизвестную обиду и указывая определенное место и час дуэли.

В назначенном месте, в назначенный час, после того как были заряжены пистолеты и отмерены двенадцать шагов, полковник с великим удивлением узнает в щупленьком человечке, закутанном в меха, который решил с ним стреляться, собственную возлюбленную и, конечно, пытается все обратить в шутку. Ответ женщины восхищает Стендаля, пожалуй, не меньше, чем миланский собор в час полнолуния. «Вы чудовище, — говорит она ему, — или вы, или я должны умереть».

В той серьезности, с которой Стендаль излагает эту историю, чувствуется его великая тоска по большим характерам и большим страстям. Эти характеры и эти страсти он застал в детстве, накануне Великой французской революции. В эпоху вернувшихся на трон Бурбонов и могущества Меттерниха, когда во всех европейских столицах торжествовали посредственность и тщеславие, ему не могла не импонировать эта женщина-дуэлянтка...

Потом из его тоски по великим страстям и характерам выросли великая любовь и великие романы.

Но вернемся к тем состояниям души, которые мы решили исследовать... Он пишет о том, что созерцание миланского собора и картин делают его все более чувствительным к красоте и все менее склонным к помышлениям о деньгах и карьере.

С точки зрения человека, занятого этими помышлениями, он ведет в Милане образ жизни бездельника. Ходит по городу, заглядывает в мастерские художни-

ков. . . Зачем? Затем, ответил бы Стендаль этому серьезному и унылому судье, чтобы понять тип ломбардской красоты, одной из самых трогательных в мире.

Вот он зашел в мастерскую известного портретиста, обладающего коллекцией портретов самых замечательных женщин Милана.

Я испытал; — пишет он, — чувство удовлетворенного самолюбия, или, если угодно, гордости артистической от того, что угадал ломбардскую красоту еще до посещения этой очаровательной мастерской.

После слов «гордости артистической» следует сноски неожиданная, как всегда у Стендаля: «Обещающей радости в будущем».

В будущем этот тип ломбардской красоты, особенно замечательный нежным и меланхолическим выражением лица, одарил его не одной лишь радостью, но и страданием, он одарил его страданием-радостью, потому что Метильда Дембовская его не любила, и его неразделенная любовь к ней была сильнейшим счастьем-несчастьем его жизни. Его сердце угадало это счастье-несчастье в мастерской миланского портретиста.

Помедлим. . . Останемся в этой мастерской со Стендалем еще несколько минут. Он вглядывается в портреты. Вот облик, полный юности и силы, оживленный душою бурной, страстной. . . Вот красота совершенная, ослепительная. . . Вот красота трогательная, выдающая борьбу религиозных чувств с нежностью. . . А вот то, что особенно волнует стендалевское сердце: ангельское выражение, утонченность черт, напоминающих нежное благородство образов Леонардо да Винчи. . . Стендаль испытывает восторг, смешанный с почтением, чувство, которое он испытает потом не раз с тысячекратной силой в гостиной Метильды Дембовской. . .

Эта головка, — пишет Стендаль об одном из портретов, — которая выражала бы такую доброту, справедли-

вость, такое возвышенное понимание, если бы думала о вас, мечтает, кажется, о далеком счастье.

Как много должно было пережить человеческое сердце в течение веков, даже тысячелетий, чтобы подняться до такого одухотворенного понимания красоты, не отрывного от доброты, справедливости! В сущности, это обещание великой человечности, которая трагически раскрывается — изумившись жестокости мира — в отношениях между мужчиной и женщиной в XX веке. «... Если бы думала о вас...» — пишет Стендаль. Сегодня она думает о нас. Она думает о нас, потому что о ней думал Стендаль. Она думает о нас, потому что человеческий дух, запечатленный в портретах, развивается, восходит. Она думает о нас, как думают о нас старики Рембрандта. И именно потому, что она думает о нас, мы сегодня тверже, увереннее, чем Стендаль, ставим рядом с красотой доброту, справедливость. А дальше у Стендаля идет нечто милое, детское.

Невольно начинаешь мечтать, — пишет он, — что знакомишься с этой необыкновенной женщиной в каком-нибудь уединенном готическом замке, возвышающемся над красивой долиной и окруженном горным потоком...

Это детское, милое раскрывается во всей беззащитности через год после выхода его книги, когда Стендаль полюбит.

Стендаль вводит нас в то интимное понимание красоты в искусстве, которое является обещанием новых, высших форм общения в самой жизни.

Но не меньше посещений мастерских он любит выслушивать истории о странностях любви.

Нынче вечером в Скала один несчастный стал изливать мне душу... Я до безумия люблю рассказы, в которых со всеми подробностями изображаются движения человеческого сердца, и потому весь обратился в слух.

... После долгих разговоров о любви в укромном уголке кафе мы пустились в обстоятельнейшее обсуждение самых трудных вопросов живописи, музыки и т. д.

А ведь, в сущности, понимаем мы сегодня, Стендаль и его собеседники говорили об одном — о формировании наивысших форм отношений между человеком и человеком, человеком и миром, ибо и в любви, и в переживании красоты в искусстве царит один и тот же закон: человек, вбирая в себя как можно больше, становится все полнее самим собой. И это есть высшее искусство счастья.

Они не отвлекались от темы о любви, беседуя о живописи, и они не забывали о живописи, когда опять начинали говорить о любви. Они говорили о человеке.

Чтобы понимать искусство, надо уметь любить не одни картины и статуи. Но и чтобы любить не одни картины и статуи, надо уметь восхищаться (ведь именно с восхищения начинается любовь, об этом Стендаль писал не раз), и нет лучшей школы восхищения, чем общение с искусством. (Мне хочется все время разрушать «барьеры повествования», «барьеры темы», а в сущности — почему разрушать? — любовь — одна из тем, не имеющих барьеров.)

Но мы несколько отвлеклись от «Рима, Неаполя и Флоренции». На одной из страниц этой книги Стендаль пишет: ... тот, кто в восемнадцать лет не любил великого человека настолько, чтобы восхищаться даже смешными его чертами, не годится мне в собеседники по вопросам искусства.

Думается, что если мы в этой чеканной формуле «снимем» определение «великий», то лучше поймем Стендаля.

«Чему же, — возможно, воскликнет некий педант, — надо научиться в первую очередь: искусству восхищаться искусством или искусству восхищаться подлинным че-

ловеком?» А надо научиться восхищаться жизнью. Книга Стендаля — школа этого восхищения.

Героиня его книги — душа «пламенная, мечтательная и глубоко чувствительная». Она же, эта «пламенная и глубоко чувствительная душа», — героиня той захватывающей воображение истории человеческих чувств, которая увлекательнее, ярче самых великих романов. Собственно говоря, более великого романа не написало человеческое сердце, чем роман о самом себе.

А души «черствые изгоняют за дверь просто силою вещей». Стендаль относит это положение к литературе, искусству, но не относится ли оно к любви в еще большей степени? И вообще резкая, интересная черта стендалевских переживаний, ощущений, впечатлений в области искусства заключается в том, что они с е щ е б о л ь ш и м о с н о в а н и е м относятся к любви. Не говорит ли это о сложной цельности, о странном единстве всех «пластов», всех «измерений» человеческой души? Стендаль пишет о том, что лишь непосредственность чувства открывает в картине, статуе их сокровенную красоту. Это и о любви. И, уж конечно, одинаково относятся и к любви, и к искусству его рассуждения об искусстве быть счастливым.

И когда Стендаль как бы невзначай говорит о жителе Милана, что он «существо незлое», и добавляет: «...самая надежная гарантия этого заключается в том, что он счастлив», мы с ним выходим из сфер искусства в широкую, бескрайнюю жизнь и понимаем, почему не злы истинно любящие.

Гарантия та же: они счастливы.

Стендаль исследует душу, способную на великую страсть, — собственную душу, он показывает ее нам в состоянии до-любви, но нам известно (об этом расскажут письма к Метильде Дембовской, публикуемые ниже), какой она была в состоянии любви-страсти.

На улицах Корреджо — города, чье название обесмертил горячо любимый им художник, — ему попадались женские лица, напоминающие мадонн этого живописца. И это наполняло его радостными мыслями о единстве искусства и жизни. Он еще больше верил чувствам, написанным на лицах мадонн Корреджо, потому что видел эти же чувства на лицах горожанок.

По-моему, нет ничего более увлекательного, волнующего, чем погружение в те душевные состояния, которые переживали лучшие люди минувших веков. Вот Стендаль описывает «божественный вечер» у госпожи М. Читали новую поэму Байрона «Паризина», которую хозяйка получила от одного любезного англичанина. Дойдя до середины поэмы, они вынуждены отложить чтение, «утомленные избытком удовольствия».

«Сердца наши были переполнены, — пишет Стендаль. — Они погрузились в мечтания, вызванные захватившим их чувством».

Напоминанием об этом «божественном вечере» Стендаль будит чувства, уснувшие в нашей душе, он их «теребит», он заставляет их очнуться, ибо они, эти чувства, — когда погружаешься в мечтания от избытка удовольствия, вызванного поэзией, — не умерли, они лишь уснули, как засыпает иногда человек в самолете, хотя, казалось бы, он должен взволнованно бодрствовать, потрясенный сознанием высоты и собственного странного положения в мироздании. . .

Но и душу Стендаля тоже будили напоминания о великих чувствах, о великих характерах минувших веков. И не в этом ли закон восхождения человеческой души, что все время в нее стучится ушедшее и вечно живое?

Стендаль любил рыться в старинных рукописях, отыскивать полузабытые истории. Эта его страсть общеизвестна. Я иногда ловлю себя на том, что решаю,

читая старые редкие книги: «стендалевская» эта история или «нестендалевская». Само собой разумеется, что я имею в виду истории, в которых человек выявился необыкновенно интересно. . .

В последний раз решил: «стендалевская». Я читал документы о Сиене, осажденной в 1555 году войсками испанского императора Карла V.

Хочу разрешить себе это отступление, потому что в нем пойдет речь о том, что особенно было дорого Стендалю, — о величии человеческой души. Автор старинной истории города Сиены рассказывает о том, что жители его, ради защиты и сопротивления, не останавливались перед разрушением собственных домов, мешавших действиям их артиллерии. «Все эти бедные горожане, не показывая ни неудовольствия, ни сожаления о разрушении своих домов, первыми взялись за работу. Всякий помогал, чем мог. Никогда их не было на месте работы меньше четырех тысяч, и среди них мне показали множество благородных сиенских дам, носивших землю в корзинах на головах. О сиенские дамы! До тех пор, пока будет жива книга Монлюка¹, я должен увековечить вас, ибо поистине вы достойны бессмертной хвалы. Едва ли когда-нибудь заслуженной женщинами! Как только этот народ положил прекрасное решение отставить свою свободу, все городские дамы разделились на три отряда. Первым командовала сеньора Фортегверра, одетая в лиловое, так же, как те, которые были с ней, и платья у них были короткие, как у нимф. Второй была сеньора Пиколамини, одетая в алый атлас и весь отряд ее тоже. Третьей была сеньора Ливия Фауста в белом, и шедшие за ней несли белое знамя. На знаменах у них

¹ Монлюк Блез (1502—1577) — французский писатель, политический деятель. Участник защиты города Сиены. Автор исторической хроники.

были славные девизы, я много бы дал, чтобы их вспомнить.

Эти три отряда состояли из трех тысяч дам, благородных или городского сословия, вооруженных пиками, крюками и фашинами. И в таком виде они вышли на смотр и пошли на закладку укреплений. Мосье де Терм, который был в начале осады и видел их, рассказывал мне это, говоря, что никогда ему не приходилось видеть ничего столь же прекрасного. Знамена их я видел сам потом. Они сложили песню в честь Франции, которую пели, когда шли на укрепления. Я отдал бы свою лучшую лошадь за то, чтобы знать эту песню и привести ее здесь».

Да, стендалевская...

И когда Стендаль на улицах итальянских городов вглядывался в лица женщин, не пленяло ли его именно это сочетание нежности с силой характера, унаследованной от «благородных сиенских дам»?...

Но вернемся к книге Стендаля. Самый большой враг в общении человека с искусством — тщеславие. И оно же самый большой враг в любви. Тщеславный человек не может отдаться тому непосредственному чувству, без которого окружающий мир остается для нас наглухо закрытым. Тщеславный человек чересчур занят собой, ему недоступен «талант растворения»: ни в чуде искусства, ни в чуде любви.

Тщеславный человек нерастворим.

«Ярмарка тщеславия» (определение Стендаля) убивает царство любви. «У тщеславного человека, — пишет Стендаль о современных ему парижанах «большого света», — времени не было чем-либо восторгаться».

При чтении этой книги постепенно рождается странное чувство: ее автору мало созерцать даже и великое

в искусстве. Ему хочется действий — действий в любви.

Вот он рассказывает о некоем молодом нотариусе, который ворвался с пистолетом в руке к любимой женщине, чтобы защитить ее от изверга-мужа, и мы невольно чувствуем, что Стендаль завидует этому нотариусу. . . Вот он рассказывает о втором возлюбленном, который забрался на незнакомый чердак и жил на нем, не выходя на улицы, чтобы из укромного окна наблюдать, не изменяет ли ему его возлюбленная.

(Из писем самого Стендаля к Метильде Дембовской мы узнаем, что и он совершал те или иные «маленькие безумства».)

А пока он вглядывается в лица людей на улицах, в церквах, в мастерских художников, ему важно понять, способны ли они на великие чувства, ибо лишь этой способностью измерялась для Стендаля ценность человека. Он называет иногда ее и более широко — способностью к воодушевлению. . .

Он удивительно точно умеет видеть в человеческом лице то новое, что вошло в человеческую душу, он чувствовал восхождение человеческой души из века в век и с наслаждением улавливал черты, моменты этого восхождения. Вот, оказавшись в деревне, он видит на лицах юных крестьянок не только ум, рассудительность, но и нечто «утонченно-вызывающее». Вот, сопоставляя флорентинцев на картинах ранних художников итальянского Ренессанса с образами более поздних мастеров, он пишет о том, что ему интересно и не интересно в человеке. Ему не интересно сухое, узкое, рассудительное, покорное условностям, чуждое увлечениям. А что интересно? Это великий вопрос. Чтобы ответить на него, мало подойти к полотну Тициана или Тинторетто, лучше углубиться в мир самого Стендаля, а для этого раскрыть его письма, письма не о любви.

Молодой, двадцатилетний, он из Парижа пишет сестре Полине:

Жалки и достойны сострадания холодные сердца, открытые только для науки! Что мне пользы знать, что Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли, если изучение этих вещей заставляет меня терять дни, дарованные для наслаждения! Немало людей одержимо этим безумием, но мы, дорогая Полина, не последуем их примеру!

Заметим, что, несмотря на чересчур резкое и ироничное высказывание о науке, он в последующих, более «трезвых» письмах к сестре советовал ей относиться к наукам серьезно — для развития ума, потому что одним лишь сердцем человек жить не может. Но сердце не должно быть холодным! Вот мысль, которой он был одержим с юношеских лет.

А через месяц он пишет ей взволнованно о могуществе сильных страстей, о том, что если человек желает что-нибудь горячо и упорно, он достигает цели. И тут же несколькими строками ниже более трезво о «добродетели и образовании» как о двух основополагающих в жизни истинах.

Через два года, перечитав задушевные и нежные письма сестры, он пишет ей: «Ты, милая Полина, рождена, чтобы стать необыкновенной женщиной». О, как хотелось ему видеть рядом с собой необыкновенную женщину! Даже если это не «больше», чем сестра.

И дальше он обращается к будущей «необыкновенной женщине»:

Только одно порождает великого гения — это меланхолия. Благородная душа, понимающая, в чем заключаются небесные наслаждения, воображает, что они существуют в повседневной жизни...

Потом к концу жизни Стендаль поймет, что «небесные наслаждения» действительно существуют и в повсе-

дневной жизни. Но в двадцать лет ему кажется, что их надо искать лишь на том уровне, который был доступен Вергилию и Шекспиру; став мудрее, он осознает, что талантом чувствовать может обладать самый обыкновенный человек, и чем больше обыкновенных людей будет обладать им, тем ярче станет жизнь.

Но в этом же молодом наивном письме он с четкостью афоризма высказывает мысль, которой останется верен до седых волос: «Мера доступного человеку счастья зависит от силы его страстей».

А в 1835 году, пережив сильные страсти и устав от борьбы, он пишет из Рима:

Я обожал и все еще обожаю, по крайней мере, мне так кажется, женщину по имени Милан. Страсть эта доходила до безумия от 1814 до 1821 года. Я получил в жены ее старшую сестру по имени Рим¹; эта женщина достойная, серьезная, строгая, не любящая музыки. Я знаю ее досконально и глубоко: между нами не осталось ничего восторженного и романтического после четырех лет брака. Я с удовольствием покину ее для мадемуазель Валенсии, о которой говорят много хорошего, но характер девушки — загадка...

Он к концу жизни любил (и не любил) города, как женщин, потому что были в его жизни периоды, когда женщины, особенно самая любимая из них Метильда Дембовская, были для него больше, чем города — миры. Но во времена написания «Рима, Неаполя и Флоренции» он любил города, как любят города, не меньше, но и не больше.

Что же интересно Стендалю в Человеке? То же самое, что было ему интересно в девушке по имени Валенсия, — за г а д к а. Холодные, черствые, узкие, рассудительные

¹ Стендаль исполнял тогда обязанности французского консула в одном из маленьких городов близ Рима.

люди не заключают в себе загадки. Загадка живет лишь в страстном, остро и сильно чувствующем мир человеке, ибо непредсказуема и жизнь его души, и образ его действия. Существует лишь одна гарантия — он не совершит низость.

Стендаль покидал Рим в 1817 году через ворота Сан-Джованни ин Латерано.

«Великолепный вид на Аппиеву дорогу, окаймленную рядами полуразрушенных памятников. . .»

У одного из этих полуразрушенных памятников он остановил коляску, чтобы разобрать несколько римских надписей. Ему хотелось опуститься на колени, чтобы полнее насладиться чтением какой-либо надписи, подлинно начертанной римлянами. В эту минуту — минуту необычного переживания — мы и оставим его сейчас.

ИЗ ПИСЕМ СТЕНДАЛЯ МЕТИЛЬДЕ ДЕМБОВСКОЙ

Варезе, 16 ноября 1818 года

(Передано 17 ноября)

Самое большое удовольствие, которое я получил сегодня, было, когда я ставил дату на этом письме. Живу той мыслью, что через месяц буду иметь счастье увидеть вас. Но что делать в течение этих тридцати дней? Надеюсь, что они пройдут, как и девять длинных дней, которые только что протекли. Каждый раз, как заканчивается какое-нибудь развлечение, какая-нибудь прогулка, я снова остаюсь с самим собой и ощущаю ужасную пустоту. Я обсуждал тысячу раз, я доставлял удовольствие тысячу раз повторять себе самые незначительные вещи, которые вы говорили в последние дни,

когда я имел счастье вас видеть. Мое усталое воображение уже не в силах представлять себе картины, которые отныне слишком связаны с ужасной мыслью о вашем отсутствии, и я чувствую, что с каждым днем в моем сердце становится все мрачнее.

Я немного утешился в церкви Мадонны дель Монте: я вспомнил божественную музыку, которую слышал там прежде. На днях я уезжаю в Милан, навстречу одному из ваших писем, потому что я все же рассчитываю на ваше человеколюбие и верю, что вы не откажете мне в нескольких строках, — вам так легко их начертать, а они так драгоценны, так утешительны для отчаявшегося сердца. Вы, конечно, слишком уверены в вашей абсолютной власти надо мной, чтобы вас хоть на мгновение мог остановить напрасный страх, что, отвечая мне, вы как бы поощряете мою страсть. Я знаю себя: я буду любить вас весь остаток жизни; что бы вы ни сделали, это ничего не изменит в мечте, завладевшей моей душой, в мечте о счастье быть любимым вами и в презрении, внушенном мне ею, ко всякому другому счастью! Наконец, у меня потребность, жажда видеть вас. Я, кажется, отдал бы остаток жизни, чтобы поговорить с вами в течение четверти часа о самых безразличных вещах.

Прощайте, я покидаю вас, чтобы быть еще ближе к вам, чтобы сметь говорить с вами со всей откровенностью, со всей силой страсти, меня пожирающей.

(Май 1819 года)

Сударыня,

Ах, как тянется время с тех пор, как вы уехали! А прошло всего только пять с половиной часов! Что

я буду делать все эти сорок убийственных дней? Неужели я должен отбросить всякую надежду, уехать и погрузиться в общественные дела? Боюсь, что у меня не хватит мужества перевалить за Мон-Сени. Нет, я никогда не соглашусь на то, чтобы меня от вас отделяли горы. Смею ли я надеяться любовью оживить сердце, которое не может быть бесчувственным к такой страсти? Верно, я кажусь вам смешным, моя робость и молчаливость наскучили вам, а мой приход для вас — настоящее бедствие. Я ненавижу себя. Не будь я последним из людей, я должен был бы вчера, перед вашим отъездом, добиться решительного объяснения; тогда бы я ясно видел, на что мне надеяться.

Когда вы с таким искренним чувством сказали: «Ах, как хорошо, что уже полночь!» — не должен ли я был понять, что вы рады избавиться от моей назойливости, и дать себе слово никогда больше не видеться с вами? Но я бываю смел только вдали от вас. В вашем присутствии я робок, как ребенок, слова замирают у меня на губах, я могу только смотреть на вас и любоваться вами. И нужно же, чтобы я при этом становился несравненно беспомощнее и глупее, чем я есть на самом деле, и таким плоским?

Варезе, 7 июня 1819 года

Сударыня,

Вы приводите меня в отчаяние. Вы несколько раз упрекнули меня в непорядочности, как будто такое обвинение в ваших устах для меня пустяк. Кто бы мог предсказать, когда я расставался с вами в Милане, что первое ваше письмо будет начинаться словом «сударь» и что вы будете упрекать меня в непорядочности.

Ах, сударыня, как легко человеку, не обуреваемому

страстью, вести себя всегда сдержанно и осторожно! Я тоже, когда владею собой, как будто не лишен скромности, но я охвачен пагубной страстью и уже не могу отвечать за свои поступки. Я поклялся отправиться куда-нибудь в морское путешествие или по крайней мере не видеть вас и не писать вам до вашего возвращения; сила, более могущественная, чем все принятые мною решения, увлекла меня туда, где находитесь вы. Я чувствую: отныне эта страсть стала важнее всего в моей жизни. Все другие интересы, все соображения бледнеют перед нею. Эта роковая потребность видеть вас владеет мною, увлекает и вдохновляет меня. Бывают мгновения в долгие одинокие вечера, когда я мог бы стать убийцей, если бы нужно было совершить убийство для того, чтобы увидеть вас.

Вот уже пять лет, как я в Милане. Будем считать неверным все, что говорят о моей прежней жизни. Пять лет, от тридцати одного года до тридцати шести лет, — это значительный отрезок в жизни человека, особенно если эти пять лет ему пришлось провести в трудных обстоятельствах. Если когда-нибудь вы соизволите, за неимением более интересной темы, подумать о моих нравственных свойствах, соблаговолите, сударыня, сравнить эти пять лет моей жизни с пятью годами, взятыми из жизни любого другого человека. Вы найдете жизни, отмеченные несравненно более ярким блеском таланта, и жизни, гораздо более счастливые; но не думаю, чтобы в какой-нибудь другой жизни вы нашли больше чести и постоянства, чем в моей. Много ли возлюбленных было у меня за эти пять лет в Милане? Разве я когда-нибудь поступился честью? Но я недостойно забыл бы честь, если бы попытался хоть в самой малейшей степени *скомпрометировать* своим поведением существо, которое не может потребовать, чтобы я обнажил шпагу.

Любите меня, если хотите, божественная Метильда,

но, ради бога, не презирайте меня. Такая попытка выше моих сил. При вашем столь справедливом образе мыслей ваше презрение навсегда лишило бы меня возможности быть любимым.

Зная вашу возвышенную душу, мог ли я избрать более верный способ отвратить вас от себя, чем тот, в котором вы меня обвиняете? Я так боюсь вызвать ваше неудовольствие, что тот миг, когда я вечером 3-го увидел вас впервые, тот миг, который должен был бы стать блаженнейшим в моей жизни, стал, напротив, одним из самых тревожных из-за боязни не угодить вам.

Флоренция, 11 июня 1819 года

Сударыня,

С тех пор, как я оставил вас вчера вечером, я чувствую непреодолимую потребность умолять вас о прощении за бестактность и неделикатность, до которых за последнюю неделю довела меня губительная страсть. Раскаяние мое искренне; раз уж я не угодил вам, то лучше бы мне совсем не приезжать в Вольтерру. Я выразил бы вам свое глубокое сожаление еще вчера, когда вы сооблаговолили принять меня; но позвольте мне сказать это вам, вы не приучили меня к снисходительности, совсем напротив. И вот я боялся, чтобы вы не сочли, будто, прося у вас прощения за свои безумства, я говорю вам о любви и нарушаю данную вам клятву.

Но я изменил бы той совершенной правдивости, которая в бездне, куда я ввергнут, остается моим единственным правилом поведения, если бы сказал, что понимаю, в чем заключается моя неделикатность. Боюсь, что в этом признании вы усмотрите грубость неспособной понять вас души. Вы почувствовали эту неделикатность, значит, для вас она существовала.

Не думайте, сударыня, что я сразу решил приехать в Вольтерру. Право, с вами я не так смел; каждый раз, как, исполненный нежности, я лечу к вам, я уверен, что ваша обидная суровость вернет меня с небес на землю. Увидев на карте, что Ливорно совсем близко от Вольтерры, я навел справки, и мне сказали, что из Пизы можно видеть стены этого счастливого города, в котором находитесь вы. На пароходе я думал, что, переменив платье и надев зеленые очки, я смогу провести три дня в Вольтерре, выходя только ночью, так, чтобы вы меня не узнали. Я приехал 3-го, и первый человек, кого я увидел в Вольтерре, были вы, сударыня; был час пополудни; вы, наверное, вышли из коллежа и направлялись обедать; вы меня не узнали. Вечером, в четверть девятого, когда стало совсем темно, я снял очки, чтобы не показаться чудачком Шнейдеру. В тот момент, когда я снимал их, прошли вы, и мой план, так удачно осуществлявшийся до тех пор, провалился.

Я тут же подумал: если я подойду к г-же Дембовской, она скажет мне что-нибудь суровое, а в тот момент я слишком любил вас и суровые слова убили бы меня; если я подойду к ней, как миланский знакомый, все в этом маленьком городке скажут, что я ее любовник. Значит, я гораздо лучше докажу ей свое уважение, если останусь неузнанным. Все эти размышления промелькнули у меня в один миг; в пятницу, 4-го, я весь день действовал согласно им.

Ночью с 4-го на 5-е я думал о том, что я самый старинный из друзей г-жи Дембовской. Эта мысль переполнила меня гордостью. Может быть, она захочет сказать мне что-нибудь о своих детях, о своем путешествии, о множестве вещей, не имеющих отношения к моей любви. Я напишу ей два таких письма, что она, если захочет, сможет объяснить мой приезд своим здешним друзьям и принять меня. Если же она не захочет, она отве-

тит мне «Нет», и на этом все будет кончено. Так как, запечатывая любое свое письмо, я всегда думаю о том, что оно может быть перехвачено, так как я знаю низкие души и зависть, владеющую ими, я отказался от мысли присоединить свою записку к двум официальным письмам, чтобы в случае, если ваш хозяин по ошибке распечатает их, он не увидел бы там ничего предосудительного.

Признаюсь, сударыня, быть может рискуя не угодить вам своим признанием, до сих пор я не вижу, в чем проявилась моя неделикатность.

Вы написали мне очень сурово; а главное, вы подумали, что я хочу явиться к вам против вашей воли, — такие вещи совсем не в моем характере. Я пошел раздумывать обо всем этом за ворота Сельча; выходя из ворот, я случайно не пошел направо; я увидел, что нужно спуститься и снова подняться, я хотел быть совершенно спокойным и всецело отдаться своим мыслям. Так я дошел до Луга, куда потом пришли и вы. Я оперся на парпет и два часа смотрел на это море, принесшее меня к вам, в котором мне лучше было бы закончить свои дни.

Заметьте, сударыня, я и понятия не имел, что этот Луг — обычное место ваших прогулок. Кто мог сказать мне об этом?.. Я могу сказать, что то было одно из самых счастливых мгновений в моей жизни, но оно целиком ускользнуло из моего сознания. Такова печальная судьба нежных душ: горести они помнят в мельчайших подробностях, а минуты счастья повергают их в такое смятение, что потом они не могут ничего припомнить.

...Совершенно очевидно, что какой-нибудь прозаический человек не появился бы в Вольтерре: во-первых, потому, что денег он там не заработал бы; во-вторых, потому, что там плохие гостиницы. Но так как я имею несчастье любить по-настоящему и так как вы узнали

меня в четверг 3 июня, что мне было делать? . . Я отнюдь не претендую на то, чтобы получить от вас подробный ответ на этот мой дневник; но, быть может, ваша благородная и чистая душа будет хоть немного справедлива ко мне, и какими бы ни были те отношения, которые судьба сохранит между нами, вы не откажетесь признать, что уважение к тому, кого любишь с нежностью, — великое благо.

Гренобль, 25 августа 1819 года

Я получил ваше письмо три дня тому назад. Увидев снова ваш почерк, я был так глубоко взволнован, что опять не в состоянии был ответить вам подобающим образом. Это прекрасный день среди смрадной пустыни, и как бы вы ни были ко мне суровы, я все-таки обязан вам единственными мгновениями счастья.

. . Прощайте, сударыня, будьте счастливы; мне кажется, что для вас это возможно только тогда, когда вы любите. Будьте же счастливы, даже любя другого, а не меня.

Я могу вполне искренне написать вам то, что повторяю беспрерывно:

Когда бы смерть и ад разверзлись предо мной,
Я б из любви к тебе сошел туда живой.

Апри.

Через десять лет в книге «Прогулки по Риму», то же посвященной Италии, он написал о чувстве, напоминающем то, что в любви называют ударом молнии, — это чувство охватывает нас перед картиной или статуей, если художнику удалось открыть нашей душе то, чего она давно хотела, сама того не сознавая.

ПИСЬМО ПЕРЕД КАЗНЬЮ

Как часто перечитываю я твои строки! Я прижимаю их к сердцу, покрываю поцелуями. Я уже не надеялась получить их...

... Друг мой! Твое письмо от 15-го написано в том мужественном тоне, по которому я узнаю твою свободолюбивую душу, занятую грандиозными проектами, возвышенную судьбою, способную на великодушные решения, на обоснованные требования, — по всему этому я снова узнала моего друга и снова пережила все чувства, связывающие меня с ним. Письмо от 17-го очень печально. Какими мрачными мыслями кончается оно! Нет, в самом деле, разве важно знать, будет ли жить после тебя или нет известная женщина! Дело идет о том, чтобы сохранить твою жизнь и направить ее на благо Отечеству, — остальное уже решит время.

Пусть совершится! Мы не можем перестать быть достойными тех чувств, которые мы внушали друг другу. С этим нельзя быть несчастным. Прощай, мой друг, прощай, мой многолюбимый!

Автор этого письма — Мари Ролан — в юности любовь отвергала как чувство, которое не может занять господствующего места в жизни человека. История души Ролан отражает духовную историю столетия, его восхождение от сентиментального пафоса, от «заблуждений сердца и ума»¹ — к великой трагической серьезности.

Ее письма и мемуары рисуют ту историю чувств, без которой непонятна и история идей.

Она в юности любовь отвергала... В девятнадцать лет Мари писала лучшей подруге:

¹ «Заблуждения сердца и ума» — название романа французского писателя XVIII века Жюлио Кребийона-сына (1707 — 1777). Отец его был драматургом.

Любовь почти всегда обязана своим могуществом иллюзии, это — волшебное зеркало, представляющее предметы в привлекательном образе. Преувеличенное представление о наслаждении — главный источник жгучести желаний и стремлений так же, как разочарования после первого испытания. . . Сердце мое вполне свободное. . . Радуюсь равнодушию моему и спокойствию. . .

Странное отношение к любви в любвеобильном, «галантном» XVIII веке. (Мари родилась в середине его, в 1754 году.)

Счастлив тот, — пишет она подруге, — кто умеет подчинять и направлять чувства любви, еще более, быть может, счастлив тот, кто никогда не покоряется ее внушениям. . . В большинстве случаев любовь — источник несчастья.

Рисуется она или искренна?

Сердцу моему при всей его чувствительности не свойственна страстная любовь; волнение, являющееся следствием страсти, слишком противоречит моему непреодолимому стремлению к покою. . .

Это писала в юности женщина, чья душа потом испытала сильнейшую страсть, чей опыт любви вошел в общечеловеческую сокровищницу чувств.

И она была искренна. Три обстоятельства обуславливали ее странное отношение к любви — два из них имеют отношение к духовно-нравственной атмосфере второй половины XVIII века во Франции, третья — к маленьким событиям ее девической жизни.

«Галантный» век — век любовных писем, маскарадов, интриг, чувствительности стал уставать от игры в любовь; столетие, подобно человеку, утомленному развлечениями, начинало мечтать о великом и серьезном. Утомленность от игры в любовь растворялась в воздухе середины века, часто порождала у нового поколения непринятие любви. Воздействовала на харак-

тер Мари и вторая существенная черта тех десятилетий: увлечение умственными интересами, философией (даже Руссо, который обращался к сердцу, на самом деле больше будил ум), жажда деятельности, которая неизменно сопутствует росту разума. . . Жажда деятельности и углубленное философией чувство нравственного долга.

А небольшие личные обстоятельства, повлиявшие на ее критическое отношение к любви, заключались в том, что была она единственной дочерью богатого коммерсанта и не успела выйти она из отроческих лет, как руки ее искали самые разные люди, одинаково безразличные ей. Поначалу это был золотых дел мастер, казалось бы завидная партия.

Мари писала о нем подруге с чисто философским равнодушием:

Небогато наделенный дарами природы, он далеко не хорош собой, но ты знаешь по моему образу мыслей, насколько это для меня безразлично. Он мог бы быть еще более некрасив, лишь бы под внешней оболочкой скрывалась хорошая душа. Впрочем, я ничего не вижу в нем безобразного. . . Он — среднего роста, блондин ли он или брюнет, не помню в точности. Кажется, у него желтый цвет лица с сильными следами оспы, острый подбородок, худое, длинное лицо. Во всей его особе ничего нет привлекательного, но и ничего прямо отталкивающего.

Если бы Мари Ролан увяла, состарилась, умерла в безвестности и сохранилось лишь это ее первое письмо о «любви», о «женихе», мы бы подумали: холодное, мертвое сердце! И, может быть, лишь чувство юмора, которым окрашены некоторые строки, заставило бы нас отнестись к его автору — двадцатилетней девушке — милостивей.

Но золотых дел мастер от дальнейших исканий ее

руки почему-то отказался, его быстро заменил хозяин мясной лавки, потом некий молодой врач.

Мари было безразлично, чьей женой стать. Она писала подруге, что относится к будущей семейной жизни как к исполнению нравственного долга, не ожидая от нее радостей. И если она не стала женой ни хозяина мясной лавки, ни золотых дел мастера, ни молодого врача, то лишь потому, что те были недостаточно настойчивы, а ее родители недостаточно покладисты.

Я вижу в супружестве бесконечные испытания, — писала она подруге, — которые вознаграждаются лишь удовольствием давать обществу полезных людей.

В чем же она видела счастье?

Я чувствую, — писала она в том же письме, — потребность деятельности, которая мучает меня, коль скоро я ее не удовлетворяю; серьезные умственные занятия необходимы для меня, без них я, против воли, волнуюсь и скучаю... Эта потребность деятельности составляет в одно и то же время мое счастье и мое мучение.

Мари было семь лет, когда она открыла тома Плутарха, и восемнадцать — когда она открыла книги Руссо. Под воздействием этих писателей и формировался ее духовный мир. Плутарх, его жизнеописания античных героев, Руссо, его философия естественного чувства, углубляли любовь к человечеству, к «общему благу».

Она писала о Плутархе:

Казалось, он явился истолкователем чувств, которые я уже ранее искала, но которые он один умел объяснить мне.

Она писала о Руссо:

Иметь всего Жан-Жака в своем распоряжении, чтобы каждую минуту своей жизни совещаться, утешаться и возвышаться с ним, — это наслаждение, счастье, которое возможно испытать, лишь боготворя его так, как я.

Чаши ума и сердца все время колеблются в ней. Дитя XVIII века, воспитанное на поклонении разуму, и поклонница Руссо с его безраздельной верой в мудрость сердца, она один день живет умом, второй — душой; но нравственное содержание жизни не меняется: «горячая любовь к добру».

В этой девушке с «холодным» сердцем, безразличным к тому, кто будет ее мужем, идет большая, непрестанная внутренняя работа. В ее письмах к подруге чувствуется нравственный мыслитель, которому недостает лишь немного, чтобы стать мыслителем политическим.

Через ряд десятилетий она напишет в тюрьме:

Научные мои занятия делались мне все дороже. Я любила себе отдавать отчет в моих мыслях, и перо помогало мне уяснять их...

Чему же были посвящены ее мысли, что она хотела уяснить?

Ее возмущает неравенство, несвобода, отсталость политических учреждений, и в этом чувствуется влияние теории Руссо. Ее огорчает, что она не видит вокруг себя великих людей, поражающих мир героизмом, энергией духа и любовью к отечеству, и в этом чувствуется влияние Плутарха.

Но в письмах ее, в ее мыслях, в первых ее литературных опытах резко ощущается и ее собственная личность.

Изучая историю, — писала она подруге, когда ей было семнадцать лет, — я желаю ознакомиться не столько с фактами, сколько с людьми; в истории народов я вижу и нахожу историю человеческого сердца.

Острый интерес к истории человеческого сердца, к жизни человеческой души отличал ее и потом, в более поздние и мудрые периоды ее существования. Но как это совместить: любовь, любопытство к человеческому сердцу и безразличие к сердцу собственному, к его жизни, к его тайнам? Эти строки из письма к подруге и те, в ко-

торых описывается безразлично-иронически будущий муж, будто бы написаны разными людьми. А писал их один человек, чье сердце заключало в себе великие, неведомые ему самому загадки.

История странного сердца Мари, одного из самых непостижимых женских сердец, — увлекательнейшая страница тысячелетней истории человеческих чувств. . .

Вокруг мыслящей и «загадочно-холодной» девушки постепенно собираются молодые и не совсем молодые люди: поэты, философы, офицеры, путешественники. Некоторых из них по-настоящему захватывает красота (она была красива удивительно, судя по сохранившимся портретам) и богатство умственной и нравственной жизни Мари. И вот в ее жизнь вошла первая любовь.

О, милый друг, — пишет она той же верной подруге Софи Конне, — что может скрыть от тебя сердце, которого первое удовольствие — делиться с тобой своими впечатлениями! Да, ты узнаешь все мои испытания и горести. Когда любовь поражает нас своими стрелами, где можно найти утешение, как не в объятиях дружбы! У меня нет сил ни подавить свою любовь, ни бороться с ней.

Человек, о котором она пишет, некто Лабланшери, чье имя было бы давным-давно позабыто, если бы им не увлеклась эта замечательная женщина, был молодым ученым, как и она, горячим поклонником Жан-Жака Руссо. Он занимался в то время составлением дидактических сочинений, он дал их читать Мари, и она сообщила той же верной подруге: «Если бы я не любила добродетель, он бы сумел мне внушить любовь к ней».

Но через две-три недели ее восторженно-сентиментальное настроение несколько меняется, она начинает относиться к чувству, которое казалось ей подлинной любовью, более трезво.

Страстно-душевное волнение мое улеглось незамет-

но, — пишет она Софи, — любовь не оставила меня, только чувство это так срослось с моей душой, что волнует ее так же мало, как чувство любви к родителям.

А через месяц с небольшим она начинает судить собственное сердце еще более решительно.

Я странный человек, — пишет она Софи, — настроение мое меняется не по дням, а по часам. Когда я углубляюсь в научные занятия, мне не нужна любовь. Когда я удаляюсь в мою философию, Лабланшери кажется мне чересчур заурядным.

Она жалеет его, но уже не может с собой ничего поделать.

Друг мой, — пишет она Софи, — этот несчастный Лабланшери страшно изменился, он имеет вид такой печальный, измученный! Сон покинул его, беспокойство и горе подтачивают его. . .

Ничтожное обстоятельство убило это чувство.

На днях я встречаю Лабланшери в Люксембургском парке с султаном на шляпе: ты не можешь вообразить, как этот султан изумил меня. Я пыталась примирить это пустое, суетное украшение с той философией, с тем стремлением к простоте, с тем образом мыслей, которые привязывают меня к Лабланшери. Эти тщетные попытки измучили меня. . .

Чувство юмора, сильно развитое в ней, убило менее сильное чувство, казавшееся любовью. И с тем большим пылом она ушла в научные занятия, философию. Она оправдывает увлечение «умственностью» тем, что «без занятий любовь, быть может, воспламенила бы мое воображение до помешательства».

Но в тот период ее жизни любовь к мудрости настолько сильнее любви к тому или иному человеку, что помешательство может угрожать ей лишь со стороны философии, которой она увлекается все больше.

Мозг мой кипит, как расплавленный воск; я бешусь

на кратковременность дня. Я бы хотела быть одной где-нибудь подальше, чтобы хоть раз иметь возможность вдоволь помечтать и поработать.

Зачем я родилась женщиной! — восклицает она. — *Поистине, мне страшно надоело быть женщиной. Мне следовало бы быть спартанкой, или римлянкой, или, по крайней мере, французом.*

Она начинает изучать физику и естественную историю, в голове у нее складывается план философского романа.

Ум мой поглощает по очереди то философию, то физику, то историю, — пишет она.

Но, увы, Мари родилась не мужчиной, а женщиной. Женихи ищут ее руки, и вот она начинает мечтать о фантастическом идеальном браке, несколько напоминающем мечтания русских людей 60-х годов XIX века.

Мари сообщает Софи о намерении выйти фиктивно замуж за человека вдвое старше ее, к которому она относится лишь с чувством дружеского уважения и который к тому же, по семейным обстоятельствам, не может сочетаться с ней юридически. Это мечтатель-идеалист, философ Севелэнж.

Я уже, кажется, описывала тебе этого человека, в высшей степени чувствительного, мягкого, с наклонностями к меланхолии, мечтательного склада. У него характер доверчивый, не чуждый некоторой сдержанности и робости, — той робости, которая не исключает силы и великодушия. Он проникнут уважением ко мне и убежден, что я необходима для его счастья. Большая часть состояния Севелэнжа принадлежит первой жене его; следовательно, вторая жена лишила бы его сыновей состояния, которое принадлежит им по справедливости. Поэтому Севелэнж решил под именем жены приобрести себе жену-друга. Я одобрила намерение, которое разум мой оправдывает и которое делает честь нам обоим...

Мои чувства, положение, все, что окружает меня, — поневоле располагает меня к безбрачию. Я буду в состоянии способствовать счастью человека, которого глубоко уважаю. Но безбрачие в браке! Я знаю все, что богословы и казуисты наговорили по этому поводу; но я отрицаю авторитет их и признаю лишь голос моей совести. Ничего нет отраднее в моих глазах, чем такое полное самопожертвование чувству дружбы. Можешь ли представить себе более чистое наслаждение, как всецело посвятить себя счастью чувствительного человека.

Долгое время она и он переписывались, наслаждаясь умственным общением на расстоянии — они жили в разных городах. Потом он оказался в Париже, вошел к ним в дом, и она... его не узнала, потому что успела забыть черты его лица. Это обидело философа, и идеальный брак не состоялся.

И вот она познакомилась с Жан-Мари Роланом.

От четырнадцати до шестнадцати лет, — писала она после этой встречи подруге, — я мечтала о благовоспитанном муже; от шестнадцати до восемнадцати лет — о муже с высоким умственным развитием; начиная с восемнадцати лет, я мечтаю о философе — в истинном значении этого слова. Таким образом, если я буду постепенно увеличивать мои требования, в тридцать лет меня лишь удовлетворит ангел в человеческом образе.

Мари увидела в Ролане философа-мудреца, хотя и занимал он далеко не философский пост инспектора мануфактур в городе Амьене. Но в ту эпоху философствовали все интеллигентные люди. Ролан, как и Мари, увлекается Платоном, Аристотелем, Руссо, Монтенем. Он показался ей удивительным человеком, она окрестила его именем античного мудреца Фалеса.

В XVIII веке во Франции модным было выражение «электризовать»: «Вы меня электризуете», — говорил мужчина женщине, когда она ему нравилась. Рассказы-

вая в письмах о Ролане, Мари говорит об «электрическом токе симпатии».

Он уезжает в Италию, потом возвращается, пишет ей патетическое письмо:

Вы жалеете, что я подвергался опасностям на море и от разбойников, — напрасно; все это ни на минуту не устрашило меня. Я готов умереть, и только друзья помешали мне закончить счеты с жизнью.

Так писали в XVIII веке мужчины женщинам, когда хотели им понравиться. . .

Я тронута, восхищена, я глубоко опечалена, — ответила ему Мари, — я жалею вас. . . Если бы я менее вас уважала, я бы вас очень боялась. Ваше письмо заставило меня пролить слезы, и между тем я счастлива с тех пор, как получила его.

Я чуть было не повторил почти дословно: так писали в XVIII веке женщины, когда. . . Но нет! В этом письме есть фраза, единственная, уникальная, которую могла написать только одна женщина — Мари: «Как счастливы вы, что вызываете сострадание».

Их переписка все более утрачивает философичность, делается человечнее, интимнее; философские формулы заменяются полупризнаниями, цитаты из сочинений философов — словами, вырывающимися из сердца.

И вот он в Париже, и Мари, верная себе, дает ему понять, что она хочет не игры в любовь, а любовь без игры, единственную, настоящую, на всю жизнь.

Она требует твердого решения при расставании с ним.

Я должна соединиться вскоре с тобой, — пишет она ему, — в мире любви и доверия или быть для тебя лишь воспоминанием.

Так писали женщины во все века, когда любили.

И вот они соединяются в мире любви; забыты Плу-тарх, Руссо и Монтень; воцаряется покой и уют семейной жизни. Они живут в Амьене, потом, когда Ролана пере-

водят инспектором мануфактур в Лион, — в его родовом доме близ Лиона.

С самого начала семейной жизни Мари Ролан уходит в повседневность, в будни с тем увлечением, с которым она раньше углублялась в философию.

Я могу говорить, — пишет она подруге, — лишь о собаках, которые будят меня лаем; о птицах, утешающих меня в бессонные ночи; о вишневых деревьях перед нашими окнами и телятах, что пасутся на дворе.

Она делается деревенским лекарем и после переселения в Лион, в родовой дом Ролана, забывает о Париже, о философских диспутах, пишет, что стала «тяжеловатой», воспитывает дочь, улаживает семейные конфликты между мужем и его родными. Кажется, что поклонница Плутарха и Руссо умерла. Но вот в одном из писем, посвященном домашней жизни, семейной атмосфере, которая была тяжелой из-за неладов с матерью Ролана, фраза-молния: «Никакая несправедливость не побудит меня быть несправедливой, и никогда я не стану мстить судьбе и людям иначе как добром».

Когда Ролан уезжает, она называет его в письмах «своим голубем», «возлюбленным своего сердца».

Многие исследователи жизни этой женщины пишут об этом «сельском периоде» с удивлением и даже с нескрываемым разочарованием. Действительно, кажется, что, если бы не революция, «была бы верная подруга и добродетельная мать». Не больше. Но разве поведение человека в повседневности менее существенно, чем в обстоятельствах возвышенно-философических или исключительно-героических? Повседневность — тяжкое испытание, и выдержать его не легче, чем испытания более эффективные.

Да, она забывала Плутарха, но она не забывала человечность. Да, она не раскрывала тома Руссо, но она раскрывала сердце в общении с крестьянами. Да, она не

философствовала, но она ж и л а. Любила мужа, растила дочь, ухаживала за больными, сажала деревья, не чуралась черной работы, вносила мир в малейшие раздоры. Перестав философствовать в письмах и беседах, она вела философский образ жизни, что неизмеримо важнее для человека и мира. Она утратила тот несколько сентиментально-возвышенный пафос, который был вообще характерен для ее времени, но не утратила чувства юмора. В сущности, сама того не сознавая (в письмах она иногда со стыдом писала о том, что отстает от философии и поэзии), она воплощала в жизнь те идеалы, которые воодушевляли ее в юности при чтении великих томов. Она жила сосредоточенно и достойно. Она из деревни писала:

Унции беспечности и бессердечия были бы полезны мне в физическом отношении, но лекарство это не купишь в аптеке, да оно и отвратительно мне. . .

Этот буднично-повседневный период ее жизни не менее важен, чем более ранний: возвышенно-философский и более поздний: героический — без него не было бы между ними «надежного моста».

Но история ее жизни, ее души далеко не кончалась в мирном, а точнее, в немирном родовом доме инспектора мануфактур Ролана.

Разумеется, они не жили отшельниками: у них бывали молодые люди, и мадам Ролан очаровывала их. В тот век не особенно строгих нравов она вела себя абсолютно «несовременно» с точки зрения ее поклонников: она останавливала их на первых полупризнаниях.

В письмах из Лиона она не перестает повторять, говоря о Ролане: «Человек высоких достоинств, которого я люблю всей душой».

Она повторяет это чересчур часто, тревожно часто, будто бы завораживая самое себя.

Идут однообразные дни — забыты и остальные

любимые занятия: английский язык, итальянский, музыка. . .

Письма ее все будничнее, все тяжелее, но не исчезает ощущение достойно и честно выполняемого долга:

Порядок и мир во всем, что окружает меня, что доверено мне, — вот все мои заботы и все мои удовольствия.

Но в большом мире не было ни порядка, ни мира. В 1788 году до деревни близ Лиона доходят вести о первом столкновении парламента с королем. С этой минуты все симпатии Мари Ролан на стороне народа. В ней очнулась, страстно заговорила ученица Плутарха, Монтеня, Руссо. Если еще недавно она писала одному парижанину, что для нее капуста дороже наук, скотный двор интересней великолепнейших коллекций и она не понимает, чем можно заниматься, если нет уборки винограда, то теперь мирные, сельские, домашние интересы оттеснены, забыты — и уже навсегда.

Друзья человечества, поклонники свободы, — писала она через несколько лет в тюрьме, — мы думали, что явились в мир, чтобы снять позорное клеймо бедности с несчастного сословия, возбуждавшего в нас такое глубокое сострадание. Мы восприняли революцию с восторгом.

Но я пишу сейчас не историю Великой французской революции, а историю жизни одного человеческого сердца, поэтому, отвлекаясь от грандиозных событий, что разыгрывались вокруг госпожи Ролан все более бурно¹, сосредоточусь на той интимнейшей сфере человеческого духа, которая и составляет содержание моей книги.

Стендаль, явившийся в мир позднее, чем госпожа Ролан, писал о четырех родах любви; он исследовал лю-

¹ Муж ее был избран депутатом Национального собрания, потом стал министром внутренних дел, потом был низвергнут. . .

бовь-страсть, любовь-влечение, физическую любовь и любовь-тщеславие. . .

Стендаль любил научно точную классификацию. Опыт сердца Мари Ролан разрушает ее. Она пережила любовь сентиментально-рассудочную к молодому философу Лабланшери; любовь — идеальное самопожертвование на благо пожилого философа, который не хотел обижать жену и детей; высоконравственное чувство к мужу и. . . самое интересное в жизни сердца лишь начиналось!

Из Лиона она пишет пламенные патриотические письма парижанам, которые некогда посещали ее маленький философский салон. Она воодушевляет их на то, чтобы возродить идеалы античной республики. Она наблюдает за выступлениями поклонников Руссо и Плутарха в парижской печати, замечает имя Банкаля, пишет ему романтически-политическое письмо: «Не отрадней ли бороться за счастье целой нации, чем для счастья собственного» — и вызывает у Банкаля желание познакомиться с ней лично; тот едет в Лион.

Мари Ролан — тридцать пять лет, она была в расцвете телесных и душевных сил, по воспоминаниям современников, «красива, как никогда». И Банкаль, увидев ее, начинает мечтать не только о счастье целой нации, но и о счастье собственном, вопреки данному ею возвышенно-философскому совету. Он возвращается в Париж, и начинается в жизни сердца Мари новый период, удивительно созвучный и по форме и по содержанию духу эпохи, — роман в письмах.

Банкаль был воспитан на высоких идеалах лучших философов всех времен и народов, и поэтому по возвращении в Париж он написал письмо не Мари, а Роланам — мужу и жене, — в котором не скрывал (точнее, почти не скрывал) чувств, родившихся в его сердце после посещения Лиона.

Ответ госпожи Ролан замечателен; известный историк Французской революции Мишле называет его «неоцененным свидетельством нравственной ее чистоты и девственности сердца».

Я берусь за перо, — пишет она Банкалю, — не взвешивая и не зная, что скажу вам. В голове у меня много разных мыслей, которые, без сомнения, мне легче было бы выразить, если бы они сопровождались чувством менее бурным... Воля моя безупречна, сердце чисто, и между тем я неспокойна. «Она составит величайшую отраду нашей жизни, — пишете вы, — и мы не будем бесполезны для наших ближних»; вы говорите это о дружбе, связывающей нас, но эти утешительные слова не возвращают мне еще спокойствия... Это потому, что я не уверена в вашем счастье, — потому что мне показалось, что вы связываете его отчасти с условиями, которые ложны в моих глазах, с надеждами, которые я должна воспрегить...

Без сомнения, — говорит она в том же письме, — привязанность, которая сближает нас, должна придать новую прелесть и цену нашей жизни. Без сомнения, добродетели, которые может развить или поддержать подобная привязанность, должны быть возвышенны и плодотворны: вот основа моей веры; вот скала, поддерживающая меня среди сильнейших волнений бури, но кто может предвидеть влияние волнений слишком сильных или слишком часто возобновляемых? Не должно ли избегать их, если бы даже следствием их была лишь та слабость духа, которая временно унижает нравственное существо человека, делает его неспособным стоять на высоте своего положения? Но нет, я ошибаюсь, — вы далеки от этого: вы можете испытывать иногда грусть, но неспособны падать духом; между тем только слабость может привести к унынию или к попутным увлечениям. Вера в вашу силу поддерживает меня... Со-

общайте мне, или лучше — нам, о ваших действиях и проектах, о том, что вы знаете об общественном деле и что предполагаете предпринять для него.

Почему эти строки, которые я вам пишу, — говорит она дальше, — не могут быть посланы иначе, как под покровом тайны? Почему приходится скрывать от взоров людских чувств, в котором нет причины стыдиться и перед высшим божеством. . . Когда мы увидимся с вами — вопрос, который я часто делаю себе и который не смею разрешить. . .

Прекрасные дни, которые мы провели с вами здесь, сменились непогодой; в самый вечер вашего отъезда погода изменилась и по случайности, не обычной в это время года, не проходило дня в течение всей недели, чтобы не слышны были раскаты грома. Гроза надвигается и в настоящую минуту; мне нравится величественный мрачный характер, который она придает окружающей природе; но если бы вид ее был ужасен, она не внушила бы мне чувства страха. Явления природы, заставляющие бледнеть, падать духом слабого, на чувствительного человека, поглощенного великими интересами, производят лишь относительное впечатление, всегда менее потрясающее, чем те, которые происходят в его собственном сердце.

Письмо это написано 8 октября 1790 года. Через двадцать дней она ему писала:

. . . Бывают такие разлуки, в которых расстояние не имеет почти значения. . . Что представляет пространство для друзей?

И, как бы боясь, что личным она отвлекает от революции, она пишет:

Великие интересы общественного дела представляют достойные предметы для вашей деятельности. Патриоты должны поддерживать священный огонь. . .

В ноябре 1790 года Банкаль уехал в Англию, их

переписка делается реже. 11 февраля 1791 года она уведомляет его, что едет с мужем в Париж.

...Я буду откровенна и признаюсь вам даже, что обстоятельство это вызывает во мне раскаяние в том, что я убеждала вас поскорее возвратиться из Англии. В этом положении есть бесконечно много оттенков, которые живо чувствуются, но не могут быть выражены словами. Но одно ясно, и это я вам откровенно выскажу, — я бы не желала, чтобы вы когда-либо руководствовались в вашем образе действия временными соображениями и частными привязанностями. Помните, если мне нужно счастье друзей моих, счастье это (для тех, которые думают и чувствуют, как мы) обуславливается полной безупречностью. Вот точка, где мы, надеюсь, всегда встретимся, и она настолько возвышенна, что мы можем соединиться в ней, несмотря на превратности мира.

Романы в письмах живут лишь в письмах. После переезда Роланов в Париж в ее отношениях с Банкалем исчезают романтические оттенки и углубляется общность политического мировоззрения.

Они по-прежнему обмениваются письмами, когда он уезжает из столицы по делам революции в те или иные департаменты, но это уже чисто политическая переписка. Она не стала менее романтической, нет; она пишет ему о пламенной любви к добру, об «отважной твердости духа, которая сокрушает невзгоды судьбы», но так же, как раньше, в деревенский период ее жизни, Монтень и Плутарх жили «под пеплом» (ее собственное выражение тоже из писем мирного сельского времени), так же теперь «под пеплом» живет и тайная жизнь ее сердца. До встречи с Бюзо... (К нему обращено то письмо перед казнью, с которого мы начали рассказ об этой женщине.)

Франсуа Николай Леонард Бюзо был деятелем партии Жиронды, близким к Ролану.

Это был самый тяжелый период ее жизни — и потому, что Французская революция вошла в ту трагическую полосу массового террора, когда стала, подобно мифическому Сатурну, пожирать собственных детей, и потому, что любовь-страсть к Бюзо вызвала в ней мучительную борьбу с пониманием нравственного долга перед мужем.

В мемуарах, написанных накануне казни, она рассказывала, что после ареста испытала радость от того, что теперь любовь может не бороться с ее нравственным «я».

Мари Ролан, кажется мне порой, создана гением Стендаля. . . ¹ Она напоминает его героев величием души, нравственной чистотой, мужеством, возрастающим в минуту опасности. Напоминает она героев Стендаля и одной совершенно замечательной чертой: подобно Жюльену Сорелю из «Красного и черного» и Фабрицио из «Пармской обители», она в тюрьме узнает полноту и покой любви. . .

То бесценно-человеческое, что вкладывал Жюльен Сорель, обращаясь к госпоже Реналь во время их встреч после суда, ту надежду и ту страсть, что были во взглядах Фабрицио, когда он из башни высокой темницы наблюдал за Клелией, ухаживающей за канарейками, — все это Мари Ролан вкладывала в письма к Бюзо из тюрьмы.

Не жалею меня, — писала она ему, — в моем одиночестве я ближе к тебе, чем прежде. Благодаря лишению свободы я могу пожертвовать собой мужу и всецело принадлежать тебе, согласуя любовь с чувством долга.

Четыре дня назад мне удалось достать твой портрет,

¹ Именно поэтому я и помещаю главу о ней после главы, посвященной Стендалю.

который по какому-то суеверию я не хотела брать с собой в тюрьму... Он спрятан ото всех взглядов... Мне не верится, чтобы судьба предназначала одни испытания чувствам столь чистым и достойным ее покровительству. Мысль эта дает мне силу выносить жизнь и спокойно ожидать смерть. Будем же с благодарностью пользоваться теми благами, которые даны нам. Кто умеет любить так, как мы, тот способен на великое, тот получает награды за самые тяжелые жертвы, возмездие за все горести.

Упомянув о Ролане ¹, она пишет, что освобождение из тюрьмы возобновило бы узы, соединяющие ее с мужем. И узы, возлагаемые возвышенным пониманием долга, тяжелее тюремных оков, страшнее эшафота...

Ты не можешь представить себе, — говорит она Бюзо в одном из самых странных писем к нему, — как привлекательна жизнь в тюрьме, где не требуется тяжелых нравственных жертв, где можно отдаться влечению сердца, где ревнивый взгляд не следит за выражением чувства. Возвратившись к истине, можно, не оскорбляя прав или привязанностей кого-либо, обрести духовную независимость среди кажущейся неволи... Независимость эту я не позволяла себе искать ценою счастья другого, — счастья, которое было так трудно мне поддерживать. Я принадлежу лишь тому, кто любит меня и кто достоин моей любви. Продолжай начатое дело, будь полезен Отечеству, — каждое из твоих деяний внушает мне радость и гордость.

По воспоминаниям современников, в повседневности тюрьмы (а в тот период революции тюрьма, к сожалению, стала трагической повседневностью) Мари Ролан вела себя с тем же достоинством, что и в обыденной сельской жизни. Она и тут была лекарем-утешителем.

¹ Он скрывался тогда вдали от Парижа.

Утешала она и Бюзо в последнем письме к нему. Ее везли к месту казни в осенний, ненастный ноябрьский день. Повозка с осужденными медленно тянулась по набережной мимо дома, где некогда жили родители Ролан...

Ролан, узнав о ее конце, ушел в лес и там вонзил себе нож в сердце...

Через несколько месяцев покончил с собой и Бюзо; тело его было полусъедено волками.

В 1820 году вышло издание мемуаров Мари Ролан, написанных в тюрьме. Их читал Стендаль, он не мог не полюбить эту женщину, хотя ее жизнь и опровергала одно из его суждений — суждение о том, что человеческое сердце с наибольшей полнотой раскрывается в любви, когда оно не может раскрыться в иных, менее интимных сферах.

Но думаю, что Стендаль с его склонностью увлекаться всем удивительным, необычайным в истории человеческих душ, тайно радовался этому опровержению.

НЕЧТО СТРАННОЕ

1

Когда после стихов и поэм Байрона обращаешься к его письмам, разрозненным мыслям, отрывочным записям, удивляет отношение поэта к тому, что, казалось бы, должно составлять высший смысл его жизни, — к литературе. Он никогда не говорит о ней с почтением и серьезностью, которыми отмечены подобные высказывания его великих соратников по перу. Байрон о ней

пишет как о чем-то второстепенном, чему вынужден он отдавать время от времени силы ума и души, потому что они, увы, лучшего воплощения не нашли в мире, из которого уходят великие характеры и великие страсти. Он мечтал о действии...

«Действия, действия, — говорю я, — а не сочинительство, особенно в стихах!» — восклицает он на двадцать шестом году жизни, написав уже первые песни «Паломничества Чайльда Гарольда» и восточные поэмы, давшие ему мировую известность. О нем говорили и писали в европейских столицах и даже — в тот «медлительный» век! — на острове Ява (что забавляло его особенно), а он завидовал лондонскому боксеру Криббу (кто помнил бы сегодня о нем, если бы «зависть» Байрона не обесмертила его?), завидовал тому, что Крибб участвовал в морских боях. «Большой человек!» — по-детски серьезно пишет о нем Байрон.

Он завидовал тем, кто участвовал в морских боях, терпел кораблекрушения, открывая новые пути и земли, тем, кто отважно воевал, освобождая народы от рабства. Рядом с этими великими действиями кажется ему жалкой судьба созерцателя, жизнь «рифмача»! Он любил Сервантеса, Тассо, Данте, Эсхила, Софокла за то, что они, не довольствуясь литературой, были доблестными деятелями и воинами.

«...Я еще покажу себя — не в литературе, это пустяк», — писал он в 1817 году из Венеции в Англию, которую перед этим с разбитым сердцем покинул. И обещал: «Я совершу нечто такое, что, как сотворение мира, задаст великую загадку философам».

Что же хотел он совершить? О чем тосковала его душа? Чтобы это понять, надо рядом с жадной титанического действия увидеть в нем и то, что, казалось бы, должно начисто этой жадной поглощаться. Вот в лондонском обществе он тепло и любовно говорит о Шерида-

не, о его комедиях и речах и узнает через день, что тот заплакал, когда ему передали это. Бедный старый Шеридан заплакал от радости. И Байрон искренне гордится этим больше, чем если бы сочинил «Илиаду».

Вот, путешествуя, он видит в воздухе шесть орлов. «Последней подстреленной мною птицей был орленок... Я только ранил его и хотел спасти... Но он стал чахнуть и через несколько дней умер. С тех пор я не подымал руки ни на одну птицу — и никогда не подыму».

Вот он пишет о Данте, героической натурой которого восхищался, и отмечает как замечательную его черту «ни с чем не сравнимую нежность».

Вот он видит на дороге в Италии девяностопятилетнюю старуху, ласково беседует с ней, дает ей деньги и, когда та через день дарит ему два пучка фиалок, испытывает большое удовольствие, как кажется ему, от изящества этого подарка. Но, видно, и от того, что опять кто-то «заплакал от радости».

Вот, живя в Равенне — городе, где он помогал карбонариям, — он узнает, что «завтра расстреляют одного горемыку...». И пишет, что если бы «мог спасти его... не пожалел бы потратить годы».

Когда его надежды на восстание карбонариев не оправдались, он начал мечтать об освобождении Африки, и в это время любимая им с детства Эллада — родина Эхила, Софокла и Гомера — поднялась на борьбу с турками. Он и поехал туда, чтобы участвовать в освободительной войне. Там умер он в маленьком порту Миссолунги — от болотной лихорадки и невежества врачей.

Когда он умирал, рядом с ним была турецкая девочка Хатадже, которую Байрон перед этим решил удочерить.

Он воевал с сильными, жестокими мужчинами, а не с детьми и женщинами. В Миссолунгах он в первые же дни добился освобождения захваченных женщин и детей, он дал им денег, чтобы они вернулись домой. А Хатадже

захотела остаться с ним, и мать ее сочла разумным в создавшейся обстановке доверить дочь Байрону. Он думал, решал: послать ли девочку в Англию, чтобы она воспитывалась с его родной дочерью Адой, или в Италию, в одну из семей карбонариев?

«Она живая и смышленная, — писал он самому дорогову в мире человеку, сестре Августе, — с азиатскими чертами лица».

Хатадже была при нем в последние минуты его жизни. Что стало с нею потом? . .

Байрон понимал: уберечь ребенка от ужасов войны важнее, чем написать великую поэму, — он был добр, — и именно поэтому он писал поэмы, которые живут в веках. Хатадже, или Хато, как уменьшительно он ее называл, была последним на земле человеком, кого коснулась та ни с чем не сравнимая нежность, которая делает бессмертными его стихи.

Это сочетание в одном человеческом сердце жажды титанического, как при сотворении мира, действия и нежности, для которой нет точного определения и в лексиконе гениального поэта, — в самом деле загадка, достойная философов.

Ответ на нее равносилен, быть может, разгадке самой жизни.

Последними словами Байрона были: «Я оставляю в мире нечто бесценное».

Он сказал это по-итальянски.

2

Последней любовью Байрона была Тереза Гвиччиоли, с которой он познакомился в Венеции за четыре года до последнего путешествия — к берегам Эллады. Ей было тогда шестнадцать лет, ему немногим более тридцати.

Почти через полвека, когда Байрон стал для мира великим воспоминанием и мифом, старая Тереза Гамба (после развода с графом Гвиччиоли к ней вернулась девичья ее фамилия) издала обширные воспоминания о любимом человеке. Решение загадки, которую мир назвал Байроном, выражалось для нее в том, что он был ангелом. Он был телесно хорош, как ангел, и душевно высок, как ангел, и, как ангел, добр и скромн. . . Байрон был для нее совершенством и чудом без единого порока и изъяна. Утверждая, что походка поэта была абсолютно нормальной и легенда об изувеченной его ноге вымышлена его недругами, она ссылается на авторитетное суждение башмачника, который шил ему сапоги; она пишет отдельно о красоте его голоса, его носа, его губ и волос, не менее восторженно повествуя и о духовных его достоинствах. Шестидесятипятилетняя Тереза Гамба любила Байрона не меньше, чем шестнадцатилетняя Тереза Гвиччиоли, которая легко шла ради него на немалые жертвы — после развода с мужем она чуть не была заточена в монастырь, с положением в обществе утрачивала и богатство (Гвиччиоли был одним из весьма состоятельных людей) и даже — в тот беспокойный век — элементарную надежность существования: ее могли выдворить из города, из страны. Ее любовь была выше судьбы, поэтому ссылка на башмачника через сорок четыре года после гибели Байрона в Миссолунгах может вызвать иронию лишь у того, кто никогда не любил.

Любовь к Байрону была для юной Терезы событием, которое изменило все ее существо — и душевный состав, и образ жизни. Об этом она с детской откровенностью написала ему в первом же письме, с острой болезненностью переживая первую разлуку, когда вынуждена была весной 1819 года вернуться с мужем из Венеции, где она только что познакомилась с поэтом, в Равенну.

Если раньше я, — писала она в возрасте шекспи-

ровской Джульетты (шестнадцать лет в XIX веке почти то же самое, что четырнадцать в XV), — мечтала лишь о балах, то теперь избегаю развлечений, живу в одиночестве, занимаясь музыкой, верховой ездой и домашним хозяйством.

А Байрон ей из Венеции пишет:

Сокровище мое... ведь ты не дала мне другого адреса, кроме равеннского. Если бы ты знала, как велика моя любовь к тебе, ты не подумала бы, что я способен забыть тебя хоть на единый миг. Тебе надо узнать меня лучше — быть может, ты когда-нибудь поймешь, что я хоть и не стою тебя, но истинно люблю.

Ты спрашиваешь, с кем мне всего приятнее видаться после твоего отъезда, кто вызывает во мне волнение — пусть не то, которое способна вызвать одна ты, — но хотя подобие его. Что ж, я скажу: это старик-привратник, с которым Фанни (подруга Терезы. — Евг. Б.) присылала твои записки, когда ты была в Венеции, — он и сейчас приносит твои письма — все еще дорогие, хотя и не так, как те, что давали надежду увидеться с тобой в тот же день, в обычном месте. Где ты, моя Тереза? Все здесь напоминает о тебе — все осталось прежним, но тебя нет, а я все еще тут. При разлуке тот, кто уезжает, меньше страдает, чем тот, кто остается. Развлечения, доставляемые путешествием, помогают рассеяться — движение, смена впечатлений, пейзажей, быть может, и самая разлука — отвлекают мысль и облегчают душу. Но тот, кто остался, окружен прежними предметами; завтрашний день похож для него на вчерашний — недостает лишь той, которая заставляла меня позабыть, что завтра должно когда-нибудь наступить. Когда я бываю на приемах, я предаюсь скуке и рад, что страдаю от нее, а не от горя. Я вижу те же лица — слышу те же голоса, — но уже не решаюсь взглянуть на софу, где не увижу тебя, а могу увидеть какую-нибудь

старуху, воплощение Злословия. Я без малейшего волнения слышу стук двери, к которому, бывало, прислушивался так тревожно, когда являлся раньше тебя и с надеждой ждал твоего прихода. Не говорю уж о местах, еще более дорогих мне, ибо туда я не стану ходить, пока ты не вернешься. Я нахожу удовольствие только в мыслях о тебе, но не знаю, как я мог бы вновь увидеть места, где мы бывали вместе, — особенно те, что священные для нашей любви — увидеть и не умереть от тоски.

Сокровище мое, жизнь моя стала очень печальной и однообразной; ни книги, ни музыка, ни лошади (это в Венеции редкость, но ты знаешь, что я держу своих на Лидо), ни собаки — ничто не доставляет мне удовольствия; общество женщин меня не влечет; о мужском я и не говорю, потому что его я всегда презирал. В течение нескольких лет я сознательно избегал сильных страстей, ибо слишком много страдал от тирании Любви. Никогда не восхищаться, наслаждаться, не придавая наслаждению слишком большой цены — быть безразличным ко всем делам человеческим — ко многим чувствовать презрение, но ни к кому — ненависти, — таковы были основы моей философии. Я не хотел больше любить и не надеялся быть любимым. Ты обратила в бегство все эти решения; я теперь весь твой; я буду тем, чем ты пожелаешь — буду, быть может, счастлив твоей любовью, но покоя мне уже не знать никогда. Не надо было будить мое сердце — ведь до сих пор (по крайней мере у меня на родине) моя любовь была несчастьем для тех, кого я любил, и для меня самого. Но эти размышления запоздали. Я обладал тобой, и, каков бы ни был конец, я вечно буду всецело твоим.

Целую тебя тысячу и еще тысячу раз...

Люби меня — твоего неизменно нежного и верного.

Б.

Письмо это написано по-итальянски.

Байрон был, еще сам не догадываясь о том, несправедлив к Терезе: «развлечения, доставляемые путешествием», не помогли ей рассеяться. Она заболела от тоски по нем, заболела серьезно, по-настоящему опасно. Байрон поехал в Равенну и застал ее в постели.

Боюсь ужасно, что она больна чахоткою, — писал он в Англию товарищу юношеских лет. — Так случается со всяким предметом, со всякою личностью, к которой я начинаю чувствовать искреннюю привязанность. Но если с нею приключится несчастье, — то прощай, мое сердце! — это моя последняя любовь. Те увлечения, которым я раньше предавался и которые мне смертельно надоели, принесли, по крайней мере, ту пользу, что я могу почувствовать любовь в самом благородном смысле этого слова.

Когда через некоторое время, выздоровев, Тереза опять вынуждена была уехать, на этот раз из Равенны с мужем в его имение, Байрон ежедневно посещал ее дом, заставлял открывать ее комнаты, читал ее любимые книги и даже писал на их полях. . . Сохранился экземпляр «Коринны» Сталь с его строками:

Моя возлюбленная Тереза! я прочитал эту книгу в твоём саду. — Моя дорогая! ты отсутствовала, иначе я не мог бы читать. Это одна из твоих любимых книг, а автор ее — моя приятельница. Ты не можешь понять этих английских слов, и другие также не поймут их, — вот почему я не нацарапал их по-итальянски. Но ты узнаешь почерк того, кто страстно любит тебя, и догадаться, что он, сидя с одною из твоих книг, мог думать только о любви. В этом слове, прекрасном на всех языках, но наиболее прекрасном на твоём, — amor mio, — сосредоточивается мое существование теперь и на будущее время. . . Думай иногда обо мне, когда Альпы и море разлучат нас, но этого никогда не случится, пока ты сама не пожелаешь.

Почти в это же время он пишет в Англию:

Я имею дело с женщиной совершенно бескорыстной... молодой, милой и хорошенькой... Но (вечное байроновское «но», когда речь идет о любви и о счастье!) я чувствую — и чувствую с горечью, — что человеку не следует растрачивать жизнь в объятиях и в обществе женщины и чужестранки; что получаемой от нее награды — пусть и немалой — недостаточно для нее и что подобная жизнь чичисбея¹ заслуживает осуждения. Но мне не хватает ни силы воли, чтобы порвать свои цепи, ни бесчувственности, которая помогла бы мне легче их нести. Не знаю, что со мной будет; покинуть ее или быть ею покинутым — это сейчас совсем свело бы меня с ума; но до чего я дошел? К счастью, или к несчастью, у меня не осталось честолюбия; лучше бы осталось, это меня хотя бы пробудило; а сейчас я лишь вздрагиваю во сне.

Но Тереза любила не только Байрона, но и Италию. И это в большой степени решило судьбу их отношений и его собственную дальнейшую судьбу. Самые поверхностные из биографов великого поэта недвусмысленно дают понять, что он уплыл к берегам Эллады на освободительную войну, потому что устал от ее любви и решил естественно и возвышенно развязать, если не разрубить, тяжкие отношения с уже нелюбимой женщиной, перед которой чувствовал себя бесконечно виноватым. Можно подумать: если бы не Тереза, он состарился бы безбурно, развлекая себя музыкой, верховой ездой и стрельбой из пистолета! Байрон поплыл освобождать Элладу не потому, что он разлюбил женщину, а потому, что не разлюбил, несмотря на высокое чувство женщины к нему, то, что он называл «подлинной поэзией полити-

¹ Чичисбей — в XVI—XVIII вв. в Италии постоянный спутник богатой, знатной замужней женщины, с которым она выходила на прогулку.

ки»: борьбу за освобождение народов, человечества от рабства. Нет, конечно, не из-за Терезы он решился на последнее путешествие, и в то же время она имеет к нему самое непосредственное отношение. Тереза повлияла и на жизнь, и на душу Байрона. Через семью ее Байрон вошел в общество карбонариев. По желанию Терезы Байрон писал страстные политические стихи, которые должны были воспламенить сердца патриотов Италии.

Она с самого начала, с первых дней любви, испытывала умный и острый интерес к нему как к поэту, что вызывало у него, тоже с самого начала, полное непонимание, даже раздражение.

Душа моя, — пишет он ей в то время, когда не могло быть и речи об усталости от любви, а были с его стороны лишь нежность и восхищение, когда она была больна, не вынеся первой разлуки с ним, — я пишу тебе о Любви, а ты в ответ о Тассо. Я пишу о тебе, а ты спрашиваешь об Элеоноре¹. Если хочешь, чтобы я обезумел еще больше, чем он, тебе это скоро удастся, уверяю тебя. Расспросы твои излишни. Если тебе известно, что такое любовь — если ты любишь меня — если чувствуешь, — как можешь ты в такое время при нашем положении говорить о вымыслах поэта? Не слишком ли много с нас и действительности? . . .

P. S. Прости меня, если первые строки этого письма были чересчур английскими — но я приехал в Италию не для того, чтобы говорить о себе и своих делах — скорее для того, чтобы позабыть свою прежнюю жизнь там, за горами, — а главное, чтобы любить тебя — тебя, моя единственная и последняя радость. Вот отчего я так нетерпеливо ответил на твой вопрос: была ли действительно [Элеонора] и т. д. и т. п.

Байрону казалось, что она задает вопросы о героях

¹ Элеонора — героиня из поэмы Байрона «Жалоба Тассо».

его поэм, потому что ревнует к действительным лицам и событиям, которые легли в их основу, его удивлял, раздражал этот интерес к «вымыслам поэта» при перенасыщенности их отношений реальными переживаниями и подлинными событиями. Мы помним, что выше мира вымыслов он ставил жизнь, действие.

Она, разумеется, любила его и ревновала, но в этой любви и ревности все время углублялось понимание Байрона — поэта и человека. И она в нем, в человеке и поэте, понимала, возможно, то, чего не понимал он в себе сам; стремясь лучше узнать, понять героев его поэм, она хотела понять полнее и его самого, чтобы помогать ему в осуществлении его великих целей. Замечательно, что Байрон кончил жизнь в качестве командующего отрядом «диких людей», похожих на тех самых героев, которых он воспевал в последние годы, когда Тереза его любила.

Она задавала вопросы о героях его поэм, чтобы услышать ответы о нем самом. О том, что было. И о том, что будет.

В одном из писем в Англию, датированном октябрём 1819 года, когда он и она вернулись в Венецию, Байрон пишет, что верен графине Гвиччиоли, добавляя, что она не стоит ему «и шести пенсов».

Я только однажды сделал ей подарок — бриллиантовую брошь, а она отослала ее обратно, вложив туда прядь своих волос (но именно так в Италии принято) и написала, что не привыкла получать столь ценные подарки, но надеется, что я не буду обижен отказом и не сочту, что ценность броши уменьшилась от такого вложения. . .

Она была, по воспоминаниям современников, «хороша до совершенства». Американский живописец Вест рассказывает:

В то время, когда я рисовал (портрет Байрона), окно, через которое освещалась мастерская, внезапно потемне-

ло, и я услышал женский голос: он слишком хорош!! Я обернулся и увидел восхитительную женщину, которая наклонилась к окну, чтобы взглянуть на мою работу, так как земля была на уровне с окном. Ее длинные золотистые волосы ниспадали ей на лицо и плечи, фигура была хороша до совершенства, а ее улыбка придавала еще большую красоту наиболее романтической головке, какую мне встречалось видеть, — в особенности в ту минуту, когда она показалась мне в сиянии солнечного света, озарявшего ее сзади.

Байрон ожидал, что муж Терезы разделается с ним с помощью наемных убийц. «Таков обычай, — писал он в Англию. — Я... беру с собой пистолеты, когда езжу по вечерам в лес». Он не испытывал страха, его радовало чувство постоянной опасности.

На улицах итальянских городов убивали в то время ежедневно и ежечасно. Однажды Байрон подобрал тяжело раненного офицера. «Он умер у меня в доме, — записал он в дневнике 4 января 1821 года. — Убийцы остались неизвестными». Родные офицера написали из Рима в Равенну Байрону, поблагодарив за человеколюбие. Им ответила за Байрона Тереза «на более чистом итальянском языке».

В доме семейства Гамба (Тереза к тому времени развелась) Байрон бывал ежедневно. Гамба были карбонариями. Тут разрабатывались планы освобождения Италии от австрийского ига.

Говорили о различных методах ведения войны — об известном венграм и шотландским горцам искусстве биться на палашах, в котором я некогда достиг кое-каких успехов. Решили, что Р. (революция) начнется 7—8 марта, чему я верил бы, если бы она не была уже однажды назначена на октябрь 1820 года. Но болонцы не пожелали объединиться с романьольцами.

В январско-февральских записях 1821 года имя Терезы

зы упоминается редко, хотя он видел ее ежедневно. По вечерам ему подают пистолеты, и он едет... к возлюбленной или к ее родным — карбонариям. Судя по тому, что он теперь опасается не убийц, нанятых ревнивым мужем, а политических недругов, состояние души поэта резко переменялось. Он еще пишет, что его будущее зависит от желаний его дамы, ему самому оно безразлично, он дарит Терезе перстень с изображением любимого романиста — Вальтера Скотта, но посещение дома, где она живет, стало «обычным визитом». И чем меньшей опасностью и большей обыденностью становится любовь, тем сильнее занимают его ум мысли о восстании, баррикадах, о собственном участии в великих событиях. Нижний этаж его дома завален штыками, ружьями, патронами. Он страшно серьезно относится к революции; то, что отвлекает от нее, кажется ненужным, раздражает. Он с удовольствием слушает в доме Терезы ее игру на пианино, но тихо негодует, когда там говорят о завтрашней охоте.

Ему, в сущности, нравится эта жизнь: он возвращается домой, читает любимых писателей — Шекспира, Вальтера Скотта — с мыслью, что под рукой у него оружие. Он любит собственный дом за то, что он удачно — в узкой улице — расположен: с отрядом в двадцать человек можно оборонять его хоть двадцать четыре часа от любых сил.

Он любит игру Терезы на пианино, но любит и игру нищего шарманщика на улице. «Странная вещь — музыка», — пишет он, рассказывая на самом деле о более странной вещи — о человеческом сердце.

Однажды Тереза поссорилась с ним, «когда я стал утверждать, что любовь не составляет самой возвышенной темы для подлинной трагедии... Она разбила мои немногочисленные доводы». Она выиграла литературный диспут, но, увы, не сердце Байрона.

Самой подлинной трагедией для Терезы была трагедия ее любви.

Человеческое сердце, как и музыка, действительно «странная вещь», и тому, кто хочет научиться его исследовать, стоит сопоставить строки из дневников Стендаля и Байрона. Стендаль с Метильдой Дембовской познакомился в 1818 году в Милане; Байрон с Терезой Гвиччиоли — в 1819 году в Венеции. Стендаль любил; любил и Байрон.

Теперь обратимся к их записям.

Стендаль поместил их в трактате «О любви». Он выдает их за записи полковника Сальвиати и «выдающегося молодого человека» из города Вольтерра Лизио Висконти, но нам известно, что это романтические псевдонимы самого Стендаля.

Болонья, 29 апреля 1818

...Я брожу по улицам под холодным дождем, и случай, если можно это назвать случаем, приводит меня к ее окнам. Уже темнело, и я шел, устремив глаза, полные слез, на окно ее комнаты. Вдруг занавеска немного раздвинулась, как будто кто-то хотел взглянуть на площадь, и тотчас задернулась снова. Я почувствовал как бы толчок в сердце. Я не мог держаться на ногах; я спрятался под навес соседнего дома. Тысячи чувств нахлынули на мою душу; может быть, занавеска колыхнулась совсем случайно; но что, если она была раздвинута ее рукой!

Когда любовь живет во мне, я чувствую в двух шагах от себя бесконечное счастье, превосходящее все мои желания, зависящее от одного лишь слова, от одной лишь улыбки.

Это пишет Сальвиати.

16 января 1821

Читал — ездил верхом — стрелял из пистолетов — вернулся — пообедал — писал — был с визитом — слушал музыку — болтал чепуху — и вернулся домой.

Написал часть трагедии — первый акт продвигается «со всей неспешной скоростью». Купил одеяло. Погода все еще сырая, как бывает в Лондоне в мае — туман — изморось, в воздухе висят шотландизмы, прекрасные в описании Оссиана, но несколько надоедливые в прозаической действительности. В политике все еще царит неизвестность.

Это пишет Байрон. «С визитом» он был у нее — у Терезы. «Слушал музыку» — в ее исполнении.

20 июля 1818

... Вчера я провел три часа с женщиной, которую я люблю... Конечно, были минуты горечи при виде ее прекрасных глаз, устремленных на него, и, уходя, я испытал приступы и величайшего горя и надежды. Но сколько нового!! Сколько острых мыслей! Сколько внезапных соображений! И, несмотря на видимое счастье соперника, с какой гордостью и с каким наслаждением моя любовь чувствовала себя выше его любви! Я говорил себе: эти щеки побледнели бы от самого малодушного страха перед малейшей из жертв, которые моя любовь принесла бы шутя, — что говорю я, с восторгом! Если бы, например, мне предложили опустить руку в шляпу, чтобы вынуть одну из двух записок: быть любимым ею или сейчас же умереть. И это чувство так срослось со мной, что оно не мешало мне быть любезным и принимать участие в разговоре.

Если бы мне рассказали это два года тому назад, я рассмеялся бы.

Это писал Сальвиати.

17 января 1821

Ездил по лесу — стрелял — обедал. Получил связку книг из Англии и Ломбардии — английских, итальянских, французских и латинских. До восьми читал — пошел в гости.

Это писал Байрон; «пошел в гости» — в дом Терезы.

25 февраля 1822

Я почувствовал сегодня вечером, что музыка, когда она совершенна, приводит сердце в точно такое же состояние, какое испытываешь, наслаждаясь присутствием любимого существа, то есть что она дает, несомненно, самое яркое счастье, какое только возможно на земле.

Если бы это для всех людей было так, ничто в мире не располагало бы сильнее к любви.

Это писал Лизио Висконти.

23 января 1821

Отличный день. Читал — ездил верхом — стрелял из пистолетов — и вернулся домой. Пообедал — читал — в восемь ушел из дому сделать обычный визит.

«Обычный визит» — к ней.

4 марта 1822

.. Привычка к музыке и к ее мечтаниям предрасполагает к любви. Нежный и грустный мотив, если только он не чересчур драматичен, если воображению не приходится думать о действии, мотив, располагающий исключительно к любовным мечтам, отраден для нежных и страдающих душ..

Это писал Лиззио Висконти.

18 января 1821

Сегодня не ездил верхом, так как почта пришла с опозданием. Читал письма — получил всего две газеты вместо двенадцати, которые ожидал. Поручил Лега написать Галиньяни об этой небрежности и добавил постскриптум. Пообедал.

В восемь собирался выйти из дому. Явился Лега с письмом насчет одного неоплаченного счета из Венеции, который я считал давным-давно оплаченным. Я пришел в такое бешенство, что едва не потерял сознание. С тех пор чувствую себя больным. Поделом мне за мою глупость — но как было не рассердиться на этих мошенников? Впрочем, счет всего на двадцать пять фунтов.

«Собирался выйти из дому» — в дом Гамба.

Я позволил себе несколько нарушить хронологическую последовательность и запись Байрона от 23 января дать раньше записи от 18 января для того, чтобы тотчас же отметить, что он писал не только о том, что его бесит неопределенный долг в 25 фунтов, но и о том, что рад отдать восстанию решительно все, что у него есть.

«Условия игры» делали неизбежной известную несправедливость к Байрону. Ведь наряду с постоянными

полувысказываемыми жалобами на однообразие дней, он утверждал в том же дневнике:

Я почти сожалел бы, если бы мои дела обстояли хорошо, когда судьба народов находится под угрозой. Если бы удалось коренным образом улучшить положение народов (особенно угнетенных итальянцев), я не стал бы принимать к сердцу собственные «мелкие дела». Да пошлет нам всем бог лучшие времена или способность философски смотреть на вещи!

Сопоставлением «параллельных мест» хотелось мне выявить ряд важных симптомов любви и нелюбви. Вещи, абсолютно несущественные для человека, который любит, весьма существенны для того, в ком любовь уже умерла; он их отмечает как нечто непреложно реальное, чем они и являются в действительности, я чуть было не написал: «обыденной, будничной», но это было бы, конечно, несправедливо. Это — живая подлинная жизнь, неизбежно состоящая из того, что совершенно ново и абсолютно старо, остро волнует и оставляет безразличным, радует и вызывает отвращение. . . Поэтому лучше говорить не об обыденной действительности, а об особом мире страстно любящего человека, мире Стендаля (Сальвиати и Лизио Висконти), мире, в котором все исполнено новизны, все волнует и делает человека или несчастным, или счастливым.

Конечно, надо иметь в виду и то, что, хотя все это писалось в одно и то же время, в одной и той же стране и, казалось бы, в одной ситуации большой любви, перед нами не только разные люди и разные судьбы, но и разные человеческие миры. Мир Стендаля уже пережил великое действие — революцию 1789 года и наполеоновские войны; для более молодого англичанина (тогда еще ощущалось, что Англия — остров) Байрона Французская революция была легендой, а Наполеон мифической фигурой наподобие Александра Македонского. Стендаль

же с ним общался совершенно непосредственно, в будничной реальной действительности, а мальчиком высказывался за казнь короля...

Этим я вовсе не хочу утверждать, что если бы Байрон возвратился из Миссолунгов и полюбил бы опять, он, как Сальвиати, стоял бы с заплаканным лицом под ее окнами. Но, возможно, он уплыл бы в Южную Америку, освобождать креолов не один, а с любимой женщиной. Его сердце не переменялось бы, но стало более мудрым. Он к этой мудрости шел.

Все чаще появлялись у него странные чувства и странные мысли. Он отмечает это с удивлением, как бы не понимая себя самого.

Вспомнил нечто странное...

Однажды, когда мне было пятнадцать лет, мне пришлось в одной из дербширских пещер плыть в лодке (где можно было поместиться только вдвоем, да и то лежа) под скалой, которая нависает над водой так низко, что перевозчик (подобие Харона¹) должен толкать лодку, а сам идет за ней, все время нагибаясь. Моей спутницей была М. А. Ч[аворт], в которую я долго был влюблен, не признаваясь в этом, хотя она сумела узнать мою тайну. Помню свои ощущения, но описать их не могу — пожалуй, оно и лучше.

Мери Чаворт была его безнадежной «чуть ли не с четырнадцать лет» любовью. Они были соседями в Англии. Род Байронов и род Чаворт объединяла легендарная вражда, омраченная убийством.

Наш союз мог бы положить конец вражде, из-за которой пролилась кровь наших предков; он объединил бы обширные и богатые земли; соединил бы сердца, по крайней мере одно, и двух людей, подходящих друг

¹ Харон — мифический перевозчик через реки в подземном царстве.

другу по годам (она старше меня на два года), и что ж? Она вышла за человека много старше ее, была с ним несчастлива и разошлась. Я женился и тоже разошелся, и все же мы не соединились.

Мери Чаворт не была первой любовью Байрона. Первой его любовью была Мэри Дафф. И он никогда не переставал думать о ней, о загадке собственной души.

... Но странно ли, что я так преданно, так безраздельно любил эту девочку в том возрасте, когда не могу ощущать страсти и даже понимать значение этого слова? Как сильно я чувствовал! Моя мать часто дразнила меня моей детской любовью, а много позже, когда мне было шестнадцать лет, она однажды сказала: «Ах, Байрон, я получила письмо из Эдинбурга, от мисс Аберкромби: твоя старая любовь, Мэри Дафф, вышла замуж за некоего м-ра Ко». И как же я принял эту весть? Не могу объяснить своих чувств в ту минуту, но они произвели у меня что-то вроде судорог, которые так встревожили мою мать, что она с тех пор избегала говорить на эту тему со мной и довольствовалась тем, что обсуждала ее со всеми своими знакомыми. Что же это было? Я ни разу не видел ее с тех пор, как из-за ложного шага ее матери в Эбердине ее пришлось увезти в Банф, к бабушке. Но я помню все, что мы говорили друг другу, все наши ласки, ее черты, мою тревогу, бессонницу, и как я докучал горничной моей матери, требуя, чтобы она писала ей за меня письма, и как она, наконец, согласилась, чтобы меня успокоить. Бедная Нэнси думала, что я обезумел, и стала моим секретарем, потому что я не умел писать сам. Помню наши прогулки, помню, каким счастьем для меня было сидеть рядом с Мэри в детской их эбердинского дома, недалеко от Плейн Стейнз; помню, как ее младшая сестренка Элен играла с куклой, а мы сидели серьезные и на свой лад предавались любви.

Отчего это произошло со мной так рано? Что могло

породить это чувство? Ни тогда, ни еще годы спустя, я не имел и понятия о половом влечении, но мои страдания, моя любовь к этой девочке были так сильны, что я иногда сомневаюсь, бывал ли я после этого действительно влюблен. Как бы там ни было, уже несколько лет спустя, весть о ее замужестве была для меня ударом грома — я едва не задохнулся — к ужасу моей матери и недоверчивому удивлению всех остальных. Это явление в моей жизни (мне еще не было тогда восьми лет) удивляет и будет удивлять меня до конца моих дней, а в последнее время, не знаю отчего, воспоминания об этом чувстве (но не оно само) ожили с поразительной ясностью. Сохранила ли она память о нем и обо мне?

3

Последним человеком, которого он видел, умирая в Миссолунгах, была девочка-турчанка Хатадже, или Хато, как он называл ее нежно.

Не увидел ли он, не узнал ли в ней Мэри Дафф, первую любовь; Мэри Дафф, которую он — уже большой и сильный — освободил? Он ее любил по-прежнему.

Первая любовь Байрона была и последней его любовью.

Когда в 1830 году в России издадут биографию Байрона, Лермонтов обнаружит одно удивительное совпадение: он тоже полюбил первый раз, когда ему было восемь лет.

Как они любили

ВОЛЬТЕР ¹ — ОЛИМПИИ ДЮНУАЙЭ

Октябрь 1713

Мне кажется, милая барышня, что вы меня любите, потому будьте готовы в данных обстоятельствах пустить в ход всю силу вашего ума. Лишь только я вернулся вчера в отель, мне сказали, что сегодня я должен уехать, и я мог только отсрочить это до завтра; однако он запретил мне отлучаться куда-либо до отъезда; он опасается, чтобы сударыня ваша матушка не нанесла мне обиды, которая может отозваться на нем и на короле; он даже не дал мне ничего возразить; я должен непременно уехать, не повидавшись с вами. Можете представить себе мое отчаяние. Оно могло бы стоить мне жизни, если бы я не надеялся быть вам полезным, лишаясь вашего дра-

¹ Вольтер (псевдоним; настоящие имя и фамилия Мари Франсуа Аруэ, 1694—1778) — французский писатель, философ, историк. Восемнадцать лет, во время своего пребывания в Гааге в качестве паж маркиза Шатонефа, влюбился в шестнадцатилетнюю Олимпию Дюнуайэ, увезенную матерью-протестанткой от отца-католика из Парижа. Сохранились пять писем юного Аруэ к его «Пимпетте», несколько пострадавшие от руки ее матери. Кроме юной влюбленности, в этих письмах Вольтера одушевляет еще романтическая мечта вернуть молодую девушку к отцу в Париж.

гоценного общества. Желание увидеть вас в Париже будет утешать меня во время моего пути. Не буду больше уговаривать вас оставить вашу матушку и увидаться с отцом, из объятий которого вас вырвали, чтобы сделать здесь несчастной¹. Я проведу весь день дома. Перешлите мне три письма: одно для вашего отца, другое — для вашего дяди, и третье — для вашей сестры; это безусловно необходимо, я передам им в условленном месте, особенно письмо вашей сестре. Пусть принесет мне эти письма башмачник: обещайте ему награду; пусть он придет с колодкой в руках, будто для поправки моих башмаков. Присоедините к этим письмам записочку для меня, чтобы, уезжая, мне послужило хотя бы это утешением, но, главное, — во имя любви, которую я питаю к вам, моя дорогая, пришлите мне ваш портрет; употребите все усилия, чтобы получить его от вашей матушки; он будет себя чувствовать гораздо лучше в моих руках, чем в ее, ибо он уже царит в моем сердце. Слуга, которого я посылаю к вам, безусловно предан мне; если вы хотите выдать его вашей матери за табакерщика, то он — нормандец и отлично сыграет свою роль: он передаст вам все мои письма, которые я буду направлять по его адресу, и вы можете пересылать свои также через него; можете также доверить ему ваш портрет.

Пишу вам ночью, еще не зная, как я уеду; знаю только, что должен уехать: я сделаю все возможное, чтобы увидеть вас завтра до того, как я покину Голландию. Но так как я не могу этого обещать наверное, то говорю вам, душа моя, мое последнее «прости» и, говоря вам это, клянусь всею тою нежностью, какую вы заслуживаете. Да, дорогая моя Пимпетточка, я буду вас любить

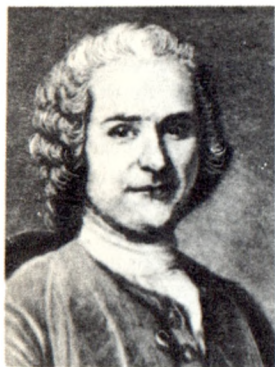
¹ Здесь, вероятно, несколько нелестных для госпожи Дюнауйэ строк вырезано матерью Олимпии.

всегда; так говорят даже самые ветреные влюбленные, но их любовь не основана, подобно моей, на полнейшем уважении; я равно преклоняюсь пред вашей добродетелью, как и пред вашей наружностью, и я молю небо только о том, чтобы иметь возможность заимствовать от вас ваши благородные чувства. Моя нежность позволяет мне рассчитывать на вашу; я льщу себя надеждой, что я пробужу в вас желание увидеть Париж; я еду в этот прекрасный город вымаливать ваше возвращение; буду писать вам с каждой почтой чрез посредство Лефевра, которому вы будете за каждое письмо что-нибудь давать, дабы побудить его исправно делать свое дело...

Еще раз прощайте, дорогая моя повелительница; вспоминайте хоть изредка о вашем несчастном возлюбленном, но вспоминайте не ради того, чтобы грустить; берегите свое здоровье, если хотите уберечь мое; главное, будьте очень скрытны; сожгите это мое письмо и все последующие; пусть лучше вы будете менее милостивы ко мне, но будете больше заботиться о себе; будем утешаться надеждой на скорое свиданье и будем любить друг друга всю нашу жизнь. Быть может, я сам приеду за вами; тогда я буду считать себя счастливейшим из людей; лишь бы вы приехали — я буду вполне удовлетворен. Я хочу только вашего счастья, и охотно купил бы его ценою своего. Я буду считать себя весьма вознагражденным, если буду знать, что я способствовал вашему возвращению к благополучию.

Прощайте, дорогая душа моя! Обнимаю вас тысячу раз.

Аруз.



ЖАН-ЖАК РУССО

ЖАН-ЖАК РУССО ¹ — НЕИЗВЕСТНОЙ

Я опять подверг себя опасности увидаться с вами. . . И предположения мои оправдались: этого было довольно, чтобы вновь открылись все раны моего сердца. Около вас я потерял то небольшое количество рассудка, которое у меня еще оставалось, и чувствую, что в том состоянии, до какого вы меня довели, я не годен ни на что, кроме того, чтобы обожать вас. Недуг мой тем печальнее, что у меня нет ни надежды, ни желания вылечиться от него, и что несмотря на все, что от этого может произойти, я должен любить вас вечно. Я понимаю, сударыня, что на взаимность с вашей стороны я не смею и надеяться. Я молодой человек без всяких средств, ничего не могу предложить вам, кроме сердца, — а это сердце, как бы оно ни было полно огня, чувства и тонкости, — конечно, дар, недостойный быть принятым вами. . . однако я сознаю, что в неизмеримой глубине моей нежности и в моем характере, живом, но постоянном,

¹ Руссо Жан-Жак (1712—1778) в своих произведениях много писал о любви и сам умел горячо и преданно любить, но любовных писем от него почти не осталось. Тем большую ценность имеет публикуемое выше, адресат которого точно не установлен, по всей вероятности, оно написано около 1750 года девушке, которую Жан-Жак Руссо пытался отговорить от поступления в монастырь.

есть данные для счастья, которые для всякой любимой женщины могли бы почитаться кое-чем взамен состояния и красоты, не достающих мне. . . Но вы обошлись со мной с невероятной жестокостью: а если когда-нибудь и высказывали мне что-то вроде благосклонности, то заставляли меня за это платить потом такой ценой, что, я поклясться готов, вся ваша цель была только помучить меня. Все это меня приводит в отчаяние, но несколько не удивляет, и я нахожу объяснение вашего поведения в моих бесчисленных недостатках. Не думайте, что я считаю вас бесчувственной: нет, ваше сердце не меньше, чем ваша наружность, создано для любви: в отчаяние меня приводит только то, что не мне суждено затронуть его. Я из достоверных источников знаю, что у вас были романы. . . я знаю даже имя того счастливого смертного, которому удалось заставить вас слушать себя. . . а чтобы дать вам идею о моем образе мыслей, я прибавлю, что узнал это совершенно случайно, не ища этого, и мое почтение к вам не позволит мне никогда добиваться узнать что-либо о вас кроме того, что вы сами найдете нужным открыть мне. Одним словом, если я сказал вам, что вы никогда не будете монахиней, то это потому, что я знал, что вы ни в коем случае не созданы для монашеской жизни, и если, как влюбленный, страстно влюбленный, я с ужасом смотрю на это пагубное решение, то, как искренний друг и честный человек, я никогда не могу посоветовать вам согласиться с убеждениями тех, кто вас толкает на этот шаг: призвание ваше совсем в другом, и вы готовите себе лишние сожаления и длительное раскаяние. Говорю вам это так, как думаю, — от глубины души — и не считаясь с собственными интересами: если я сам не могу быть счастлив — я по крайней мере найду свое счастье в вашем. Увы! . . . если бы вы захотели послушать меня, я смею сказать, что чувствую себя способным дать вам истин-

ное счастье... Никто не умеет так его ощущать, как я, и позволяю себе думать, что никто не сумел бы лучше заставить и вас испытать его. Боги!.. если бы я мог достичь этого блаженного обладания... я наверное умер бы! Как найти в душе сил противостоять такому вихрю блаженства?.. Но если бы любовь сотворила чудо и сохранила бы мне жизнь — как бы ни пылала страсть в моем сердце, — она еще удвоилась бы, и чтобы воспрепятствовать мне умереть от счастья, она прибавляла бы каждую минуту новый огонь в мою кровь. Одна мысль об этом заставляет ее кипеть, я не могу противиться обаянию соблазнительной химеры, ваш пленительный образ преследует меня, я не могу отделаться от него, даже отдаваясь ему: он спускается со мной даже в глубины сна, волнуя мое сердце и рассудок, он сжигает меня, одним словом, я чувствую, что вы убиваете меня против своей воли: и все равно — от действительной ли жестокости или от воображаемой ласки — моей любви суждено убить меня!..

ФИХТЕ ¹ — ИОГАННЕ МАРИИ РАН

Дорогая подруга! Ни слова о той жадности, с которою я, неловко, как вор, спрятал ваше письмо, поспешил домой, заперся в своей комнате и не проглотил его, как голодный, что делаю обычно, а медленно, с наслаждением просмаковал, строка за строкой.

... Никогда еще не чувствовал я к женщине того, что чувствую к вам. Такого искреннего доверия, без тени подозрения, что вы можете играть роль, без тени жела-

¹ Ф и х т е Иоганн (1762—1814) — замечательный немецкий философ. В 1788 году он познакомился в Цюрихе, где жил в качестве домашнего учителя, с Иоганной Ран, которая через четыре года стала его женой.

ния скрывать от вас; такой жажды представляться вам именно таким, каков я есть; такой привязанности, в которой пол не играл ни малейшей, хотя бы самой отдаленной роли, — ибо глубже знать свое сердце не дано ни одному смертному; такого истинного преклонения перед вашим умом, такой полной покорности вашим решениям — я еще никогда не испытывал... Вдали от вас смогу ли вас забыть? Разве можно забыть совсем новый способ существования и его причину? Или, быть может, я когда-либо позабуду быть искренним? Или, если я могу забыть это, то заслужу и то, чтобы вы забылись о том, как я о вас думаю.

.....

Как много надо мне вам сообщить бесконечно важного! Вы обладаете необъяснимым секретом все крепче, все сильнее к себе привязывать: моя преданность вам возникла не внезапно, как она иногда возникает и также внезапно исчезает. Мой гений шепнул мне, когда я увидел вас впервые, что это знакомство не будет безразличным для моей души, для моего характера, для моего призвания. Когда я познакомился с вами, мой разум и мое сердце влекли меня к вам все ближе, а теперь узы эти стягиваются еще теснее. Как вы это делаете? Или, скорее, как делаю это я? О, мне это слишком хорошо известно. В вас лежит клад, он открывается лишь по доброй воле и не расточается без разбора, а родственно-настроенной душе он раскрывается все больше и влечет ее к себе.

1 ноября, вечером

... Итак, дорогая избранница, я торжественно отдаюсь тебе и этим обрекаю себя на служение тебе. Благодарю, что ты не сочла меня недостойным стать твоим

товарищем на жизненном пути. Я много думал о том, чтобы когда-нибудь (дай бог, как можно позже) заменить тебе твоего благородного отца и послужить тебе наградой за твою раннюю мудрость, за твою детскую любовь, за твою невинность, за все твои добродетели; чувствую при мысли о громадных обязанностях, которые беру на себя, насколько я мал. Но чувство величия этих обязанностей должно меня возвысить, твоя любовь, твое благосклонное мнение обо мне, быть может, даст моему несовершенству то, чего мне недостает. Здесь не царство блаженства; я теперь знаю это: здесь — страна труда, и каждая радость, которая нам дается, есть лишь подкрепление для следующей, более трудной работы. Рука об руку пойдем мы по той стране, окликаая друг друга, подкрепляя друг друга, сообщая один другому свою силу, — пока наши души — о, если бы это могло свершиться одновременно, — не вознесутся в обитель вечного мира...

ШИЛЛЕР¹ — ЛОТТЕ

3 августа 1787

Правда ли это, дорогая Лотта? Могу ли я надеяться, что Каролина прочла Вашей душе и передала мне из глубины Вашего сердца то, в чем я не осмеливался себе признаться? О, какую тяжело казалась мне эта тайна, которую я должен был хранить все время, с той

¹ Шиллер Иоганн (1759—1805) познакомился в 1787 году с 23-летней Шарлоттой Ленгефельд, ставшей уже через год его женой; женитьба совпала с окончанием скитальческого, необеспеченного периода жизни юноши-поэта. В письмах к невесте, сестре ее Каролине и матери Лотты отразились романтические взгляды Шиллера.

минуты, как мы с Вами познакомились. Часто, когда мы еще жили вместе, собирал я все мое мужество и приходил к Вам с намерением открыть Вам это, но мужество постоянно меня покидало. В моем желании я видел эгоизм, я боялся, что имею в виду только мое счастье, и эта мысль пугала меня. Если я не мог быть для Вас тем же, чем Вы были для меня, то мои страдания огорчили бы Вас, и моим признанием я разрушил бы чудную гармонию нашей дружбы, лишился бы и того, что имел, — Вашего чистого, сестринского расположения. И все же бывали минуты, когда надежда моя оживала, когда счастье, которое мы могли дать друг другу, казалось мне бесконечно выше решительно всех рассуждений, когда я даже считал благородным принести ему в жертву все остальное. Вы могли бы быть счастливы без меня, но никогда не могли бы быть несчастной через меня. Это я в себе живо чувствовал — и на этом тогда построил мои надежды. Вы могли отдать себя другому, но никто не мог любить Вас чище и нежнее, чем я. Никому иному Ваше счастье не могло быть священнее, чем оно всегда было и будет для меня. Все мое существование, все, что во мне живет, все самое во мне дорогое посвящаю я Вам, и если стремлюсь облагородить себя, то для того, чтобы стать более достойным Вас, чтобы сделать Вас более счастливою. Возвышенность душ — прекрасные и нерасторжимые узы для дружбы и любви. Наша дружба и любовь будут нерасторжимы и вечны, как чувства, на которых мы их воздвигли.

Забудьте все, что могло бы принудить Ваше сердце, и предоставьте говорить лишь Вашим чувствам. Подтвердите то, на что позволила мне надеяться Каролина. Скажите, что вы хотите быть моею, и что мое счастье не составляет для Вас жертвы. О, убедите меня в этом, — одним-единственным словом. Близки друг другу наши сердца были уже давно. Пусть же отпадет то единствен-

ное чуждое, что стояло до сих пор между нами, и пусть ничто не мешает свободному общению наших душ.

До свиданья, дорогая Лотта. Я жажду спокойной минуты, чтобы изобразить Вам все чувства моего сердца. . . это единственное желание живет в моей душе, делающая меня то счастливым, то снова несчастным. Как много еще должен я Вам сказать!

Не медлите отогнать навсегда мое беспокойство. Я влагаю в Ваши руки все счастье моей жизни. Ах, я давно уже не представляю его себе иначе, чем в Вашем образе. До свиданья, дорогая.

ДЕМУЛЕН ¹ — ЖЕНЕ ЛЮСИЛ

Апрель 1794 г.

Благодетельный сон на время дал мне отдохнуть от страданий. Когда спишь, — чувствуешь себя свободным, отсутствует сознание своего плена. Небо сжалилось надо мною — я только что видел тебя во сне, целовал поочередно тебя, Горация и Анетту ², пришедшую к нам. Наш малютка лишился из-за золотухи одного глаза, и ужас этого несчастья заставил меня пробудиться, — и я снова увидел себя в моей каморке. Уже слегка рассветало. Так как я не мог дольше тебя видеть и слышать, ибо во сне ты и твоя мать беседовали со мной, то я встал, чтобы поговорить с тобой — написать тебе. Но лишь только открыл я окно, мысль о моем одиночестве, об ужасных засовах и решетках, отделяющих меня от тебя, лишила

¹ Демулен Камиль (1760—1794) — деятель Великой французской революции. Письмо написано к жене из тюрьмы перед казнью.

² Сынишка Демулена и мать Люсил.

меня всякой душевной твердости. Я заплакал, или, вернее, застонал в моем склепе. «Люсиль, Люсиль, о моя дорогая Люсиль, где ты?»

Вчера вечером я пережил еще момент, также ранивший мне душу, это когда я заметил твою мать в парке; инстинктивным движением я опустился у решетки окна на колени и сложил руки вместе, словно взывая к ее состраданию. Она изливается, конечно, тебе в своем горе. Я видел вчера ее скорбь, она спустила на лицо вуаль, не будучи в состоянии дольше выносить это зрелище. Когда вы придете, пусть она сядет поближе к тебе, чтобы я мог вас лучше видеть.

Пришли мне твой портрет, Лолотта, я неотступно прошу тебя об этом. Среди ужаса моей тюрьмы это явится для меня праздником — днем упоения и восторга. Пришли мне также прядь твоих волос, чтобы я мог прижать их к сердцу. И вот я снова переносюсь к временам моей первой любви, когда каждый приходивший от тебя, уже из-за одного этого, интересовал меня. Вчера, когда вернулся человек, относивший тебе мое письмо, я спросил его: «Значит — вы ее видели?» Я поймал себя на том, что приковал свой взгляд к его одежде, к его фигуре, словно там что-то осталось твое — от твоего присутствия.

У этого человека, должно быть, милосердная душа, раз он передал тебе письмо немедленно. Кажется, я буду его видеть по два раза в день — утром и вечером. Этот вестник нашего горя станет мне так же дорог, как когда-то был дорог вестник нашего счастья.

Сократ выпил чашу с ядом, но он по крайней мере мог в тюрьме видаться с женою и с детьми. Как жестоко быть разлученным с тобой! Величайший преступник был бы наказан чересчур строго, если бы его разлучило с такой Люсилью иное, чем естественная смерть, доводящая до сознания горечь разлуки лишь на мгновенье. . .

Но преступник не мог бы быть твоим супругом; ты полюбила меня ведь за то, что я жил для счастья моих сограждан.

Вопреки моему смертному приговору, я верю, что есть бог. Моя кровь искупит мои ошибки и человеческие слабости, а за то, что было во мне хорошего, — за мое мужество, за мою любовь к свободе — за это господь мне воздаст! Когда-нибудь я снова увижусь с вами, о Люсиль, о Анетта! Хорошо, что при моей чувствительности смерть по крайней мере избавит меня от лицемерия стольких злодеев! Разве это уж такое большое несчастье? Прощай, моя Люлю, прощай, жизнь моя, мое земное божество. Я оставляю тебе славных друзей — все, что есть мужественного и чувствующего. Прощай, Люсиль! Моя Люсиль! Моя милая Люсиль! Прощайте — Горацій, Анетта, Адель, отец!

Я чувствую, как отлетает от меня жизнь. Я вижу еще Люсиль!¹ Мои скованные руки обнимают тебя, мои глаза, вдали от тебя, устремляют на тебя свой меркнущий взгляд!

БЕТХОВЕН — «БЕССМЕРТНОЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ»²

6 июля, утром

Ангел мой, жизнь моя, мое второе я — пишу сегодня только несколько слов и то карандашом (твоим) — должен с завтрашнего дня искать себе квартиру; как это неудобно именно теперь. — Зачем эта глубокая пе-

¹ А. И. Герцен в «Былом и думах» назвал Люсиль Демулен «Офелией Французской революции».

² До сих пор точно не установлено, кто был адресатом этого письма.

чаль перед неизбежным? Разве любовь может существовать без жертв, без самоотвержения; разве ты можешь сделать так, чтобы я всецело принадлежал тебе, ты мне, боже мой! В окружающей прекрасной природе ищи подкрепления и силы покориться неизбежному. Любовь требует всего и имеет на то право; я чувствую в этом отношении то же, что и ты; только ты слишком легко забываешь о том, что я должен жить для двоих — для тебя и для себя; если бы мы совсем соединились, мы бы не страдали, ни тот, ни другой. — Путешествие мое было ужасно: я прибыл сюда вчера только в четыре часа утра, так как было слишком мало лошадей, почта следовала по другой дороге, но что за ужасная дорога! На последней станции мне советовали не ехать ночью, рассказывали об опасностях, которым можно подвергнуться в таком-то лесу, но это меня только подзадорило; я был, однако, неправ: экипаж мог сломаться на ужасной проселочной дороге; если бы попались не такие ямщики, пришлось бы остаться среди дороги. — Эстергази отправился другой обыкновенной дорогой на восьми лошадях и подвергся тем же самым неприятностям, что я, имевший только четырех лошадей; впрочем, как всегда, преодолев препятствие, я почувствовал удовлетворение. Но бросим это, перейдем к другому. Мы, вероятно, скоро увидимся; и сего-



ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН

дня я не могу сообщить тебе заключений, сделанных мною относительно моей жизни; если бы сердца наши бились вместе, я бы, вероятно, их не делал. Душа переполнена всем, что хочется сказать тебе. Ах, бывают минуты, когда кажется, что язык наш бессилён. Развеселись, будь по-прежнему моим неизменным, единственным сокровищем, как и я твоим, об остальном, что с нами должно быть и будет, позаботятся боги.

Твой верный Людвиг.

ВИКТОР ГЮГО¹ — ЖЮЛЬЕТТЕ ДРУЭ

В ночь на 18 февраля 1841

Помнишь ли ты, дорогая моя возлюбленная, нашу первую ночь, ночь карнавала во вторник на масленице 1833 г.? Где-то, в каком-то театре давали бал, куда мы оба должны были пойти (я прерываю письмо, чтобы принять поцелуй твоих дивных уст, и продолжаю). Ничто, — даже сама смерть, не изгладит в моей памяти этого воспоминания. Все мгновенья этой ночи проносятся сейчас одно за другим в моем воображении, подобно звездам, проносящимся пред очами души моей. Да, тебе надо было отправиться на бал, но ты не поехала, — ты дождалась меня.

Бедный ангел, сколько в тебе красоты и любви. Помню, в твоей маленькой комнатке была дивная тишина. Снаружи доносилось веселье ликующего Парижа, мимо проносились шумные маски с громким смехом и пением. Среди шума всеобщего празднества мы скромно укры-

¹ Гюго Виктор (1802—1885) увлекся во время карнавала 1833 года актрисой Жюльеттой Друэ, которой посвятил потом множество стихов. Любовь к ней он сохранил в течение всей жизни.

лись в стороне и перенесли в тень свой светлый праздник. Париж был упоен поддельным хмелем, мы — настоящим.

Не забывай никогда, мой ангел, этих таинственных часов, изменивших всю твою жизнь. Эта ночь 18 февраля 1833 г. была символом и одновременно прообразом великого, светлого праздника, свершившегося в тебе. . . В эту ночь ты оставила далеко за стеною толпу с ее шумом, суетнею и мишурным блеском, чтобы приобщиться уединению, тайне и Любви.

В эту ночь я провел с тобой восемь часов. Каждый из этих часов теперь уже превратился в год. . .

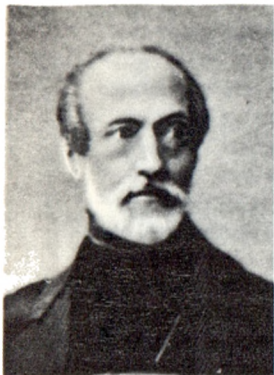
В течение этих восьми лет мое сердце было полно тобой, и ничто не изменит его, даже если бы каждый из этих годов обратился в столетие.

ДЖУЗЕППЕ МАДЗИНИ ¹—ДЖУДИТТЕ СИДОЛИ

Любимая,

. . . Сколько писем за немногие дни! Благословляю тебя тысячу раз, мой ангел утешения, и благословляю случай, сделавший так, что почти все письма пришли в одно время. Боже мой! Какую я в них чувствовал и еще чувствую потребность! Ибо ты — моя жизнь, все остальное только боль и печаль. Ты говоришь со мной так любовно! В твоём письме от 15-го столько нежных слов, что я дрожал от радости. . . Не сомневайся никогда во мне, в моей любви, в чем бы то ни было — сомнения в этом были бы грехом — грехом против меня, так как в последние дни я сам испытал всю силу любви,

¹ М а д з и н и Джузеппе (1805—1872) — выдающийся политический деятель; был связан узами дружбы и любви с итальянкой Джудиттой Сидоли.



ДЖУЗЕППЕ МАДЗИНИ

которая связывает меня с тобою. Почти умирающий, в состоянии полнейшей бессознательности увидел я тебя. Я ждал, что умру, и думал о тебе.

Я покрывал поцелуями локон твоих волос; ты знаешь, что я постоянно носил на сердце локон твоих волос. Но я потерял его! Если бы ты знала, при каких обстоятельствах! Вместе с твоим локоном было немного яду, который я хотел всегда иметь при себе. И то и другое я получил вновь только вчера. Я гляжу на твои волосы, как на талисман, который поможет мне одержать победу...

ДЖУЗЕППЕ ГАРИБАЛЬДИ¹ — АНИТЕ

Возлюбленная Анита!

Пишу тебе и хочу сообщить, что я чувствую себя хорошо и что вместе с Колонной пошел к Анагни, куда вступи-

ДЖУЗЕППЕ ГАРИБАЛЬДИ



¹ Г а р и б а л ь д и Джузеппе (1807—1882) познакомился с американкой Анитой во время своего пребывания в Южной Америке, куда он бежал, приговоренный к смертной казни за участие в заговоре Мадзини. Анита, оставив мужа, последовала за Гарибальди в Италию по его возвращении (1848); разделяла все опасности и тревоги его героической жизни; в 1849 году в разгаре войны во время скитаний в лесах Анита умерла в крестьянской хижине. Гарибальди, питавший к своей верной подруге глубокую привязанность, долго и искренне оплакивал ее кончину.

лю, быть может, завтра; сколько времени там останусь, сейчас не могу еще сказать. В Анагни я получу ружья и остальную одежду для войск. Я успокоюсь не раньше, чем получу от тебя письмо, которое даст мне уверенность, что ты счастливо добралась до Ниццы; пиши мне подробно, я должен получить от тебя вести, дорогая Анита; сообщи мне впечатление, произведенное на тебя событиями в Генуе и Тоскане. Ты — сильная, героическая женщина. С каким презрением должна ты глядеть на женоподобное племя итальянцев, моих соотечественников, которым я так часто хотел внушить душевное благородство и которые этого так мало заслуживают. Правда, измена ослабила всякий мужественный порыв; как бы то ни было, но мы обесчещены; итальянское имя стало предметом поругания и насмешки для всего света. Я возмущен тем, что принадлежу к семье, насчитывающей в своей среде так много трусов; но не думай вследствие этого, что я лишен бодрости, что я отчаиваюсь в будущем моего Отечества; наоборот, у меня более надежды, чем когда-либо. Безнаказанно можно обесчестить отдельное лицо, но нельзя обесчестить народ — изменники известны. Сердце Италии бьется, и хотя оно не вполне здорово, все же оно в состоянии оттолкнуть зараженные части, делающие его больным.

Изменами и мошенничествами реак-



АНИТА ГАРИБАЛЬДИ

ции удалось запугать народ, но... народ никогда не забудет измен и мошенничеств реакции. Если он оправился от своего страха, он поднимется с ужасною яростью и на этот раз уничтожит орудия своего позора.

Пиши мне, повторяю эту просьбу; я должен иметь вести о тебе, о матери и о детях. Обо мне тебе нечего беспокоиться; я чувствую себя лучше, чем когда-либо, и с моими двенадцатью сотнями вооруженных людей считаю себя непобедимым.

Рим представляет сейчас внушительное зрелище; все храбрецы объединяются близ Рима, и бог окажет нам помощь. Передай мой привет Аугусто, семьям Галли, Густавино, Курта и всем друзьям. Люблю тебя бесконечно и прошу не беспокоиться. Поцелуй от меня детей и мать, которую поручаю твоим заботам.

Будь здорова.

Твой Джузеппе.

Субиако, 19 апреля 1849.

МАРКС — ЖЕННИ МАРКС В ТРИР

*Манчестер, 21 июня 1856 г.
34, Butlerstreet, Greenheys*

Моя любимая!

Снова пишу тебе, потому что нахожусь в одиночестве и потому, что мне тяжело мысленно постоянно беседовать с тобой, в то время как ты ничего не знаешь об этом, не слышишь и не можешь мне ответить. Как ни плох твой портрет, он прекрасно служит мне, и теперь я понимаю, почему даже «мрачные мадонны», самые уродливые изображения богоматери, могли находить себе ревностных почитателей, и даже более многочисленных почитателей, чем хорошие изображения. Во всяком случае, ни

одно из этих мрачных изображений мадонн так много не целовали, ни на одно не смотрели с таким благоговейным умилением, ни одному так не поклонялись, как этой твоей фотографии, которая хотя и не мрачная, но хмурая и вовсе не отображает твоего милого, очаровательного, dolce ¹, словно созданного для поцелуев лица. Но я совершенствую то, что плохо запечатлели солнечные лучи, и нахожу, что глаза мои, как ни испорчены они светом ночной лампы и табачным дымом, все же способны рисовать образы не только во сне, но и наяву. Ты вся передо мной как живая, я ношу тебя на руках, покрываю тебя поцелуями с головы до ног, падаю перед тобой на колени и вздыхаю: «Я вас люблю, madame!» ² И действительно, я люблю тебя сильнее, чем любил когда-то венецианский мавр ³.



КАРЛ МАРКС

ЖЕННИ МАРКС



... Временная разлука полезна, ибо постоянное общение порождает видимость однообразия, при котором стираются различия между вещами. Даже башни кажутся вблизи не такими уж высокими, между тем как мелочи повседневной жизни, когда с ними близко сталкиваешься, непомерно вырастают. Так и со страстями. Обыденные привычки, которые в результате близости

¹ Сладостного.

² Г. Гейне. Стихотворение из цикла «Опять на родине».

³ В. Шекспир. «Отелло».

целиком захватывают человека и принимают форму страсти, перестают существовать, лишь только исчезает из поля зрения их непосредственный объект. Глубокие страсти, которые в результате близости своего объекта принимают форму обыденных привычек, вырастают и вновь обретают присущую им силу под волшебным воздействием разлуки. Так и моя любовь. Стоит только пространству разделить нас, и я тут же убеждаюсь, что время послужило моей любви лишь для того, для чего солнце и дождь служат растению — для роста. Моя любовь к тебе, стоит тебе оказаться вдали от меня, предстанет такой, какова она на самом деле — в виде великана; в ней сосредоточиваются вся моя духовная энергия и вся сила моих чувств. Я вновь ощущаю себя человеком в полном смысле слова. . .

Твой Карл.

ЧАСТЬ II

Огонь
под пеплом



А. С. ПУШКИН
Н. Н. ПУШКИНА



П. А. ВЯЗЕМСКИЙ



В. Ф. ВЯЗЕМСКАЯ

Н. М. МУРАВЬЕВ
А. Г. МУРАВЬЕВА





А. К. ТОЛСТОЙ
С. А. ТОЛСТАЯ

Е. ГРАНОВСКАЯ
Т. Н. ГРАНОВСКИЙ



М. Л. МИХАЙЛОВ



Е. Ю. КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА

Два голоса

КНЯЗЬ П. А. ВЯЗЕМСКИЙ ¹ — ЖЕНЕ

24 августа 1812 г. Москва

Я сейчас еду, моя милая. Ты, бог и честь будут спутниками моими. Обязанности военного человека не заглушат во мне обязанностей мужа твоего и отца ребенка нашего. Я никогда не отстану, но и не буду кидаться. Ты небом избрана для счастья моего, и захочу ли я сделать тебя навеки несчастливою? Я буду уметь соглашать долг сына отечества с долгом моим и в рассуждении тебя. Мы увидимся, я в этом уверен. Молись обо мне богу. Он твои молитвы услышит, я во всем на него полагаюсь. Прости, дражайшая моя Вера. Прости, милый мой друг. Все вокруг меня напоминает тебя. Я пишу к тебе из спальни, в которой столько раз прижимал я тебя в свои объятия, а теперь покидаю ее один. Нет! мы после уже никогда не расстанемся. Мы созданы друг для друга, мы должны жить вместе, вместе умереть. Прости, мой друг. Мне так же тяжело расставаться с тобою теперь, как будто бы ты была со мною.

¹ Вяземский Петр Андреевич (1792—1878) — поэт и критик пушкинского периода литературы; участвовал в сражении при Бородине в армии Милорадовича. Эти письма написаны им жене, урожденной княгине Гагариной, на которой он женился незадолго перед этим.

Здесь, в доме, кажется, я все еще с тобою: ты здесь жила; но нет, ты и там, и везде со мною неразлучна. Ты в душе моей, ты в жизни моей. Я без тебя не мог бы жить. Прости! Да будет с нами бог!

30 августа 1812 г. Москва

Я в Москве, милая моя Вера. Был в страшном деле и, слава богу, жив и не ранен, но, однако же, не совершенно здоров, а потому и приехал немного поотдохнуть. Благодарю тебя тысячу раз за письма, которые одни служат мне утешением в горести моей и занятием осиротелого сердца. Кроме тебя, ничто меня не занимает, и самые воинские рассеяния не дотрагиваются до души моей. Она мертва: ты, присутствие твое — вот ее жизнь; все другое чуждо ей. Князь Федор весьма легко ранен в руку и едет также в Москву с князем Багратионом, который получил довольно важную рану в ногу. Он велел тебя нежно обнять. Дело было у нас славное, и французы крепко побиты. . . Ты меня сохранила. Прости, ангел мой хранитель.

А. С. ПУШКИН — НЕВЕСТЕ Н. Н. ГОНЧАРОВОЙ

*Из Москвы в Полотняный Завод.
Начало июня 1830 г.*

Итак, я в Москве, — такой печальной и скучной, когда вас там нет. У меня не хватило духу проехать по Никитской, еще менее — пойти узнать новости у Аграфены (?). Вы не можете себе представить, какую тоску вызывает во мне ваше отсутствие. Я раскаиваюсь в том, что покинул Завод, — все мои страхи возобновляются, еще

более сильные и мрачные. Мне хотелось бы надеяться, что это письмо уже не застанет вас в Заводе. — Я отсчитываю минуты, которые отделяют меня от вас.

ТАЙНА СΙΑ...

«Тайна сия велика есть...» — повторяем мы порой старинную, возвышенную формулу о любви, повторяем часто бездумно, а нередко и иронично...

А это действительно тайна. И она в самом деле велика. Эта тайна явственно живет в письмах к невестам, она пульсирует в них, как живая...

Читая письма выдающихся людей к невестам, испытываешь особое волнение потому, что нам известно то, что было им неизвестно, когда они писали.

Нам известно, что будет потом и с ним и с нею.

Нам открыто то, о чем не помышляли люди, писавшие эти письма в высокие минуты, когда силы души сосредоточены на одном чувстве и перо не отстаёт от учащенного сердцебиения.

Тимофей Николаевич Грановский в одном из писем к любимой рассказывает: душа его настолько ею полна, что он, уже закончив письмо, не засыпал его песком, а... облил чернилами — перепутал от волнения песочницу с чернильницей. Он писал это любимой женщине через десять лет после того, как она стала его женой. Но невесту он видел в ней до последних дней.

Если письма твоего жениха, — писал он ей в одном из самых последних писем после пятнадцати лет совместной жизни, — наводят на тебя уныние, то муж твой их разорвет...

Он их разорвет, — писал ей уже немолодой Грановский, — и напишет другие, более любовные.

Что же писал он ей, когда она была действительно его невестой?

Я пишу Вам в час ночи, я покинул Вас полчаса назад при выходе с бала маскарада, где я рассчитывал найти столько наслаждения, где я столько страдал! Моя душа полна. Я испытываю потребность в интимной беседе, — писал он ей в воскресенье 6 марта 1841 года.

Это письмо, как и последующие, написано Грановским по-французски — в юности Грановский стеснялся о самом интимном писать на родном языке, он будто бы укрывал, упрятывал это в ткань языка чужого. . .

Я хочу отчитаться перед Вами во всех моих поступках, во всех моих мыслях, хороших или дурных, грустных или веселых, достойных Вашего уважения или Вашей жалости. Разве Вы для меня не то же, чем были моя мать, Станкевич — в конце концов, разве Вы не та, кто заменит мне всех, кого я любил, все то, что я еще любил в этом мире? Я их всех нахожу в Вас. Вы чистая, добрая и честная, как они. Но Вы не знаете того, что Вы есть, и я люблю не Вас, а нечто большее. Почему идея адресовать мои исповеди Вам явилась только сегодня?

Мне грустно, Вы нужны мне. Вы часто приходили ко мне на помощь, когда Ваша помощь была мне нужна, когда жизнь обременяла меня скорбью и докучала соблазнами. Ваш образ всегда вставал между мной и дурными мыслями.

Они познакомились на балу. Грановский, вернувшись из Германии, тосковал в Москве и вечерами «выезжал», как он сообщал об этом сестрам. Ему было тогда двадцать восемь лет, он читал курс западной истории в Московском университете, страдал от одиночества, не мог забыть утрату двух самых любимых людей — матери и Станкевича. . .

Грановского в Германию послал Московский университет для изучения истории и философии. Там и познакомился Грановский со Станкевичем. И тот открыл ему новый мир — мир философии Гегеля.

Сегодня мы открываем тома Гегеля с тихим почтением и, углубляясь в них, живем больше умом, чем сердцем. Для поколения Станкевича и Грановского философия Гегеля была грандиозным духовным событием, откровением. Она спасала этих юношей от отчаяния.

Разбуженное — по замечательному выражению Герцена — пушками на Сенатской площади от младенческого сна поколение Станкевича и Грановского (в истории русской общественной мысли людей этих называют «идеалистами 30—40-х годов») увидело вокруг себя мертвую николаевскую Русь, оцепенелое общество. После подавления декабристского восстания жизнь, казалось, остановилась навсегда.

В этих условиях философия Гегеля была для мыслящего юношества чем-то бóльшим, чем любовь к мудрости, она была для них любовью к человечности. Она открывала им жизнь мирового духа как восхождение к истине, как царство разума и вызывала желание углублять в себе самих — частицах этого духа — ум и сердце, чтобы стать совершенными личностями. . .

В этих мальчиках, говорил потом Герцен, жила мыслящая Россия, ее будущее.

По возвращении из Германии Грановский застал то же оцепенелое общество, ту же нравственную пустоту, он был неприкаянно одинок — Станкевича уже не было в живых, а с Герценом и Огаревым он еще не познакомился — и после утомительного университетского дня тянуло его забыться, он «выезжал» все чаще. . .

На одном из балов Грановский познакомился с богатой невестой и, может быть, женился бы на ней, если бы она была менее богата. (Нет! Конечно же, не к ней обра-

щено то первое письмо, строки из которого помещены выше.) Девушка нравилась Грановскому, но этот странный человек рассудил: для того чтобы жениться на богатой, надо любить ее гораздо больше.

Он и полюбил по-настоящему через несколько месяцев.

Когда старшая сестра, узнав о его желании жениться, написала ему о том, что и он и невеста его бедны, Грановский ответил: «Я не создан для богатства».

Став официально женихом Лизы Мюльгаузен, Грановский оставляет ее на несколько недель для того, чтобы уладить в Орле окончательно расстроенные его беспечным отцом имущественные дела семьи.

Перед отъездом, в первых числах июня 1841 года, он пишет невесте:

Я не могу покинуть Москву, не сказав тебе еще раз — до свидания. Это отвратительное слово — прощай. Я тебе так много раз говорил, что я тебя люблю, что мне совестно повторять это еще раз, и тем не менее я с удовольствием это делаю. Зачем? Неужто ты этого не знаешь, неужели уши твои не устали еще от монотонных повторений одной и той же фразы?

Добрая моя, умная моя, хорошая моя, дурочка моя — думай же обо мне. И еще — пиши мне. Я тебе говорил, что каждое твое письмо будет добрым поступком, истинным благодеянием. Только не грусти. Не стоит грустить оттого, что негодяй, который терзает тебя любовью и скукой, уезжает на несколько недель. Но он очень любит тебя, этот негодяй. Прощай.

Я напишу тебе на другой же день, как приеду домой. Только несколько слов, тебе одной. . .

И вот первое письмо из бедного родового именища Грановских (с характерным названием — Погорелец) близ Орла.

Во время поездки компаньоном моим был ливень,

он сопровождал меня в течение 24 часов. Я промок, или, точнее, утонул. Моя телега была полна воды. В конце концов я к этому привык и превратился в морское животное. Из всех моих человеческих свойств я не утратил только одного — способности любить тебя. Тебя, тебя и всегда тебя. Не показывай мое письмо никому.

Одно мгновение с тобой вернет мне спокойствие. Будь же счастлива, будь здорова и думай о твоём Градовском.

Ты получишь еще одно письмо через четыре дня.

Но нет, не через четыре, а через два он пишет снова.

Прошла уже почти неделя с тех пор, как я с тобой простился. Она была длинной и печальной, эта неделя, и когда я думаю о том, что мне предстоят еще четыре или пять!

Я так хочу подарить тебе жизнь более легкую и приятную, чем она бывает обычно! Это желание — сделать тебя счастливой — не раз уже делало несчастным меня. Я не знаю, как это сделать. Я это пойму однажды, когда ты будешь со мной предельно откровенна, когда ты скажешь, чего тебе недостает.

Мои сестры хотят тебе написать. Они тебя очень любят, в этом можешь быть уверена. Это не фраза. Я только и делаю, что рассказываю им о тебе.

Каким великим праздником будет для меня твое первое письмо.

Я не знаю, как тебя назвать. Я ни одной минуты не сомневаюсь в твоей любви с тех пор, как покинул тебя. Ты слишком добра, чтобы так жестоко меня наказать. И потом — кто другой любит тебя так, как я? В конце концов я достаточно верю в твердость и покорность судьбе, чтобы без ропота встретить все огорчения, какими ты пожелаешь меня вознаградить. От тебя я все приму. Разве не благодаря тебе я был счастлив, как только может быть счастлив мужчина? Разве я не получил уже

сполна ту долю счастья, которая отпущена мне на этом свете? И тем не менее я надеюсь, я желаю в будущем получить еще. Но это уж как ты пожелаешь: дари мне счастье или несчастье — что доставит тебе большее удовольствие, от этого я не буду любить тебя меньше. Я поручил тебе свое будущее, со всей верой, со всем доверием, но никогда не предъявлю тебе претензии. Ты никогда не услышишь от меня ни слова упрека ¹.

«Я поручил тебе свое будущее. . .»

Он думал о будущем, когда писал ей, но, пожалуй, еще большую власть, чем эти мысли, имели над ним воспоминания. . .

Душа этого человека никогда ничего и никого не забывала, то духовное качество, которое поэт Баратынский назвал «памятью сердца», было развито в Грановском необычайно сильно.

В родовом имении его обступили тени детства.

Умерший дед. . .

Семилетним мальчиком Грановский сопровождал его на Кавказ и именно там, на Кавказе, начал мечтать о битвах, о войнах, а через несколько месяцев, когда они вернулись в Орел и маленький Грановский познакомился со старым французом Жонье — участником Великой французской революции, — эти детские расплывчатые мечты вдруг обрели внутреннюю логику и глубину.

Студенты Московского университета никогда бы не подумали, что этот горбившийся, рано постаревший молодой человек, застенчивый настолько, что на первой лекции он не мог найти кафедру, рядом с которой стоял, — что этот, казалось бы, такой мирный человек не забыл до сих пор в себе мальчика, мечтающего о героических битвах за освобождение человечества.

¹ Письма Т. Н. Грановского невесте публикуются на русском языке впервые в переводе Т. Моревой.

Тяжелые студенческие годы.— он часто голодал, не получая вовремя из дома денег,— рано состарили его телесно, он нередко болел, его то и дело лихорадило, он страдал бессонницей. . .

Но в то лето — 1841 года — он не спал из-за любви.

Эту ночь я почти не сомкнул глаз и много думал о тебе. Так медленно ползет время вдали от тебя! Если б я мог увидеть тебя хотя бы во сне. Но я почти никогда не вижу снов. Что ты делаешь сейчас?

Твой платок всегда со мной, но тебя я любил бы еще сильнее, чем твой платок. Я напишу письмо твоему отцу. — До свидания. Я целую подол твоего платья, подошвы твоих башмаков.

И через день:

Я отправил тебе письмо вчера вечером, сегодня начинаю новое. Как же ты хочешь, чтобы я тебе не писал? Я столько всегда говорил тебе, а между тем многое остается невысказанным. Я сам недоволен моими письмами, как и моими беседами с тобой. Лучшее всегда остается на дне моей души. . .

Мои книги еще не прибыли, но даже когда их привезут, я не смогу заняться ими. Моя диссертация стоит на месте. Я смогу нормально работать, когда все это кончится, когда я увижу тебя в большом кресле в моем кабинете. Тогда посмотришь, буду ли я лениться. Я буду работать за десятилетия, если это необходимо, чтобы стать достойным тебя, мой ангел, чтобы подарить тебе счастье и благополучие.

Он пишет, что стал из-за любви рассеян, ленив, нетерпелив и повторяет опять:

Я стану лучше, когда ты будешь сидеть там, в моем кресле,— я об этом уже говорил. Но когда же он наступит, этот месяц сентябрь! Я так давно уже не мечтал о счастье, что боюсь теперь, как бы не ускользнуло самым неожиданным образом все, ниспосланное мне небом.

Ты окончательно станешь моей только тогда, когда будешь носить мою фамилию. Тогда я буду счастлив — ведь ты мое счастье, моя жизнь, и если есть еще что-то большее — это тоже ты. Я страдаю, когда думаю о том, что другие мужчины другим женщинам говорят — и говорят в тысячу раз лучше — все то, что говорю тебе я. Истинная любовь всегда у всех выражается одинаково; другие тоже любили истинно, но я не только люблю тебя, я бесконечно тебе признателен, мой милый ангел, за все. Я твой должник, но я никогда не смогу расплатиться с тобой; это вечный долг, который я буду платить ежедневно и от которого никогда не освобожусь, даже если ты меня разлюбишь. Ты дала мне больше, чем я просил у неба; ты можешь отнять это у меня, если захочешь, но я всегда буду тебя любить. Эта признательность — верный залог долгой любви; мое влечение к тебе — это не пылкая, не мимолетная страсть. Это уважение, любовь, преданность, признательность, поклонение (прости мне эти слова, от злоупотребления ставшие банальными) и все, что мне еще известно. До свидания же, моя Лиза. Вот уже девятый день я без тебя; это всего лишь пятая часть нашей разлуки.

И вот он получает первое письмо от нее:

Я не ожидал получить его так скоро. Спасибо, тысячу раз спасибо. Я отблагодарю тебя за фразу: «потому что зелены деревья в Вашем саду», но как благодарить тебя за все те слова, что ты нашла для меня! Я сейчас в таком состоянии, что, несомненно, показался бы тебе сумасшедшим, но это от полноты счастья. В такие минуты мне хочется ради тебя умереть, потому что жить ради тебя — слишком легко. Мне поистине совестно беспрестанно говорить тебе о моей любви. Мужчины, когда они действительно любят, говорят мало, я это прекрасно знаю, но что ты хочешь — я не могу иначе. Будь же снисходительна к твоему ребенку. Ты пишешь, что

тебе плохо без меня. Я эгоист, я рад твоей печали: в ней залог моего будущего счастья, и это счастье так велико, что можно пережить несколько печальных дней. Но шесть недель — это так долго! . .

Порой в его сетованиях на разлуку ощущается нечто большее, чем обычная для влюбленных жалоба на медленно тянущиеся дни. Какая-то затаенная, но достаточно внятная тревога. . . Суеверная боязнь дали, которая легла между ним и ею.

И это тоже идет от воспоминаний, обступивших его в Орле, — от воспоминаний о первой любви.

Первая любовь оставила на всю жизнь в сердце Грановского рану — не утихавшее с годами чувство вины и, пожалуй, чувство растерянности перед странностями человеческого сердца. .

Будучи студентом, он, посетив однажды Орел, — познакомился с семейством, в котором были две дочери. С меньшей он подружился; старшую, как ему показалось, полюбил. Его все чаще тянуло в родной город, к ней. У девушки был еще один поклонник. Грановский потребовал, чтобы она выбрала одного из них. Сопернику было отказано от дома. Дело чуть не дошло до дуэли! Грановскому хотелось поединка, ярких романтических доказательств любви. . .

Потом надо было выбирать и ему: между женитьбой и поездкой в Германию. . . в состоянии тяжелой нерешительности — . . ему хотелось уехать из России, увидеть мир, подышать воздухом Европы, и в то же время он боялся этим отъездом насмерть обидеть девушку, которая ждала его и верила ему, — он попросил ее решить за них обоих: ехать ему или оставаться.

Она решила: ехать, она решила, как и должно было решить любящее сердце. Они договорились расстаться и даже не переписываться. . . (во избежание излишних толков в маленьком городе). Они избрали посредника, ко-

торый должен передавать ему вести о ней, ей — вести о нем, некую М. А., которая и до этого вела с Грановским оживленную переписку. . .

«Это целый роман», — напишет Грановский жене через много-много лет. . .

И это действительно похоже на роман.

В Германии, в бессонных спорах о Гегеле, в увлечении философией и музыкой, во все более тесной дружбе со Станкевичем, меркла, забывалась любовь. Вспоминая об Орле, о девушке, которая ждет его там, Грановский страдал, потом забывал опять и забывал все чаще. . .

Почти то же самое переживал и Станкевич — в России и его ждала невеста, сестра Бакунина. Но, в отличие от Грановского, он разобрался в собственных чувствах, ясно понял, что не любит ее, не находя в себе, однако, сил для окончательного разрыва.

«Идеалисты 30-х годов», мечтая о любви, боялись ее. (Это показал Тургенев в романе «Рудин».) Они были порой чересчур «романтичны» для любви, как для живого, «земного» чувства, — они любили одинаково высоко и мудрость, и женщину, и поэтому оказывались часто смешными, неловкими и даже ненамеренно жестокими, когда выяснялось, что женщину надо любить иначе, чем мудрость.

К Грановскому это относится гораздо в меньшей степени, чем к остальным «идеалистам», хотя бы потому, что чувство вины перед людьми, с которыми сталкивала его жизнь, было развито в нем не меньше, чем «память сердца». И это чувство сообщало особую нежность его отношению к людям, в особенности к женщинам. . . И, видимо, если и не любви, то этой нежности хватило бы ему на то, чтобы не быть несчастливym с великодушной девушкой из Орла по возвращении его из Германии.

В истории их отношений роковую роль (действитель-

но роковую!) сыграла та самая М. А., которую молодые люди избрали посредницей во время разлуки.

«Умная, страстная и недоброжелательная девица», как называют ее современники, она по каким-то личным побуждениям решила ложью посеять вражду между ними и передавала недоброе, выдуманное ею самую, обеим сторонам. Она, растравляя ревность юноши и самолюбие девушки, обманывала их обоих и все больше и больше запутывала эти отношения. Конечно же, если бы Грановский любил по-настоящему, как полюбил он потом Лизу, никакая ложь не могла бы его отвести от любимого существа. Он с его чувством истины никогда не поверил бы лжи. Но он не любил. И поэтому поверил.

Он вернулся в Россию, даже не известив ее об этом, и она не догадывалась, что теперь он почти рядом — в Москве, а потом и совсем рядом — под Орлом, в именье Грановских. . . Ему казалось, что она навсегда ушла из его жизни, из его сердца.

Но из этой жизни, из этого сердца ничего не уходило. Все оставалось навсегда. . .

Дальше было совсем как в тургеневском романе.

Возвращаясь в Москву, он вынужден был заночевать в Орле. И вот, стоя на пороге дома, увидел в мимо едущей коляске двух женщин. Было темно, он не различал лиц, но сердце забилося у него, и он решил, что это она. А через несколько минут, когда он был уже в комнате, он услышал опять стук колес, подошел к окну, та же коляска ехала в обратном направлении, и в ней сидела она, узнавшая его, как выяснилось потом. . .

Это показалось ему фантастическим. Он написал ей, она ответила, ложь была устранена, истина восстановлена, но любви — его любви — восстановить не удалось. «Она бесконечно выше меня», — написал он тогда Станкевичу. С тех пор она стала дорога ему, как сестра, и он относился к ней нежно, как к сестре, «третьей» сестре,

а потом, когда родные сестры умерли, — как к единственной сестре. И Лиза с ней познакомилась потом. И роковую посредницу потом он повстречал неожиданно в Малороссии — она постриглась в монахини, и он в ее маленькой келье, с сердцем, разрывающимся от боли, вспоминал всю эту историю, стараясь побороть в себе недоброе чувство к уже немолодой, в черном монашеском одеянии женщине, которая сыграла в его жизни такую странную роль.

Но это будет потом, потом. . .

Чувство какого-то суеверного страха перед разлукой, даже разлукой с истинно-любящим человеком осталось в нем на всю жизнь. Оно ощутимо и в том письме, которое мы оборвали почти на полуслове, чтобы рассказать о его самой первой несчастливой любви.

В июне 1841 года он писал невесте из Погорельца:

Я должен признаться тебе в одной дурной мысли, преступной по отношению к твоей доброте. Я читал и перечитывал твое письмо и, изучив его, нашел, что конец, написанный 5-го числа этого месяца, не так хорош, как начало, написанное 1-го. 4-го ты вообще не писала. Это опечалило меня, я решил, что за пять дней произошли какие-то перемены, я думал, что ты привыкла к моему отсутствию. Видишь, каким я был дураком. Я поуянул, моя мамочка, но я не хотел скрыть от тебя мою глупость. Ты благороднейшее, ты святое создание, ты ни в чем не сомневаешься, ни в чем меня не подозреваешь, а!

И дальше:

Мне достаточно посмотреть несколько минут на твое лицо — такое мягкое и такое спокойное, — чтобы успокоиться самому. Но в природе моей — постоянное возбуждение и беспокойство. Спокойным я бываю чаще всего от усталости. . . А больше мне не от чего быть спокойным, как я тебе уже говорил. В моей голове постоянно копошатся какие-нибудь мысли, они не дают мне рас-

слабиться. Прежде было еще хуже. Но ты подаришь мне покой, мой добрый ангел. Мне грустно сегодня. Через месяц все это кончится. Я всегда дорого плачу за счастье видеть моих сестер. Столько всяких неприятностей, что кончится это, по всей вероятности, потерей терпения и какими-нибудь нелепостями с моей стороны. Впрочем, зачем говорить тебе об этом! Я разговариваю сам с собой. Ты никому не показываешь мои письма? Если твоя мама захочет их увидеть — это другое дело. Ей можешь показать.

Что ты читаешь? Я оставил тебе два тома Гете. В одном из них ты найдешь «Геу фон Берлихинген» и «Эгмонта». Я хотел бы прочесть их с тобой вместе, но если тебе сейчас нечего читать, прочти одна.

Расскажи мне о том, что ты читаешь. Я сейчас не читаю почти ничего, только твое письмо — постоянно перечитываю. Мои книги подождут.

Впрочем, я недавно прочел роман В. Скотта: «Эдинбургская темница». Я когда-то давно уже читал его, и тем не менее этот роман доставил мне несколько минут истинного наслаждения. Вот, что действительно просто и хорошо. Ты знаешь эту книгу? Я дам ее тебе, когда приеду в Москву — если ты еще не читала.

Он писал ей обширные письма, «журналы» — одно письмо охватывало настроение, чувства, мысли нескольких дней.

Письма Грановского к невесте больше чем письма о любви: в них запечатлена духовная жизнь целого поколения — поколения мыслящих русских юношей, мечтавших о совершенном человеке. Как все мечтатели, они страдали рефлексией, порой чересчур подробным самоанализом. Лучшие из них постепенно освобождались от этого, добивались равновесия между мыслью и действием. Они и сами понимали, что «ужасно много размышляют». Но они вошли в жизнь в ту хо-

лодную, мрачную полосу развития общества, когда размышление было доступней действия и создавало характеры и отношения, постепенно обновляющие жизнь.

Это моя старая привычка — мания постоянно себя анализировать. Я мог бы сказать, без всякого преувеличения, что в мире мало мужчин, которые изучили свой характер так же глубоко, как я. Но кому теперь все это нужно? Никому. Это была бесполезная работа, которую я проделывал с одной лишь целью — удовлетворить свой курьезный недуг. Станкевич страдал тем же. Он беспрестанно себя анализировал, только более плодотворно, чем я. Вот уже несколько лет я не совершал безумств, которые не были предусмотрены заранее; я мог предусмотреть и сожаления, которые испытаю впоследствии, и тем не менее я эти глупости совершал — ради минутного удовольствия. Во мне как будто бы два человека: один впадает в безумие, а другой наблюдает за его поведением и снисходительно резонирует, без всякого участия, но с немалым удовольствием. Я не знаю, поймешь ли ты в моем описании это моральное состояние: ты слишком простодушна, слишком наивна и чиста, чтобы страдать такими болезнями, чтобы изучить их на себе. У меня все это прошло, когда я полюбил тебя, когда мои влечения пришли в согласие с моим разумом и последний перестал издеваться над первыми. Но опыт, нажитый в прошлом, пригодится мне теперь, когда ты станешь моей, ангел, призванный провести меня по жизни.

Теперь он думал больше о ней, чем о себе. О себе он помышлял лишь как об источнике ее радости, и эта сосредоточенность на любимом существе, этот перенос «центра тяжести» с себя на нее сыграл исключительную роль в его духовном мире. Мир этот не только не утратил ничего, но стал богаче, строже, целеустремленнее. . . Грановский в любви избавился от излишней рефлекс-

сии, от порой бесплодного самоанализа, потому что когда любишь не себя, а свое второе «я», то мало уже его «анализировать», надо делать его счастливым. . .

Да, теперь он ужасно много размышлял, но не о себе, а о любви к ней, о ее сердце, о ее жизни.

Вопросы следуют один за другим, — пишет он ей, — и ты тот стержень, вокруг которого постоянно вращаются мои мысли. Как те люди, которые посвятили свою жизнь поискам философского камня, я хотел бы мою жизнь посвятить поискам лучшей формы любви к тебе, иначе говоря, лучшего способа выражения моих чувств, которых более чем достаточно, чтобы удовлетворить любые запросы.

Ему страшно подумать, что их чувства могут затихнуть, умереть и останется лишь обыденность, общность материальных интересов. Он пишет, что ему легче было бы потерять ее, чем достигнуть в браке этого «апогея мещанства». А между тем девяносто девять браков из ста кончаются, по его наблюдениям, печально. . .

Как сохранить первоначальную силу чувств? Молодой философ, известный историк и переполненный любовью жених «осажден вопросами» и не может найти ответа. И наконец он успокаивается на такой мысли: любовь не может удержаться в сердце пустом, но «когда у мужчины есть высокое призвание и когда и он и его жена выбирают жизнь нравственную и думают о совершенствовании морали, любовь может оказаться дольше жизни».

Его юная подруга не поняла этих горьких раздумий. Ее сердце не имело печального опыта встреч, расставаний и охлаждений. Она обиделась и написала ему об этом.

Грановский ей ответил:

Ты говоришь, что тебя огорчают мои опасения по поводу нашего будущего. Почему же, моя хорошая? Я сомневаюсь в тебе? Но когда я однажды подумал о браках,

которые сулили так много счастья и так мало счастья принесли, я действительно несколько встревожился и задумался о причинах. Я не думал об этом несчастье как о чем-то неизбежном, богом предписанном, на что придется согласиться, не пытаюсь понять, почему; напротив, я достаточно наблюдал эти несчастья и считаю, что человек сам навлекает их на себя и, следовательно, причины легко может найти в тайниках своего сердца. Я думал об этих охлаждениях, без всякой видимой причины, которые наступают почти всегда после нескольких лет супружества, об этой проклятой привычке вместе пить чай и вместе обедать, что заменяет исчезнувшую любовь. Но ты же видишь, для нас я отрицаю возможность такой перемены. О любви говорят много, есть люди, которые искренно верят, что любят, и заставляют верить других, но очень немногие умеют любить истинно. А я действительно люблю тебя и говорю это без тени тщеславия, не ради желанья подчеркнуть какое-то превосходство, в этом твоя заслуга, потому что ты сумела внушить мне такую любовь.

Я все стараюсь оправдаться перед тобой, ведь это будет очень печально, если кто-то из нас усомнится в нашем будущем счастье. Для меня подобные сомнения — безумие и неблагодарность. Ты же просто не поняла меня, моя добрая мама. Твой сын верит в счастье, пока ты с ним.

А за два дня до этого, еще не получив ее обиженного письма, он писал ей возвышенно и твердо:

Но кто будет любить тебя так, как я? Моя любовь к тебе — это самая лучшая, самая святая, самая чистая часть меня, притом, что я очень люблю моих сестер — и Россию тоже.

В этих нескольких строках разгадка мучивших Грановского сомнений. Он понимал: чтобы сохранить любовь, надо сохранить себя как мыслящее существо, со-

хранить и углубить в себе сопричастность всему великому, что совершалось и совершается в мире.

Чтобы сохранить любовь, надо уметь любить не одного человека, а Россию, народ, человечество.

Эта мысль, начавшаяся с, казалось бы, детского открытия: любовь не может удержаться в сердце пустом — становится отныне для него постоянным состоянием его ума, его души: «личные вопросы» лишь в сочетании с вопросами мировыми могут сохранить в человеке человеческое, в семье — любовь. Это открытие не осталось чем-то отвлеченно умозрительным. Его, пожалуй, можно сопоставить с тем открытием «нового мира», который Грановский нашел в философии Гегеля, сумев потом найти этот новый мир, то есть разумное начало, работу духа не только в мироздании, но и в самом себе. Теперь, став старше, опытнее, Грановский размышляет более «обыденно» и трезво и в то же время не менее глобально: мое личное, самое интимное и «земное» должно быть сопричастно возвышенной деятельности на благо человечества.

Он верит, верит, что ему и его невесте удастся сохранить всю свежесть и силу чувств, несмотря ни на что. . .

Я уже писал выше: письма, обращенные к невестам, волнуют особенно и потому, что нам хорошо известно, что будет с ними потом. Когда мы читаем письмо Пушкина к Гончаровой, нам известно, что менее чем через семь лет он будет убит на дуэли, а она еще через семь лет станет женой генерала Ланского. . .

Когда мы читаем письма Огарева к невесте, нам известно, что через несколько лет в ее жизнь войдет новая большая любовь, и Огарев отнесется к этому с великодушием, которое отличало «идеалистов 30—40-х годов». . .

Когда мы читаем письма Грановского к невесте, нам известно, что ничего плохого с их любовью не будет. Наоборот, она станет лишь нежнее и ярче. Четырнадцать

лет они будут радовать и утешать друг друга, пока он не умрет, целуя ее руку. . . Он умрет, целуя ее руку и любя ее ничуть не меньше, чем в те июньские дни 1841 года. . .

В одной из самых последних записок к ней (он настолько тосковал при любом, даже недолгом, «минутном» расставании, что посылал ей то и дело записки) он объяснил, почему тоскует: «Я люблю жизнь только потому, что встретил тебя. А ведь это был случай. Без тебя я не хотел бы жизни». Да, нам известно, что их любовь не умрет, и все же чувство тревоги велико, потому что нам хорошо известно, чем была николаевская Россия. . .

Грановский был, пожалуй, единственным из выдающихся людей той эпохи, который не был объявлен сумасшедшим, как Чаадаев, не был убит у барьера или в постели — пулей или насилием над мыслью и душой, — как Лермонтов или Белинский, не уехал за границу, чтобы оттуда бороться с самодержавием, как Герцен и Огарев; оставаясь в России, он даже чуть перешагнул за рубеж мрачного царствования, пережил на несколько месяцев Николая I.

Но, оставаясь в николаевской стране-тюрьме, где царили шпицрутены и доносы, он не пошел ни на малейшую нравственную уступку, ни в чем не отступил от высоких идеалов юности, был во всем верен себе до конца. Герцен писал о нем: «...говорили не только его речи, но и его молчание». Царизм тревожно ощущал молчание Грановского. После очередного доноса — а доносы шли на него кипами — он вынужден был нанести визит московскому митрополиту Филарету, тому самому печально известному Филарету, который после казни пяти декабристов отслужил в Московском Кремле благодарственный молебен.

«Я давно слежу за вашей деятельностью, — сказал

ему митрополит, — она оказывает сильное влияние на умы юношества, талант ваш известен, но в вашей деятельности есть что-то скрытое, в ней будто бы таится невысказываемая мысль».

Эту «невысказываемую мысль» хорошо ощутили те, кто стоял у власти. Грановский ни разу не формулировал ее с кафедры Московского университета; рассказывая о минувших веках, он как будто ничего не говорил о сегодняшнем страшном русском дне. Его будто бы не за что было арестовывать, заключать в Петропавловскую крепость, ссылать в Сибирь. И в то же время, обладая талантом переживать историю человечества как историю личную, он поднимался на эшафот с революционерами, на костер с еретиками, он воспитывал в юношестве ненависть к деспотизму и тирании, сострадание к павшим борцам, гуманное отношение к человеку. И сама его личность, даже этот внешний облик старого рыцаря, величавые черты лица, начисто отвергающие всякую форму рабства, сама его личность с ее непримиримостью к унижению, бесчеловечности, с ее высоким пониманием достоинства человека, досказывала то, что не досказывали обращенные будто бы только в минувшее речи: совесть не может мириться с николаевским режимом!

Эта борьба нелегко ему давалась, она требовала огромных душевных сил. «Какой-нибудь поздний историк, — говорил Грановский, — будет умно и интересно объяснять то, что теперь совершается, но каково переживать это нам...»

В конце концов Николай и его убил. Грановский умер сорокадвухлетним, истощив в борьбе за человечность все телесные и душевные силы. «Если бы не жена, — говорил он иногда, — я охотно ушел бы из жизни».

Если бы не жена и не Россия — они давно соединились в его сердце воедино.

Диву даешься, как он выдержал эти последовав-

шие за тем июнем 1841 года четырнадцать лет! Его спасла невеста, жена, любовь.

Чувство к Лизе помогло установлению во внутреннем мире Грановского того равновесия между сердцем и мыслью — при все большем «утяжелении» сердца — той гармонии, которая была для него источником сил.

В эпоху, когда мысль убивали, как живого человека, чувство занимало в жизни мыслящей личности особое место; оно жило и за себя и за мысль. Оно выполняло как бы двойную работу; а чувство убить труднее, оно жизнеспособнее, живучей мысли. В мертвые эпохи, подобные николаевской, потребность жить чувством, сердцем бывает особенно велика у людей самых мыслящих. Можно объявить высочайшим указом сумасшедшей мысль, как поступили с Чаадаевым, но нельзя объявить сумасшедшим сердце. Нелепо объявлять его сумасшедшим; оно и должно таковым быть. И остается ненавидеть человека за «невысказываемую мысль», которая тем не менее ясна.

Но вернемся к его письмам из Погорельца летом 1841 года.

Сможешь ли ты когда-нибудь простить мне те глупости, которые я тебе писал и которые так тебя огорчили. Я едва не заставил тебя расплакаться! Мамочка моя, будь великодушна к несчастному негодяю, который только тем единственным достоинством и обладает, что любит тебя. Я много рассуждаю, но лишь затем, чтобы сохранить рассудок. Пиши мне столько, сколько можешь, но не кради часы у сна (я ведь угадал?) и будь уверена, отныне ты не услышишь из моих уст ни одного упрека. Нехорошо тебе говорить, будто я люблю тебя меньше, чем прежде. С чего ты это взяла? Ты говоришь еще, будто я резок с тобой, мой бедный баранчик, будто я хвастаю тем, что не сплю до часу ночи, чтобы писать к тебе. Во всех случаях я признаю себя виновным, хотя и не

в той мере, в какой считаешь меня виновным ты. Мое главное преступление в том, что я едва не заставил тебя плакать, притом, что самое страстное мое желание — уберечь тебя от слез. Но если мне и случалось иной раз огорчить тебя, поверь, я вовсе этого не хотел. Ты еще будешь в этом сомневаться? Ты в самом деле считаешь, будто я стал любить тебя меньше, чем перед отъездом? Мои сестры могут за меня поручиться, если ты не веришь моим словам. Скажи, что нужно, чтобы любить сильнее, я все исполню, но полагаю, что ни больше, ни меньше для меня одинаково невозможно. Мои слова те-ряют что-то от слишком частых повторений.

И наконец:

Это мое последнее письмо к тебе, 15-го вечером или 16-го утром надеюсь увидеть тебя.

Они и увиделись в Москве 16 июля 1841 года.

А 15-го вечером у подножия горы Машук был убит Лермонтов.

СТРАННЫЙ РУССКИЙ РОМАН

Часть 1. Шелгунов и Шелгунова

«Четырнадцатилетней девочкой я перешла в старший класс и вообразила себя большой. Не понимаю, каким образом я могла переходить из класса в класс, да еще вдобавок считаться хорошей ученицей? Мне думается, что я тогда ровно ничего не знала, хотя и перешла в старший класс. Раз как-то в субботу вечером, когда я вернулась откуда-то с братом домой, мать встретила нас такой фразой:

— А у нас Коля Шелгунов.

Услыхав, что Николай Васильевич у нас, мы опрометью бросились в зал, и я вдруг остановилась в смущении. Я была уже в длинном платье, и Н[иколай] В[асильевич] вместо шумных объятий и поцелуев, только сказал:

— Да Людинька совсем большая!

С этого дня Шелгунов стал к нам ходить сначала каждую неделю, а потом уж и каждый день. Я вышла из пансиона и серьезно занималась музыкой.

Мать не вмешивалась в наши разговоры, как не вмешивалась в те книги, которые я читала по указанию Н[иколая] В[асильевича]. Она была твердо уверена, что я выйду за него замуж, и говорила:

— Он воспитывает себе жену, и мне мешаться не для чего (Л. П. Шелгунова. «Из недалекого прошлого»).

Май 1848 г.

Отчего так трудно написать к Вам письмо? Принимаюсь уже за четвертое: два письма разорвал, усладительное написать не смею, не имею на то права, жесткое не могу, а между тем мне хочется сказать Вам: один бог на небе, один дядя на земле, который умеет любить так свою племянницу¹, как я...

Не знаю, все ли люди созданы так глупо, как я, — представляете: — мне необходимо, нужно иметь подле себя человека, которого я люблю, если же это невозможно, то из окружающих меня людей я избираю одного, на которого обращаю всю свою нежность...

¹ Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891) — революционный демократ, соратник Н. Г. Чернышевского. Л. П. Шелгунова, в девичестве Михаэлис (1832—1901), была дальней родственницей Н. В. Шелгунова, и поэтому в письмах к ней, когда она была его невестой, он шуточно называл племянницей.

Людинька! Вы просите меня отвечать на каждое Ваше письмо отдельно, — но это сделалось уже невозможным: я прочел все, что Вы мне пишете, и отвечаю и буду отвечать постоянно на весь Ваш журнал. — Я не мог удерживать себя долго и на первой же станции начал читать Ваш журнал, — прочитав первое письмо, первый дневник, я почувствовал, что слезы выступили у меня на глаза, мне сделалось жарко, очень жарко, Людинька, мне сделалось стыдно за себя, мне казалось и кажется, что я не стою Вашей любви, я не умел ценить и я не умел понять Вас, Людинька, простите меня, — мои слезы должны извинить меня пред Вами, и я желал бы надеяться, что Вы простите меня. Разве я не люблю Вас? Нет! Я люблю Вас, как только может любить одна живая душа другую душу — моя вина постоянная в том, что я не умею быть кротким, что я раздражителен слишком с Вами, но разве это не оттого, что я люблю Вас более себя, и это не фраза, не мертвое слово, но живая истина, подсказанная моим сердцем. Если бы я жил с Вами, все лучшее, удобное было бы Вашим, — моим бы было только все необходимое для человека, как животного. Я сумел бы сидеть даже на гвозде и был бы совершенно счастлив в уверенности, что вклады удобства на Вашей стороне, мне достаточно было бы корки черствого хлеба, и я был бы сыт и счастлив, зная, что через это я могу доставить Вам кусочек более сладкий — я спал бы на сырой земле под дождем и уступил бы Вам свой последний плащ, зимой, в холод, я покрыл бы Вас своим платьем и согрел Ваши рученьки и ножки своим дыханием, своими поцелуями, неужели это не любовь? Если я был с Вами дерзок, капризен, то оттого, что я не знал Вас вполне и не умел ценить Вас, Людинька, мне стыдно за себя в прошлом, мне досадно на себя. . .

Пятница 18-е марта (1849)
Витебск, 56 минут 8-го

Два дня я не читал Ваш журнал, Людинька, но сегодня прочитаю его непременно, прочитаю и поцелую. Целую Ваши вещи, я думаю: «Людинька, я люблю Вас» — и целую их и наслаждаюсь. Как счастлив человек, который имеет кого любить! В своем настоящем положении я не желаю ничего лучшего, — но могу ли я желать? Может ли человек иметь большее счастье? Не думаю. Сегодняшние мои мечты были и приятны и неприятны, я заглянул слишком вперед и за эту дерзость воображение мое наказало меня. Я был уже женат, жена любила меня сначала, потом перестала любить. . .

Витебск, 19 марта 1849
Суббота 49 минут 12-го утром

Людинька, заклинаю Вас своею любовью, ведите журнал, пишите в нем все, что Вы чувствуете, все, что Вы думаете, все, о чем Вы мечтаете — пишите, не думая, что этот журнал Вы дадите мне, а между тем все-таки отдайте. Из нескольких листов Вашего журнала я узнал Вас более, чем из всего нашего четырехлетнего знакомства.

Если я буду жить в Самаре, то буду непременно вести журнал, вести журнал точно так же, как веду его теперь, у меня не будет ни одной такой мысли, которую бы Вы не знали, буду писать все, что будет думать моя голова, все, что станет чувствовать мое сердце, — и обо всем этом будете знать Вы, моя Людинька, потому что такой, как я есть, буду существовать только для Вас, Людинька, довольны ли Вы мной? Согласны ли Вы действовать таким образом? Согласитесь, прошу Вас. И отчего Вам не

согласиться? Разве я не знаю, что у Вас есть сердце? Разве я не знаю, что это сердце умеет чувствовать? Я знаю все, значит, Вам нечего скрывать от меня...

... Я не хочу думать, я хочу говорить Вам... «Людинька, я люблю Вас, люблю Вас очень, очень, несмотря на то, что Вы говорили, будто бы я люблю Вас менее, чем Вы меня, мне кажется, однако, что вы ошиблись, я не скажу Вам, что я люблю Вас более, чем Вы меня, но уверен, что люблю не менее...»

(Карандашом без даты)

... Для меня Вы, Людинька, такое лучезарное светлое существо, которому я поклоняюсь, и я Вас боготворю, вижу в Вас светлый, чистый, прекрасный человеческий образ, далекий грязных понятий остальных женщин, и потому уважаю Вас, Людинька, умоляю Вас, сохраните навсегда ту чистоту души, которую Вы владеете теперь...

18-го апреля

Я скажу вам, что думаю о поцелуях: большинство людей стремятся к телесным наслаждениям; в эти минуты человек забывает свою духовность, забывает все, а потому эти минуты называются минутами счастья, но есть еще минуты — минуты высшего наслаждения, когда не чувство телесности управляет нашими действиями, но чувство бескорыстное, чувство высокой, чистой любви, дружбы. Поцелуи первого чувства хороши, но они часто оставляют за собою чувство разочарования, но если поцелуй будет результатом второго чувства, то легко делается на душе человека и нет в сердце его другого ощущения, кроме прекрасной высокой радости, ра-

дости безотчетной и чистой, которая оставляет по себе вечное, приятное воспоминание. Причину этих двух противоположных результатов Вы понимаете: в первом случае действует материализм, во втором — духовность. Я могу быть материалистом, я это знаю, но не хочу быть им относительно Вас, мне кажется, я оскорбляю тогда мое чувство, я оскорбляю Вас.

19-го апреля

Во мне странным образом делится человек — я не могу согласить духовного с телесным, и оттого во мне два отдельных человека. Относительно Вас во мне почти всегда действует духовный человек...

Самара¹. 27-го июня

Людинька! Вам известны мои некоторые недостатки, которые я сознаю в себе, Вам известно, что я властолюбив, горд, и не люблю быть вторым там, где я могу быть первым.

Вы говорите, что я не великодушен; выслушайте меня: я не великодушен с сильными, не уступлю равному бойцу и буду драться с ним насмерть до тех пор, пока он не положит оружия, я первый не положу его никогда, но со слабым я не тот. Вы видели это на себе, дерзости и неприятности я говорил Вам всегда до тех пор, пока я видел, что Вы боретесь со мною. Желчь кипела во мне до

¹ Н. В. Шелгунов учился в Лесном институте и, окончив его, в 1842 году получил чин подпоручика и место таксатора в лесном департаменте. В 1849 году он был послан в Самару, где служил при управлении казенными землями до 1851 года.

тех пор, пока я не видел, что огорчил Вас действительно, а когда сожаление и раскаяние сменяли во мне досаду, я готов был просить у Вас прощения...

Самара. 2-го сентября

... Читая Ваш дневник, где Вы говорите, чего требуете от своего мужа, я чувствовал, что мое сердце сжалось, и я испугался за себя. Людинька, Вы хотите, чтобы муж был в зависимости от жены, и тогда только видите возможность равенства...

... Жизнь супругов должна быть основана на товариществе, в котором равенство есть первое основание благоденствия. Понимая, что я муж, я подчиняюсь своей жене, я буду делать только то, что захочет моя жена, я убежден, что добрая, любящая, нежная жена всегда больше своего мужа, потому что на ее стороне сердце. В деле подчинения выйдет то, что вы хотите, но основанием подчинения будет не Ваша идея. Вы хотите, чтобы муж подчинялся жене по закону равенства и по убеждению, что жена лучше сумеет управлять супружеским счастьем, а я подчиняюсь своей жене как существо, сознающее свою силу и крепость, которое отказывается от этих прав, потому что хочет находиться под влиянием любви. По-Вашему выходит, что женщина — глава, потому что она сильнее, по-моему же потому только, что она слабее... Вот мысль, которую я хотел передать Вам.

(Письма Н. В. Шелгунова к Л. П. Михаэлис)

Ровно через год после отъезда Н. В. в Самару мы были обвенчаны в Выборге и поехали в своем тарантасе в Самару.

Денег у нас было так мало, что мы должны были соблюдать экономию во всем, но это нисколько не мешало нам веселиться...

Молодежь собиралась (у нас), рассуждала, спорила, кричала, горячилась и, закусив самым скромным куском, расходилась...

Когда Самара стала губернским городом, то, конечно, наехало множество новых чиновников. Один из них и перетащил Николая Васильевича в Петербург...

Мы наняли крошечную квартиру в Большой Конюшенной (Л. П. Шелгунова «Из недалекого прошлого»).

Часть 2. Шелгунов, Шелгунова и Михайлов ¹

Зимой 1855/56 года Михайлов через Пекарского ² познакомился с Шелгуновыми, с которыми очень сблизился...

Жена Николая Васильевича Людмила Петровна Шелгунова переживала тогда еще свою молодость. Живая, общительная, она собирала вокруг себя большое общество друзей и поклонников.

...В жизни Михайлова она сыграла исключительную роль. Знакомство с поэтом, происшедшее чрезвычайно оригинально в маскараде, превратилось в дружбу и сменилось любовью, глубоким и сильным чувством, по крайней мере со стороны Михайлова. Эти отношения с Людмилой Петровной не мешали ни его искренней

¹ Михайлов Михаил Ларионович (1829—1865) — член редакции «Современника», соратник Чернышевского и Добролюбова; поэт, переводчик, прозаик.

² Пекарский Петр Петрович (1827—1872) — исследователь русской литературы, историк, сотрудничал в «Современнике».

дружбе с Николаем Васильевичем Шелгуновым, ни столь же сердечным отношениям Н. В. к жене.

Наружность его была очень оригинальна: маленький, худенький, с остренькими чертами лица и с замечательно черными густыми бровями. Веки глаз у него были полузакрыты; в детстве ему делали операцию, но все-таки веки лишены были способности подыматься, вследствие чего глаз почти не видно было, и Михайлов носил большие очки; губы у него были до того яркого цвета, что издали бросались в глаза. Михайлов сшил себе летний серый костюм, и Тургенев уверял, что в сумерки он может испугать, так как он похож на летучую мышь (*Из воспоминаний современников*).

С Михаилом Ларионовичем Михайловым познакомил меня тоже Пекарский (они были земляки)... Не припомню точно, когда я познакомился с Михайловым, но к концу Крымской войны мы уже были знакомы очень близко...

Михайлов был небольшого роста, тонкий и стройный. Он держался несколько прямо, как все люди небольшого роста. В его изящной фигуре было что-то такое, что сообщало всем его манерам и движениям стройность, грацию, какую-то опрятность. Это природное изящество сообщалось Михайловым всему, что он носил. Галстук, самый обыкновенный на других, на Михайлове смотрелся совсем иначе, и это зависело от того, что Михайлов своими тонкими «умными» пальцами умел завязать его с женской аккуратностью и изяществом (*Н. В. Шелгунов. Воспоминания*).

Вчера был вечером у Шелгунова, жена его очень милая дама и большая музыкантша.

Недавно Михайлов М. Л. ... влюбленный в нее всем

пылом первой юношеской страсти, с замиранием в сердце признавался мне, что он пользуется взаимностью, что он счастлив. . . (Из дневника Я. П. Полонского ¹).

Познакомившись с Людм. Петр. Шелгуновой зимою 1855/56 года в маскараде, Михайлов связал с нею всю свою жизнь. Знакомство скоро перешло в дружбу и сменилось обоюдной любовью. Произошло то, что бывало довольно часто в шестидесятых годах. Не желая стеснять свободного чувства своей жены, полюбившей другого, Н. В. Шелгунов уступил место своему другу, сохранив, однако, свои дружеские отношения и со своей прежней женою и со своим другом. . . Михайлов поселился в одной квартире с Шелгуновыми. . . Дружеские отношения между этими тремя людьми не нарушались. Михайлов еще более, чем прежде, любил Шелгунова, который постоянно в своих письмах к Людмиле Петровне говорил о Михайлове в самых дружеских тонах. . . У Михайлова и Шелгуновой был сын Михаил. . . (Из воспоминаний современников).

Уральск, 25-го февраля 57-го г.

Милый друг, Николай Васильевич!

В настоящую минуту у меня три желания; во-первых, обнять тебя поскорее, во-вторых, быть таким же хорошим человеком, как ты, чтобы тебе не совестно было обнимать меня; в-третьих, быть богатым, чтобы не брать никаких поручений от морского министерства, и если странствовать, то странствовать по своей воле, а лучше всего оставаться с теми, кого любишь. Но, взявшись за гуж,

¹ Полонский Яков Петрович (1819—1898) — русский поэт.

будь джуж. Надо хоть в исполнении этой пословицы быть похожим на тебя. Я по-мужски стараюсь об этом... (Письмо М. А. Михайлова к Н. В. Шелгунову).

Вот, наконец, после долгих скитаний, я вернулся... Вчера приехал я в Лисино¹ и застал здесь одну Л[юдмила] П[етровну], Ник[олай] Вас[ильевич] в П-бурге. У меня так хорошо и светло на сердце, что и описать тебе трудно. Да ты поймешь, впрочем. Я приехал из родных мест, а между тем родина моя здесь, а вовсе не там. Как это у Лермонтова-то? «Где любят нас, где верят нам». Отрадное чувство — сознавать, что есть такая родина для сердца. Надо бы рассказать тебе всю историю моего странствия и возврата, но у меня нет на то времени, ни достаточного спокойствия: я слишком счастлив и весел, что здесь теперь и что во время моего отсутствия ничто не изменилось из того, что для меня дороже всего на свете, как не переменялся и сам я... (Письмо М. А. Михайлова к Я. П. Полонскому).

Ко мне в Лисино приехал Михайлов и страшно заврал тифом с каким-то странным осложнением.

Михайлов... долго боролся со смертью. Когда он начал поправляться, то пускался даже на воровство, чтобы получить лишний крендель. Пойманный однажды мною у буфета, он не на шутку на меня рассердился...

Вот что писал мне Н[иколай] В[асильевич]:

... Все эти командировки и служебные тревожения до того отучили меня от Лисина, что я, не считая себя лисинским жителем и убежденный в переводе, сам не зная куда, жду чего-то — и не дождусь. Неловкость такого положения тем более неприятна, что хотелось бы упрочиться в Питере и все читать, читать и покупать

¹ Лесничество, в котором работал Н. В. Шелгунов.

книги. Людинька, ведь мы устроим библиотеку, а? и хорошую? Голубушка, прощайте, я здоров, ем, сплю, хорошо. . .

Отчего это мне хорошо только с Вами? нет, не с одними Вами, а с М[ихайловым]. . .

Что у Вас в Лисине? Читаете, гуляете? А я не имею даже времени писать письма (Л. П. Шелгунова. «Из недалекого прошлого»).

Лисино, 31-го августа (57-го г.), ночь

Теперь в Лисине тишина — все спят, я же сижу у постели нашего общего друга Михайлова. Он очень болен, опасно болен, я в такой горе, что чуть не растерялась. . . (Письмо Л. П. Шелгуновой к Я. П. Полонскому).

. . . Мы приехали в Питер. Михайлов живет с нами, он чуть не умер. . . (Из письма Л. П. Шелгуновой к Полонскому).

15-го июля 1858 года

Если человек может обойтись без другого день, он может обойтись неделю, месяц, вечность. Тут есть немного правды, но, кажется, есть и софизм. Правда в том, что мне не хотелось бы, чтобы она применилась ко мне и к Вам (Из письма Н. В. Шелгунова жене, которая тогда была в Дрездене).

В январе 1859 года я вернулся в Париж, а в конце февраля. . . отправился в Лондон. Михайлов уехал дня за три ранее, чтоб приискать, между прочим, квартиру. В этом ему помог Герцен. . .

Я видел Герцена в апогее его популярности: лондонские издания его и «Колокол» расходились с возрастающим успехом. Обращение его было простое, дружеское, с ним было легко и свободно. . . Огарев появлялся только к обеду и к чаю и, распределяясь, должно быть, по тяготениям, я садился всегда рядом с Огаревым, а Михайлов — с Герценом (*Н. В. Шелгунов. Воспоминания*).

... В ту же зиму (1861) я написал прокламацию «К молодому поколению», но мы решили печатать ее в Лондоне в «Русской печати». Об этой прокламации никто не знал, кроме Михайлова и меня (*Н. В. Шелгунов. Воспоминания*).

Прокламация «К молодому поколению» была распространена с большим шумом и с замечательной смелостью. . . Прокламации раскладывали в театре на кресла, в виде афиш приклеивали к стенам, в концертных залах совали, как рассказывают, даже в карманы; а про прокламацию «К молодому поколению» говорили, что какой-то господин ехал на белом рысаке по Невскому и раскидывал ее направо и налево. . . (*Л. П. Шелгунова. «Из недалекого прошлого»*).

На другой день после распространения прокламации «К молодому поколению» (сентябрь 1861 г.) у Михайлова был обыск очень тщательный, окончившийся только к 7-ми часам утра. Ничего компрометирующего найдено не было. . . (*Н. В. Шелгунов. Воспоминания*).

У Михайлова был жандармский обыск с неделю тому назад; с тех пор я каждый день встречаю людей, уверяющих, что он арестован. Третьего дня вечером я видел Михайлова еще на свободе, а вчера опять уверяли меня, что он взят (*Н. А. Добролюбов — Н. А. Некрасову*).

Арест Михайлова произвел большое впечатление, особенно в литературном кружке. Это был первый арест лица, уже имевшего известное общественное положение и популярное имя (*Н. В. Шелгунов. Воспоминания*).

13-го ноября 1861 г.

Милая моя Людмила Петровна и дорогой Николай Васильевич... Как ни уныл исход дела, а хотелось бы, чтоб решение вышло скорее. Вы рисуете мне светлые картины: иногда, хоть и редко, они и мне снятся... Сегодня ходил гулять. День такой чудный, солнечный. Посмотрел через мерзлую Неву на ПБ. Хоть он и очень скверен и холоден, а все жаль будет кинуть его. Много тут было для меня и светлого и счастливого. Что это вы не писали мне, отняли ли Мишу от груди? Ради бога, лечитесь хорошенько. А ведь ты не ворчишь, голубчик Н[иколай] В[асильевич]? Не ворчи, пожалуйста. И так уже кумир разлетелся прахом. Как вздумаешь сердиться, вспомни, что есть такой человек, которому вдвое тяжелее покажется и горе и неволя, если он будет бояться этого... Мне бы доставило большое удовольствие, если б стихи мои, как вы писали, собрали и напечатали... Хотелось бы хоть что-нибудь оставить на память о себе, а стихи мои едва ли не лучшее из всего, что мною написано. Вот о каком вздоре говорю. Но уже так видно устроен человек... Завтра ровно 2 месяца, как меня вычеркнули из жизни, а кажется уж бог знает, сколько времени прошло. Каково же 12 лет! Если доживешь, поседеешь, одичаешь и непременно поглупеешь... Хотел написать вам письмо веселое или, по крайней мере, бодрое, а тяну канитель. Простите, голубушка моя, прости, Н[иколай] В[асильевич]!.. Как бы я хотел расцеловать милого соловушку Мишутку и понянчить его, и показать

ему снежок беленький; этого ведь я еще не объяснял ему. . . Бумага к концу, а потому целую вас крепко и без счета, милые мои, милые друзья (*Из письма М. Л. Михайлова из тюрьмы Н. В. и Л. П. Шелгуновым*).

14-го сего декабря, в 8 ч. утра, назначено публичное объявление на площади перед Сытным рынком, что в Петербургской части, отставному губернскому секретарю Михаилу Михайлову высочайше утвержденного мнения Государственного Совета, коим определено: Михайлова, виновного в злоумышленном распространении сочинения, в составлении коего он принимал участие и которое имело целью возбудить бунт против верховной власти для потрясения основных учреждений Государства, но осталось без вредных последствий по причинам от Михайлова независимым — лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу в рудниках на шесть лет (*«Ведомости СПб. Городской Полиции», 14 декабря 1861 г.*).

«Любовь и дружба», — Л. П. и Н. В. Шелгуновы, — нашли его и в ссылке. Они не оставляли своих забот о сыльном друге все время. Они устраивали его литературные дела, поддерживали его материально, для чего пустили в лотерею часть большой библиотеки Михайлова. С Людм. Петровной Михайлов находился в постоянной переписке. В сибирских городах, которые проезжал Михайлов, его ждали письма Л. П. В своих письмах к ней он делился впечатлениями, планами, поручал ей помещение написанных им в Сибири рассказов и стихотворений.

Н. В. Шелгунов особенно тяжело переживал дело Михайлова, чувствуя долю своей вины в страданиях дру-

га. Этим и объясняется та поездка, которую Шелгуновы предприняли, чтобы навестить Михайлова ¹.

Они и поехали к нему в Сибирь на каторгу, где были оба арестованы: Н. В. Шелгунова увезли в Петербург в Петропавловскую крепость, Л. П. Шелгунова осталась с ребенком в Иркутске под домашним арестом» (*Из воспоминаний современников*).

Часть 3. Шелгунов

«27 марта 1863 г.

Петропавловская крепость

Прощай, друг, мне ужасно стыдно перед тобой — я упросил тебя ехать, ты согласилась, и вот теперь только терпишь через меня. . . Мне стало еще досаднее, что наши дела так расстроились, что остановилась и наша постройка и наше хозяйство; а ты, голубчик, вместо того, чтобы быть теперь у себя в деревне, встречаешь весну в Иркутске, и все это ты терпишь через меня. Прости меня еще раз.

25-го июля

Мне разрешено с тобой видаться², но только с тобой, в месяц три раза, или каждые десять дней один раз. Когда будет тебе можно, приезжай. Хотя можно видеть мне и Мишутку, но. . . я представил себе, что для этого его нужно будить рано, везти не вовремя, оторвать от сада и занятий, одним словом — нарушить весь быт маленько-

¹ Михайлов вел себя с большим мужеством после ареста и не назвал имя истинного автора прокламации, то есть Н. В. Шелгунова.

² К тому времени Л. П. Шелгунова вернулась в Петербург.

го мальчика, и для чего — чтобы привезти в пыльный Петербург, где он, пожалуй, еще захворает. Поэтому я думал бы не возить его теперь, а там посмотрим. Впрочем, как ты решишь, так и быть тому.

17-го октября

... Жду тебя к себе в будущую пятницу и считаю каждый день, так мне хочется с тобой видиться и так мне отраднo свидание с тобой...

6-го ноября

... Впрочем, относительно свидания с тобою и Мишулькой я отличаюсь еще большей жадностью, чем самарский доктор, потому что если бы можно было вместо часу видиться с тобою шесть часов подряд, и этого я не нашел бы излишним... совершенно, как бедный — относительно денег — чем больше, тем лучше...

13-го ноября

Знаешь ли ты, голубчик, что чувствую в себе силу и способности писать к тебе письма такой же длины, как мои журнальные статьи? Но не бойся, я не стану пугать тебя подобными посланиями и в отвлеченности вдаваться не стану.

1-го декабря

... Очень я рад за Мишульку, которому швейцарский климат будет очень полезен¹.

¹ В конце ноября 1863 года Л. П. Шелгунова уехала с сыном Мишей за границу в Швейцарию, а Николай Васильевич продолжал сидеть в Петропавловской крепости, ожидая решения своей участи.

15-го декабря

Теперь я начинаю снова чувствовать, что тебя здесь нет, милый мой дружок. И это я замечаю во всех мелочах.

... Сначала меня беспокоила мысль, чтобы не украли у тебя дорогой денег. Теперь же боюсь за твои вещи, отправленные с товарным поездом. Особенно если ты их не застраховала. Пожалуйста, напиши, когда их получишь.

Что это с Мишулькой, опять принялся за рисованье? И верно со страстностью?

Укрепляй, ради бога, ему здоровье, чтобы вышел железный.

18-го декабря

Так меня обрадовало твое последнее письмо, милый мой дружок. Теперь я знаю, что мы можем давать друг другу весть, как будто между нами телеграфная проволока. А то я уже начинал беспокоиться, не зная, чему приписать, что к тебе не доходили мои письма. Из того, что к тебе мое письмо шло 15 дней, а твои ко мне только 5, следует заключить, что от Петербурга до тебя втрое дальше, чем от тебя до Петербурга.

Подобный вопрос уже разрешался раз относительно Парижа в нашей литературе и, разумеется, не повел ни к чему.

Письмо твое доставило мне такое огромное наслаждение, что я читал его несколько раз и, засыпая, чувствовал у себя улыбку удовольствия на лице. Смешит меня Мишулька, обиду которого я понимаю вполне, хотя и смеюсь всякий раз, когда представляю его себе в обществе четырехлетней краснощекой немки.

15-го января 1864 г.

... Поручи мне что-нибудь сделать за тебя так, чтобы тебе было меньше дела. Мне же это ничего, потому что я, как мне кажется, так поглупел, что не в состоянии писать оригинальных статей. От однообразной жизни, лишенной всяких развлечений, голова у меня ужасно устала.

26-го января 1864 г.

Никогда, милый мой друг, не укладывался я в дорогу с такими мрачными мыслями, как вчера. Еду в Вологодскую губернию. Когда — не знаю, но в путь совсем готов и живу теперь на Сенатской гауптвахте.

*11-го января 1865 г.
Тотьма.*

Друг Людя! Тоска, тоска и тоска! Везде мне тоска. Дома тоже. Сейчас из гостей. А теперь всего 9 часов. Может быть, я болен? Не знаю и не понимаю ничего. Впрочем, со мною, кажется, это бывало всегда. Это не мизантропизм, потому что я знаю человек пять, с которыми мне бывало всегда отрадно. Ты, разумеется, номер первый... Не могу писать даже тебе, милый мой друг, как будто хочу спать. Спать, разумеется, не лягу, ибо всего несколько минут десятого. Начну рыться в книгах.

*16-го января 1865 г.
Ответ на 13-е декабря*

Сколько лет ты думаешь пробыть за границей? Отчего не понравилась карточка? Да только оттого, что у тебя

эффектный торжественный вид, внушающий страх; а на первой карточке ты простой хороший человек, успокаивающий нервы. Я в сходстве не сомневаюсь, но ищу теплоты.

Ты права, что я относился к тебе враждебно, но, друг Людя, мог ли я относиться иначе, когда у меня не было ни одного утешительного факта? Я не знаю и не знал никогда печальных обстоятельств, о которых ты упоминаешь. Насчет денег будь спокойна. В марте я вышлю тебе малую толику, т. е. рублей 300, а до того времени у тебя достанет. . .

15-го февраля (1865 г.)

Твое замечание насчет реалистов совершенно. . . правильно. Никто не воспитался лучше в реализме, как те, кого ты называешь идеалистами. Неужели ты думаешь, что те, кто понимает потребности своего времени, — мечтатели? Если так, то все новаторы были фантазеры, а между тем по фантазиям этих господ идут все дела мира. Какие же это мечтатели, когда все делается ими и по их проектам?

29 апреля

Дружок Людя. Сегодня написал я к Маше, к Вареньке ¹ и к Наде ² об отправлении ко мне Коли ³ немедленно. Уж я его так люблю, потому что чувствую, что

¹ Сестры Л. П. Шелгуновой.

² Вероятно, Надежда Николаевна Богданович, с семьей которой Шелгуновы были близки.

³ За границей у Л. П. Шелгуновой родился сын после ее сближения с русским революционером-эмигрантом А. А. Серно-Соловьевичем.

он заполнит мою жизнь. Я еще не заказал для него ничего; но закажу на днях: 1) кровать. Она будет точечная и выкрашена отлично, как снег, белой краской, чтобы не укрылся ни один клоп, которых здесь в каждом доме мириады. Потом заказал уже филейную сетку из белых шнурков; ножки в чашках; 2) будет у него свой комод, свой гардеробный шкаф, свой стул, свой умывальный стол, ванна.

Теперь ты мне напиши инструкции, как везти его.

20-го мая

Если твое письмо бывает в грустном тоне, то оно всегда сшибает меня с рельсов. Как прочны у нас с тобой узы.

27-го мая

... Уж как я люблю тебя, дружок мой, и как ты меня сметишь празднованием нашей свадьбы! А я всегда забываю этот день. Но в будущем году буду праздновать его непременно, только особенным образом, не так, как празднуют вообще люди. Действительно, голубчик, мы имеем на то некоторое право, потому что, если не в начале, но когда сами развились и созрели, сумели размежеваться в жизни и создали себе счастье, которое дается не многим, да еще долго не будет даваться, пока наши обыкновенные супруги будут пребывать в том остроумном турецком мирозерцании, в каком они обретаются.

1-го июля

Что я буду любить Колю любовью разумных людей,

ты не сомневайся; но достанет ли во мне столько познаний, сколько нужно для хорошего его физического воспитания, — не ручаюсь, хотя прочитаю все, что нужно для этого.

30-го сентября

Друг мой Людя! Ты не ошиблась, что известие о смерти Михайлова произведет на меня очень, очень тяжелое впечатление. Я уже писал тебе об этом. Тяжело мне было потому, что я в будущем рисовал себе яркий камелек и перед ним компанию старцев, хороших, добрых, живущих одним миром. Теперь эта компания меньше. Ты не ошиблась и в том, что я стал еще более одинок. Сорок лет я кипятился и накидывался на людей с полной искренностью; я ненавидел ложь и обман в других, не позволял никогда их и себе. Я всегда был искренен и в этом считаю все свое достоинство» (*Из писем Н. В. Шелгунова к Л. П. Шелгуновой*).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СТРАННОМ РУССКОМ РОМАНЕ

Это было в России, в шестидесятые годы XIX века. Лучшие люди того времени — «шестидесятники» — вошли в историю под именем «новых людей». И они действительно были новыми, потому что несли совершенно новые идеи, идеалы, по-новому видели жизнь, отношения между мужчиной и женщиной. Новые люди видели в женщине мыслящее, страдающее существо, одаренное богатой душой, созданное для радости; они хотели, чтобы женщина, которая веками в русском обществе не имела доступа к высшим видам творческой деятельности и к высшим сферам человеческого духа, раскрылась полно, неожиданно, ослепительно ярко.

Выразитель идеалов той эпохи Н. Г. Чернышевский говорил: «Никогда не любили так благородно, так бескорыстно, как в наше время. Никогда не любили так независимо от пошлостей, против которых еще долго будет надобно бороться любви».

«Странный русский роман», героями которого были Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, известный в то время поэт и беллетрист М. Л. Михайлов и революционер-эмигрант А. А. Серно-Соловьевич, кажется на первый взгляд неправдоподобным, «психологически недостоверным», как написали бы литературные критики, если бы этот роман был создан не самой жизнью, а писателем. Потому я и решил оставить читателя один на один с подлинными документами: в литературном пересказе эти отношения могут вызвать недоверие.

Мне хочется вернуться к одному из самых первых писем Н. В. Шелгунова к будущей жене, к тому письму, где он говорит: «относительно Вас во мне почти всегда действует духовный человек».

Люди шестидесятых годов — будучи в философском миропонимании убежденными материалистами — отличались особой духовностью; в области человеческих отношений они были «идеалистами», пожалуй, даже большими идеалистами, чем поколение тридцатых—сороковых годов русской жизни. Лучшие люди того поколения были идеалистами в области отвлеченной, они были идеалистами в чисто философском понимании идеализма, что, бесспорно, отражалось и на их отношениях к людям, к женщине. . .

Возвышенный идеализм «шестидесятников» поднял земное, житейское, повседневное на высоту истинного благородства, великодушия, бескорыстия и щедрости души, которая не может и сегодня не вызывать у нас изумленного восхищения. Шелгунов любил жену не только как женщину, но и как «суверенное» челове-

ское существо, чьи наклонности, увлечения, даже мимолетные капризы должны вызывать отношение почтительное, без тени раздражения или досады. . .

Его отношения с Михайловым — это подлинное торжество духа над тем, что во все века называли «плотью». Михайлов для него не соперник в любви, а тоже «суверенное» человеческое духовное существо, чье сердце не менее дорого ему, чем сердце собственное. Удивительные люди! Удивительные отношения! Он воспитывает детей, которые не были его родными детьми, хотя и были рождены женщиной, которую он любил и которая была его законной супругой, он воспитывает этих «чужих детей» не только с чувством большой ответственности за формирование их характера и за их будущее, но и с искреннейшей, чисто отеческой нежностью. Он их любит. И именно в этом тайна его, казалось бы, непостижимого отношения и к жене, и к Михайлову, и к Серно-Соловьевичу. Он любит.

Это сочетание любви интимной (чисто мужской или чисто женской) с любовью общечеловеческой и объясняет, казалось бы, необъяснимое в его поведении.

И в том, что он делает, нет жертвенности. А жертвенности нет, потому что, страдая (не страдать он не мог), он испытывал и радость от того, что хорошим людям рядом с ним хорошо жить.

Общезвестна фабула романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Менее известно, что история, изложенная в нем, разыгралась в самой жизни: в ней участвовали П. И. Боков (прообраз Лопухова), студент-медик, потом врач, М. А. Обручева (прообраз Веры Павловны), И. М. Сеченов (прообраз Кирсанова). . .

Как и в романе, Боков, готовя к экзаменам Машу Обручеву, оформил с ней фиктивный брак для того, чтобы дать ей возможность самостоятельно жить, учиться. Потом, тоже как в романе, Мария Александровна увлеклась

талантливым физиологом Сеченовым; потом, тоже как в романе, их отношения перешли в любовь; потом, тоже как в романе, Боков устранился, сохранив на всю жизнь дружбу с обоими, а потом, как и Лопухов, встретил женщину, которая стала его женой.

Я чуть было не написал в конце последней фразы «тоже как в романе», но в том-то и дело, что когда Чернышевский писал роман, Боков, в отличие от Лопухова, еще не встретил будущую жену.

Можно подумать, что писатель «наколдовал» ему новое счастье. А это сама жизнь «наколдовала». Ибо она, великая, своенравная художница, писала в ту пору «неправдоподобные», «психологически-недостовверные» романы.

«Странные русские романы», фабулы которых еще долго будут учить нас искусству человечности.

«В ТРЕВОГАХ МИРСКОЙ СУЕТЫ...»

10 июля 1870 года Алексей Константинович Толстой — поэт, романист, драматург — писал из Дрездена жене — Софье Андреевне Толстой:

Вот я здесь опять, и мне тяжело на сердце, когда вижу опять эти улицы, эту гостиницу и эту комнату без тебя. Я только что приехал, в 3¹/₄ часа утра и не могу лечь, не сказав тебе то, что говорю тебе уже двадцать лет, что я не могу жить без тебя, что ты мое единственное сокровище на земле, и я плачу над этим письмом, как плакал двадцать лет тому назад...

Двадцать лет назад он увидел ее первый раз «среди шумного бала, случайно...».

Эти стихи, положенные потом на музыку П. И. Чайковским, и посвящены первой встрече Толстого с будущей женой.

Кровь застывает в сердце, — писал он ей из старой дрезденской гостиницы через двадцать лет после «шумного бала», — кровь застывает в сердце при одной мысли, что я могу тебя потерять — я говорю себе: как ужасно глупо расставаться! Думая о тебе, я в твоём образе не вижу ни одной тени, ни одной. Все вокруг лишь свет и счастье. . .

Они расставались часто. Его письма к ней — история двух сердец, постепенно соединившихся настолько, что можно говорить об одном человеческом сердце, об одном человеческом существе.

Началась эта история драматически. Софья Андреевна во времена «шумного бала» была замужем за нелюбимым человеком — кавалергардским полковником Л. Ф. Миллером, до замужества она пережила трагедию — была увлечена князем П. А. Вяземским, и из-за этого увлечения один из братьев ее был убит на дуэли. . .

Не был и Толстой счастлив. Он томился службой при царском дворе «особыми», нравственно для него тяжёлыми поручениями, а мечтал о литературе, об искусстве — хотел полностью им себя посвятить и не находил сил разорвать со службой, двором, мундиром.

Они оба тогда («. . . лишь очи печально глядели!») были во власти нелюбимого (она — нелюбимого мужа, он — нелюбимой службы) и оба мечтали о любимом; история их сложных отношений — это борьба за то, чтобы стать самими собой в любви, в искусстве, в жизни.

30 мая 1852 года, вскоре после их первых встреч, он писал ей из Парижа:

Мы никогда не будем вполне счастливы! но у нас есть удовлетворение в нашем обоюдном уважении, в сознании наших нравственных устоев и добра, которое мы делаем друг другу. Я люблю это счастье, полное страдания и печали.

Отчего мне случалось в детстве плакать без причины,

отчего в тринадцатилетнем возрасте я прятался, чтобы выплакаться на свободе, — я, который казался для всех невозможно веселым? . .

Он раскрывается перед любимой женщиной, как раскрывается перед матерью — кажется, что это пишет сын.

То духовное материнство, о котором я говорил, рассказывая о любви Элоизы к Абельяру, мужчиной ощущимо как духовное сыновство.

Подумай, — писал он ей через несколько месяцев, — что до тридцати шести лет мне было некому верить мои оторчения, излить мою душу. Все то, что печалило меня, — а бывало это часто, хотя и незаметно для посторонних взглядов, — все то, чему я бы хотел найти отклик в уме, в сердце, я подавлял в самом себе.

И вдруг — ведь пишет это все же не сын, а возлюбленный! — он вырастает мгновенно из мальчика (и в тридцатилетнем мужчине мальчик может очнуться) в охотника, чародея, рыцаря.

Если снег останется и больше не выпадет, можно завтра идти на медведя и лосей. . . Не думаю, что я пошел бы их искать. . . Разве только с мыслью найти для твоих ног медвежью шкуру.

В этом «найти для твоих ног медвежью шкуру» то сочетание ребенка и сильного мужчины, которое создает лишь истинная любовь.

Я чувствую в себе, — пишет он ей тогда же, — сердце, ум, — и большое сердце, но на что оно мне?

А еще через несколько месяцев он сам же на этот вопрос отвечает:

Настоящая дружба (я не говорю о любви) основана на постоянном и безграничном излиянии одной души в другую.

Потом, в последующих письмах, он рассказывает о лучшем, что было в его жизни до встречи с нею, —

о путешествии в Италию, когда ему было тринадцать лет. Нет, «рассказывает» не то слово, он в письмах дарит ей эту Италию: ее соборы, картины, статуи, ее образы, ее века. . . Он дарит ей мысли, которые вызывала в нем Италия в отрочестве и вызывает сейчас при воспоминании о том путешествии.

Я думаю, — пишет он, — что нельзя быть художником одному, самому по себе, когда нет художников среди окружающих нас. . .

И он имел в виду, конечно, высказывая эту мысль, не Италию времен Возрождения, а николаевскую Россию, в которой тосковали талантливые, думающие, мыслящие люди. «Энтузиазм, каков бы он ни был, скоро уничтожается нашими условиями жизни».

Да, нельзя быть художником одному, самому по себе, когда нет художников вокруг, но можно быть одному самому по себе любящим человеком.

Когда я рассказываю тебе про Венецию, — пишет ей любящий человек, мечтающий стать художником, — все эти воспоминания встают передо мною одно за другим. Мне кажется, я слышу шум, с которым укладывались гондольерами весла в гондолу, когда подходили к какому-нибудь дворцу, я чувствую запах каналов, дурной запах, но напоминающий хорошую эпоху моей жизни! . .

А через несколько строк:

Но как работать для искусства, когда слышишь со всех сторон слова: служба, чин, вицмундир, начальство и тому подобное?

Он пишет ей о внутренних бурях, доводящих его до желания биться головой об стену. И он твердо решает порвать с карьерой, вицмундиром, службой, посвятить себя литературе, искусству. И после этого решения его любовь к ней возрастает, потому что, обретая душевную цельность, избавляясь от раздвоения, человек тем самым

углубляет в себе и талант любви, великий талант самоотдачи: любимому существу, любимому делу. А с возрастанием любви к ней возвышается и его отношение вообще к миру.

Сегодня, — пишет он 8 августа 1854 года, — такая прекрасная ночь, так много звезд отражается в воде, воздух теплый... Когда я вижу подобную ночь, хотя я продолжаю так же сильно любить природу, мне кажется, что есть что-то лучшее, что должно быть нашей целью... Чувство это очень сильно во мне — и всегда было, но это очень больно. Вокруг нас масса цветов, и воздух благоухает, и глаза наслаждаются... Я чувствую недостаточность жизни... И хотя не говорю об этом, но это чувство очень искренне во мне.

Ему кажется, что он об этом, может быть, самым тайном в его душе не говорит. Но нет, он говорит об этом, ей, единственному человеку на земле, который может сейчас его понять.

Постарайтесь и мы понять это странное письмо.

Любовь, усиливая ощущение чуда жизни, окружающей нас действительности («масса цветов, и воздух благоухает, и глаза наслаждаются»), в то же время вызывает и тоску по чему-то большему, чем эта действительность. Мы наслаждаемся минутами — временем, когда воспринимаем красоту мира, и, несмотря на это, «выходим» из времени в вечность. Это тоска по бесконечному, но чему-то таинственно великому — загадочное качество любви. Испытывать эту тоску действительно «очень больно».

И все время, все время в его непрестанно развивающемся чувстве к ней оживает мальчик, ее «сын».

... Когда мне было пятнадцать лет, я написал стихи:

Я верю в чистую любовь
И в душ соединенье;

И мысли все, и жизнь, и кровь,
И каждой жилки бьенье
Отдам я с радостью той,
Которой образ милый
Меня любовью святой
Исполнит до могилы.

Я говорил тогда только о любви до могилы и не думал тогда, что любовь должна идти еще дальше... Спокойной ночи. Посылаю тебе всю мою душу — да будет она всегда с тобой.

Все это и есть то чувство недостаточности жизни, о котором он раньше писал, и оно нашу любовь к жизни не ослабляет, а усиливает, усиливает ее настолько, что она находит в реальной действительности то, чего не видел когда-то...

Но была, увы, и иная действительность — жестокая, социальная (то, что Николая I на троне сменил Александр II, лишь осложнило положение художника, ибо император питал к нему особую «симпатию» и надеялся на него как на деятельное должностное лицо). Софья Андреевна оставалась по-прежнему женой кавалергардского полковника, ибо развод в царской России был делом почти неосуществимым... И эта действительность не отпускала, держала в плену.

Они освободились душевно: он отдавал лучшие силы стихам и роману «Князь Серебряный» (и, конечно же, ей), а не особо «почетным» поручениям государя; она любила его, а не мужа, но полного освобождения от того, что не любишь, все еще не наступило...

Я хочу заняться... моим искусством — меня к нему влечет как никогда, — пишет он ей, — помоги мне жить вне мундиров и парадов.

А через несколько дней он писал ей же из парадно-чиновного Петербурга в тихую усадьбу, где она жила:

Я ощущаю такую потребность говорить с тобой об искусстве, о поэзии, поделиться с тобою всеми моими мыслями и теориями.

Он подарил ей однажды Италию и хочет все время дарить что-то бесценное, чтобы росла ее душа.

*Я хочу доставить тебе маленькое удовольствие: я достал великолепные фотографии Толедо, Венеции и Гренады... Рассматривая в лупу, ты сможешь разоб-
рать: кирпич, мох, собак и исполинских мух.*

Он все время всматривается в ее душу, в ее лицо. Тайна, которая покрывала ее черты в день их встречи, стала со временем не менее, а более явственной, хотя давно отшумел тот бал и истлели те маски.

Это — тайна любимого лица, о котором мы говорили, восстанавливая историю поклонения Петрарки перед Лаурой.

Почему надо раскрыть тайну? Это вопрос о смысле любви. Сегодня любовь для человека то же самое, читаем у одного старого философа, чем был разум для мира животного: она существует лишь в первоначальных задатках, но еще не на самом деле. Но если огромные мировые периоды не помешали этому разуму наконец осуществиться, то тем более неосуществленность подлинной любви в течение немногих тысячелетий, пережитых историческим человечеством, не дает нам основания заключать, что в будущем она не раскроется с той полнотой, с какой раскрылся в человеке разум, живший некогда под спудом, в потемках.

Это будущее наступало уже не раз в отношениях людей, сумевших оправдать на деле высший смысл любви, то есть соединить две жизни в одну, два существа в единую личность. Соединение это возможно при одном непременном условии: видеть абсолютную непреходящую ценность в духовном мире человека, который сейчас перед тобой, о котором можешь бессонной ночью пораз-

мыслить: «И кажется мне, что люблю» (строка из того же первого стихотворения-романса А. К. Толстого).

Чтобы снять это «кажется», надо, повторяю, увидеть бесконечную ценность в душе буд то б ы любимого человека, то есть ощутить его лицо как тайну, которая требует раскрытия, расшифровки не менее кропотливой, углубленной и медлительной, чем разгадка надписей на развалинах городов майя или иероглифов иных исчезнувших цивилизаций. Но различие в этих трудах, конечно, великое: если в последнем случае воскресает перед тобой давно ушедшая в небытие культура: с ее языком, молитвами, шепотом любви, мечтами о бессмертии, то в первом случае, когда ты раскрываешь тайну буд то б ы любимого лица, перед тобой рождается с е г о д н я ш н и й удивительный мир: тончайших душевных переживаний, невысказанных мыслей, невоплотившейся доброты, нераскрывшихся богатств духа. И по мере того, как все это раскрывается, воплощается, человек все более становится т в о и м человеком. И ты умираешь как отдельная личность, чтобы воскреснуть в новом чудесном существе, соединившем навсегда две человеческие личности.

В сущности, история любви А. К. Толстого и С. А. Миллер — история этого умирания и воскресения.

Вот она в Италии. Он из Петербурга пишет ей 4 июля 1857 года:

Обрати внимание на характер ломбардских церквей, постарайся изучить физиономию различных архитектур, поезжай в Верону — там есть ломбардский собор и римский амфитеатр, очень хорошо сохранный... И потом могила Ромео...

А через несколько недель он твердо пишет императору Александру II:

«Служба и искусство несовместимы. Од-

но вредит другому. И надо делать выбор». Он пишет императору о том, что больше не может носить мундира. Давнишнее внутреннее решение становится долгожданной реальностью.

И вот наконец он пишет из гостиницы «Виктория» в городе Шлангенбад не Софье Андреевне Миллер, а Софье Андреевне Толстой: она развелась и стала его женой. Исполнилось то, о чем они мечтали годы, — освобождение от постылого, соединение с любимым. Он пишет ей о чем-то странном, на первый взгляд даже непонятном:

У улиток у всех на правом боку была дыра (он рассказывает о том, как встретил в лесу трех рыжих улиток), была дыра, чтобы дышать, а у меня... нет такой дыры, и я должен дышать через горло.

А через несколько дней он повторяет опять, как что-то весьма важное:

У каждой улитки есть, кроме рта, на правом боку дыра, чтобы дышать, а у сына человеческого нет дыры на боку, и он дышит только через рот.

Конечно, это настойчивое возвращение к улиткам, это завистливое напоминание об их странном устройстве можно объяснить тем, что Толстой в то время уже тяжело болел астмой.

Но он ведь замечал не одних улиток. Вот он пишет ей еще через несколько дней:

Здесь очень много птиц, и они никого не боятся (письмо из Карлсбада от 22 июня 1863 года). Намедни я сидел во время дождя под навесом и пил кофе, а птица, одна маленькая и мокрая, прилетела и села передо мною на спинке стула. Я ей дал крошку, она взяла и села подле моей чашки и продолжала есть. Здесь есть тоже белки...

Мне хочется сейчас вернуться к самому началу их любви (когда она была еще будто бы любовью) —

к письму от 22 августа 1851 года из скромного именища А. К. Толстого — Пустынька.

Сейчас только вернулся из лесу, где искал и нашел много грибов. Мы раз как-то говорили о влиянии запахов и до какой степени они могут напомнить и восстанавить в памяти то, что было забыто уже много лет. Мне кажется, что лесные запахи обладают всего больше этим свойством. . . Вот сейчас, нюхая рыжик, я увидел перед собой, как в молнии, все мое детство во всех подробностях до семилетнего возраста.

Тогда, в 1851 году, у него не было астмы, и все же он, видимо, позавидовал бы улиткам, которые могут воспринимать запахи, воздух мира полнее, чем он, — всем телом.

С особой силой он испытал эту зависть, когда все исполнилось: он стал художником, она — его женой.

И возросла жажда еще большей полноты бытия, еще более полного переживания мира. Возрастание этой жажды — тоже странное качество любви. Оно, по-видимому, объяснимо тем, что когда двое становятся одной личностью, то эта одна личность, естественно, хочет ощущать, переживать, «вдыхать» мир в два раза полнее, и она готова даже завидовать улитке, у которой дыра в боку!

И оттого, что сейчас они — одно мыслящее, страдающее, чувствующее существо, разлука переживается особенно тяжело.

Когда я вижу, — пишет он, больной, стареющий, из Карлсбада, — что-нибудь хорошее, тотчас подумаю о тебе и ничем удивительным не могу наслаждаться без тебя.

И он наслаждается — не один! — с нею и тогда, когда незнакомая старая женщина в кафе дарит ему розу, и тогда, когда рассеивается утренний туман и горы выступают в чудесной отчетливости.

Все дышит здесь рыцарством и Западом,—делится он с ней впечатлениями о старинном замке. — А через коридор от меня есть комната, где нечистая сила и картина во весь рост одной ландграфини, про которую картину мне управляющий рассказывал сейчас страшную историю, с ним случившуюся, вследствие которой он много лет был охвачен тоской... А я опять пошел в страшную комнату и смотрел на ландграфиню. Она освещена месяцем... а быть там не страшно, и ничего не случилось... Мне давно хотелось быть в таком замке...

Но в этом замке он был не один. Была в нем и та, которую он любил. Он это понимал и не понимал в загадочной, заколдованной тиши рыцарской ночи. В комнате рядом со мной кто-то очень ясно ходит, и когда я туда войду со свечой — никого нет...

Это она ходила. Она была с ним повсюду. А началось это единение с чувства духовного материнства и духовного сыновства в любви. Материнство было и в чувстве Элоизы к Абеляру, а вот сыновства в его чувстве к ней не было... Она мечтала о нем как о высшей форме отношений между мужчиной и женщиной, что бы ни отдала она, чтобы он рассказывал ей как матери о том, что страшно и что не страшно!..

Когда я был такой, как на портрете, который ты смотрела, — писал Толстой 24 сентября 1867 года, — я был маленький, и мне взяли гувернера, и он со мной гулял в Веймарском парке с собакой, и он не позволял мне давать собаке нести палку — он говорил, что это не годится в парке герцога. И он мне объяснял историю Фауста, и он уверял, что когда Фауст возвратился домой с черной собакой, он ей говорил: «Пудель, зачем ты бормочешь? Пудель, не бормочи!» — и я наострял уши и слушал.

А через несколько дней он ей пишет, что видел, тоже

в старом замке, инструменты миннезингеров XII века:
Как бы тебе там понравилось и показалось бы уютно!

Он пишет ей о доме Гете, о старых городах и картинах, о живописных стариках, о собаках и о деревьях. . .

Он все острее и все больше воспринимал бесценные мимолетности жизни. Он видел мир в новых измерениях, переживал его историю, минувшие века как историю собственной жизни.

В письмах его нарастает новая тема: сыновности в мире — любви сына к бесценным дарам, которые он получает из материнских рук, — этим паркам, этим озерам, этим голубям, этим старинным улицам.

. . . Почти через сто лет письма А. К. Толстого к С. А. Толстой будет читать и перечитывать на чужбине, во Франции, Иван Алексеевич Бунин — русский художник, чувствовавший с остротой необыкновенной бесценность, телесно-духовную красоту мира. И он напишет женщине, которой был тогда увлечен, Марии Владимировне Карамзиной, о А. К. Толстом: *Совершенно удивительный был человек (и поэт конечно). Достаньте. . . и перечитайте.*

За год до этого в письме к ней же, цитируя ее стихи (она была поэтессой):

Светил и туч полночный бег,
Струй низвергающихся топот. . .
Душа — кочующий ковчег
В волнах любовного потопа. . .

он вдруг добавляет неожиданно: *А вот вам японские стихи — не дивитесь на такой дикий скачок в моей голове:*

Огонь под пеплом,
Дом под снегом.
Полночь.

Огонь под пеплом. . .

Вероятно, оттого, что письма Алексея Константиновича Толстого соединяются в моем воображении с письмами Бунина к Карамзиной, я думаю иногда, читая и перечитывая их, об Японии, в которой никогда не был, и о рисунках японских художников. . . Один из японских художников, чьи рисунки особенно много говорят моему сердцу, хотел в детстве покончить жизнь самоубийством и вдруг увидел, как заходит багрово-красное солнце и лучи его освещают холмы, и решил из жизни не уходить: разве можно расстаться с такой красотой! Он потом часто рисовал горы и землю в освещении этого багрово-красного солнца.

В мире есть нечто бесценное, мы порой не можем найти ему имени, но оно существует: и это вдруг открывается человеку, когда он хочет уйти из жизни или когда, соединившись с любимым существом, хочет жить, не умереть никогда.

Но вернемся к письмам Алексея Константиновича Толстого; все чаще повторяются в них два слова: «необыкновенно добрый». И хозяин гостиницы «необыкновенно добрый», и портной «необыкновенно добрый», и врач «необыкновенно добрый». Это любящее сердце видит в людях лучшее, что заложено в них. Это — доброта самой любви.

И все чаще повторяется в них слово «умер». Умерла женщина, которая некогда подарила ему розу в кафе. Умер швейцар в отеле, умер смотритель замка. . .

И мы тоже умрем, — пишет он ей из Дрездена 11 июля 1871 года, — и вот отчего мне так тяжело сокращать время, которое нам остается быть вместе.

А через несколько дней он пишет ей:

Если б у меня был бог знает какой литературный, и если б мне где-нибудь на площади поставили статую, все это не стоило бы четверти часа быть с тобой

и держать твою руку и видеть твое милое доброе лицо. Что было бы со мной, если бы ты умерла? А все-таки пусть лучше я после тебя умру, потому что я не хочу, чтобы тебе было тяжело после меня. И тяжело слушать музыку без тебя. . .

А ведь был в его жизни огромный литературный успех, его сопоставляли после постановки трагедии «Смерть Иоанна Грозного» и «Царь Федор Иоаннович» на русских и европейских сценах с Гете и даже с Шекспиром, и радовался он этому успеху и с нескрываемой гордостью писал ей о триумфах, а вот оказалось: нужно не это, а нужно «держать твою руку и видеть твое милое доброе лицо»!

Сама собой выстроилась иерархия — лестница ценностей.

А жить ему оставалось меньше четырех лет.

Я хочу рассказать о структуре, если можно употребить этот тяжелый научный термин, когда речь идет о письмах к любимой женщине, о структуре одного его письма к ней. Его мучила астма, врачи послали в Италию. . .

Вчера утром, когда пошел к Комо, я остановился в вилле Реймонди. Перед дворцом около большой дороги на лужайке стоит большой ясень, который я узнал и под которым прежде сидели аббаты. . . Жуковский. . . (я прерываю себя, чтобы сказать тебе, что подо мной, в нижнем этаже, поет женский голос, вероятно у окошка, и поет без аккомпанемента, что-то полунитальянское, полушвейцарское или немецкое, вроде Баха. . .). Я продолжаю: Жуковский¹ нарисовал ясень. . .

В этом письме замечательно не только то, что он говорит с ней, будто она стоит рядом, самое изумительное,

¹ Речь идет о художнике Павле Васильевиче Жуковском, сыне поэта Василия Андреевича Жуковского.

что она возвращает ему, тяжело страдающему астмой, ды х а н и е. «Жуковский...» — задыхаясь пишет он, и дальше идет на легком юном дыхании рассказ о женском голосе, поющем Баха.

Последнее письмо в жизни (А. М. и Е. А. Жемчужниковым ¹) он написал с ней в «четыре руки»: первую часть — она, вторую — он. Они написали его, как играют в четыре руки пьесу, которую иначе, двумя руками, сыграть нельзя.

Этой пьесой была их жизнь.

Они умерли? Я не рискну утверждать это.

В самом начале, в самом первом озарении любви — после того шумного бала, где он встретил ее «случайно, в тревогах мирской суеты», — он послал ей письмо-мечту:

... Видится деревня, слышится твой рояль и этот голос, от которого я сразу же вострепелся... Это твоё сердце поёт от счастья, мое его слушает.

Письмо это напоминает одну из последних страниц романа Булгакова «Мастер и Маргарита», ту, где рассказывается о том, как он и она, соединенные навсегда и перенесенные чудом в какую-то странную, сновиденческую местность, идут в блеске первых утренних лучей через каменистый, мшистый мостик.

«Слушай беззвучие, — говорила Маргарита Мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами, — и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, — тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград...»

Те, кто живут в этом вечном доме, будут вечно одарять нас мудростью.

¹ Ж е м ч у ж н и к о в Алексей Михайлович (1821—1908) — русский поэт. Вместе с А. К. Толстым участвовал в создании вымышленного образа Козьмы Прутков.

Вот уже двенадцать лет не дает мне покоя одна человеческая судьба — пишу письма тем, кто соприкасался с нею, роюсь в архивах, ищу, думаю и убеждаюсь опять и опять, что в нашем столетии, богатом удивительными судьбами, она стоит в ряду самых замечательных. Речь идет о поэтессе Елизавете Юрьевне Кузьминой-Караваевой, вошедшей в историю французского Сопrotивления и второй мировой войны под именем Матери Марии. О ее романтической довоенной жизни (я имею сейчас в виду первую мировую войну), о ее странном еретическом монашестве, о ее борьбе в антифашистском подполье, легендарной гибели в концлагере Равенсбрюк написаны на Западе монографии и исследования; велик перечень материалов и высказываний о Е. Ю. Кузьминой-Караваевой и в советской печати: первыми о ней рассказали в начале 60-х годов Л. Любимов, А. Твертинова, И. Эренбург, В. Сухомлин... Тогда же ей был посвящен «Никитинский субботник» (один из последних вечеров, посвященных выдающимся людям и событиям в летописи русской, советской культуры в доме покойной ныне писательницы Е. Ф. Никитиной), на котором выступили с воспоминаниями об Елизавете Юрьевне подруга ее петербургских гимназических лет Ю. Я. Машковская и сотоварищ по антифашистской борьбе в парижском подполье, бывший узник Бухенвальда И. А. Кривошеин.

Перед отъездом в Париж И. А. Кривошеин передал мне интересные, даже уникальные, публикации и рукописи о героическом участии русских людей во французском Сопrotивлении и материалы о Матери Марии, обогащающие понимание ее судьбы и духовного мира.

В этой судьбе, в этом мире огромное, исключительное место занимает Александр Блок.

В самой первой моей публикации о Матери Марии (в сентябре 1965 года) я рассказал о том, что это ей Блок посвятил стихи: «Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая. . .» Я получил, помню, немало писем и, пожалуй, самое взволнованное от народного артиста СССР И. С. Козловского, который с каким-то милым, юным удивлением перед жизнью и человеком сообщал, что теперь, когда он узнал о необычайной судьбе той, к кому обращался поэт в широко известных, любимых нами стихах, А. Блок стал ему еще ближе — если это только возможно! — и дороже.

Стихи эти действительно известны широко и любимы, и все же я сейчас попрошу читателя памятные строки перечитать опять, в надежде, что дальнейший мой рассказ осветит их по-новому:

Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите все о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите
И презираете свою красоту —
Что же? Разве я обижу вас?
О нет! Ведь я не насильник,
Не обманщик и не гордец,
Хотя много знаю,
Слишком много думаю с детства
И слишком занят собой.
Ведь я — сочинитель,
Человек, называющий все по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка.
Сколько ни говорите о печальном,
Сколько ни размышляйте о концах и началах,
Все же, я смею думать,
Что вам только пятнадцать лет.

И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные и нерифмованные
Речи о земле и о небе.

Право, я буду рад за вас,
Так как — только влюбленный
Имеет право на звание человека.

В 1936 году Елизавета Юрьевна опубликовала в Париже («Отечественные записки», № 62) воспоминания об Александре Блоке, она рассказала о том, как первый раз увидела, услышала его на литературном вечере в каком-то петербургском захудалом реальном училище, как он поразил ее — и лицом, далеким, безразличным, красивым, будто бы высеченным из камня, и стихами, в которых было много «тоски, безнадежности, много голосов страшного Петербурга, рыжий туман, городское удушье». Стихи эти стали с тех пор как бы ее собственными стихами, «они не вне меня, они поют во мне». Потом ей достали томик стихов А. Блока, и она поняла, что он единственный может ей помочь унять душевную смуту; она идет к нему домой, на Галерную, 41, не застает, идет во второй раз, опять не застает, не застает и в третий, но уже не уходит, а ждет его бесстрашно в маленькой комнате с огромным портретом Менделеева, с какими-то большими вещами, с образцовым порядком во всем, пустынным письменным столом; ей кажется, что она в жилище не поэта, а химика. Но вот появляется вернувшийся домой поэт «в черной широкой блузе, с отложным воротником. . . очень тихий, очень застенчивый», и она выкладывает одним махом о тоске, о бессмыслице жизни, о жажде подвига. «Он внимателен, почтителен и серьезен, он все понимает, совсем не по-

учает и, кажется, не замечает, что я не взрослая. . . » Сам Блок кажется ей страшно взрослым — «ему наверное лет двадцать пять». А она не вышла из гимназического возраста.

Ей было немногим больше пятнадцати — я напоминаю об этом, чтобы по достоинству были оценены следующие строки «Воспоминаний».

Мы долго говорим. За окном уже темно. Вырисовываются окна других квартир. Он не зажигает света. Мне хорошо, я дома, хотя многого не могу понять. Я чувствую, что около меня большой человек, что он мучается больше, чем я, что ему еще тоскливее, что бессмыслица не убита, не уничтожена. Меня поражает его особая внимательность, какая-то нежная бережность. Мне большого человека ужасно жалко. Я начинаю его осторожно утешать, утешая и себя.

Странное чувство. Уходя с Галерной, я оставила часть души там. Это не полудетская влюбленность. На сердце скорее материнская встревоженность и забота. А наряду с этим сердцу легко и радостно. Хорошо, когда в мире есть такая большая тоска, большая жизнь, большое внимание, большая обнаженная, зрячая душа.

Через неделю я получаю письмо, конверт необычный, ярко-синий. Почерк твердый, не очень крупный, но широкий, щедрый, широко расставлены строчки. В письме есть стихи: «Когда вы стоите на моем пути. . .»

По воспоминаниям Юлии Яковлевны Машковской, к сожалению не опубликованным, стихи эти Лизу обидели, рассердили настолько, что она надолго отошла от Блока. . . Почему? Что могло обидеть в них, чем они могли рассердить? Юлия Яковлевна объясняла это «поучающим тоном» стихотворения. Девочка, которая ощутила на сердце материнскую встревоженность и заботу, не хотела, чтобы к ней обращались, как к девочке. В это нетрудно поверить.

Но можно ли объяснить только «поучающим тоном» странную обиду и разрыв? Кузьмина-Караваева была человеком огромной, беспощадной, блоковской искренности, поэтому, не говоря о том, о чем она не хотела говорить, ибо особенно при ее жизни это была ее тайна, она не могла не обнаружить существование самой тайны. Но эта тайна жила как бы между строк в ее воспоминаниях о Блоке. . .

В 1910 году, уже будучи замужем, Елизавета Юрьевна познакомилась второй раз с Александром Блоком на вечере, посвященном памяти философа В. Соловьева в Тенишевском училище, во время антракта. Она познакомилась с ним второй раз при обстоятельствах естественных, и в то же время странных. Муж ее, хорошо известный в петербургском мире молодой юрист Д. В. Кузьмин-Караваев — эстет, постоянный посетитель «Башни» Вячеслава Иванова, видимо, чтобы доставить радость юной жене, вернувшись из курительной комнаты, позвал ее в фойе к А. А. и Л. Д. Блокам. Юная жена решительно отказалась. «Он был удивлен, начал настаивать». Она ни за что не соглашалась, муж ушел, она забилась куда-то в дальний угол, и тут он вернулся с Любовью Дмитриевной и Александром Александровичем Блоками. И она в первую же секунду поняла, что Блок ее узнал.

С той же одержимостью, с которой она раньше хотела его увидеть, теперь она не хотела его видеть. Почему? Неужели настолько обидел «поучающий тон» стихов?

Через несколько дней Кузьмины-Караваевы обедали у Блоков. После обеда говорили о детстве, о детской склонности к страшному и исключительному. «Он рассказывал, как обдумывал в детстве пьесу. Герой должен был покончить с собой. И он никак не мог остановиться на способе самоубийства. Наконец решил: герой садится на лампу и сгорает. Я в ответ рассказывала о чудови-

ше, существовавшем в моем детстве. Звали его Гумистерлап. Он по ночам вкатывался в мою комнату, круглый и мохнатый, и исчезал за занавеской окна».

Но несмотря на рассказы об исключительном и страшном и воспоминания о Гумистерлапе, это был обыкновенный обед, «не то, что первый раз, когда я с улицы, из петербургского тумана ворвалась к нему». Потом Блоки были у ее матери, на Малой Московской, и почему-то запомнилось на всю жизнь, до последнего часа, будто бы внешнее, несущественное, как мать показывала Любви Дмитриевне старинные кружева. . .

У них появились общие дома, масса людей, которые их как бы соединяли, «не хватало только одного и единственно нужного моста». Не найдя его, она уезжает на юг — бежит от «Башни» Вячеслава Иванова, от разговоров о литературе и искусстве, от мужа — к морю, к земле и возвращается в Петербург поздней осенью 1914 года (после начала первой мировой войны) к матери, которая осталась одна, возвращается с твердой, казалось бы, бесповоротной решимостью не видеть Блока. И в тот же день, не успев разобрать с дороги вещи, идет к нему; она идет к нему отчаянно, как шла в первый раз, и опять не застает его дома, и уходит в Исаакиевский собор, забивается в самый дальний угол, как некогда забивалась в самый дальний ряд зала Тенишевского училища, ждет вечера, опять к нему идет, и он говорит ей, что днем был дома, но хотел, чтобы они оба «как-то подготовились к встрече».

Начинается самая высокая пора их отношений, устанавливается «мост»; они сидят у него, иногда до утра, обыкновенно в самых дальних углах комнаты («он у стола, я на диване у двери») и говорят: о трагичности человеческих отношений, о стихах, о «доблести, о подвигах, о славе». . . И опять идут годы.

Когда Игорь Александрович Кривошеин познакомил

меня с воспоминаниями Кузьминой-Караваевой о Блоке (потом они были опубликованы в «Ученых записках Тартуского университета»), я задал ему вопрос: «Она его любила?» — «Конечно, — ответил И. А. Кривошеин несколько растерянно, — не меньше, наверное, чем Юру потом любила». (Юра Скобцов, сын Кузьминой-Караваевой, помогал ей в антифашистской борьбе, был арестован одновременно с нею в Париже, на улице Лурмель, 77, и погиб в Бухенвальде.) «Как Юру?» — переспросил я. «Да», — сухо ответил мне И. А. Кривошеин. А через несколько месяцев позвонил: «Я нашел в архиве Блока ее письма, почерк невозможный, расшифровывал все эти дни и ночи...»

Эти письма (фотокопию и «расшифровку») он и оставил мне, уезжая в Париж.

Первое письмо написано 24 апреля 1912 года из немецкого курортного города Наугейма.

Мне хочется написать Вам, что в Наугейме сейчас на каштанах цветы как свечи зажглись, что... воздух морем пахнет, что тишина здесь ни о жизни, ни о смерти не знает: даже больные в курзале забыли обо всем. Я сидела целый час на башне во Фридберге. Меня там запер садовник, чтобы я могла много рисовать. Мне кажется, что многое в Ваших стихах я люблю еще больше, чем раньше любила; думала об этом и смотрела с Иоганнисберга на город; на старое кладбище и буро-красные крыши около него, на парк и серые крыши вилл... Кажется, что тишина, как облако, неподвижна, и в мыслях моих неподвижными крыльями облако распласталось. И не верно, что этому концу будет. И усталость, которая была и которая есть, только радует, как радует туман иногда. Я думаю, что полюбила здесь, может быть, путь, что Вы нашли и полюбили, но во всяком случае

рада, что его полюбила и что могу Вам это написать. Если смогу, то хотела бы Вас порадовать, написав о том, что Вы здесь знаете; как оно живет и старится. Если смогу ответить, то спросите. На озере лебеди плавают. А на маленьком острове на яйцах белая птица сидит и при мне лебедят выведет. Мое окно выходит на Иоганнисберг, и по ночам там белые фонари горят, а внизу каштаны свечами мерцают. Я не верю, что в Петербурге нет каштанов, и красных крыш, и душевного, сырого воздуха, и серых дорожек, и белых с черными ветками яблонь. Тишина звенит; и покой, как колокол вечерний. В Фридберге, я знаю, был кто-то печальный и тихий и взбирался на башню, где всегда ветрено и где полосы озимей внизу дугами сплетаются.

Очень, очень хочу порадовать Вас, прислать Вам привет от того, что Вы любили. Не знаю, увижу ли это за тем, что уже увидала и полюбила. Если захотите спросить и поверите, что смогу дать ответ, напишите.

Наугейм, как известно, занимает в истории жизни Блока особое место, о чем он не раз говорил (в том числе и Елизавете Юрьевне в 1910 году); в соответствии с терминологией эпохи Блок определял это место, как «источник особых мистических переживаний». Но дело не только в мистике, которую Кузьмина-Караваева никогда не любила, а в том, что в этом городе поэт любил: отсюда он писал письма будущей жене, тут посвящал ей стихи. «Ей было пятнадцать лет, но по стуку сердца невестой быть мне могла. . .» Два раза в блоковских стихах возникает образ «пятнадцатилетней»: один раз Любови Менделеевой, второй — Лизы Пиленко (девичья фамилия Кузьминой-Караваевой). Не поехала ли она в Наугейм именно потому, что это был город стихов, мыслей и чувств Блока? . .

Второе письмо — из Москвы; Блок получил его 28 ноября 1913 года:

Я не знаю, как это случилось, что я пишу Вам. Все эти дни я думала о Вас и сегодня решила, что написать Вам необходимо. А отчего и для кого — не знаю. Мучает меня, что не найду я настоящих слов, но верю, что Вы должны понять.

Сначала вот что: когда я была у Вас еще девочкой, я поняла, что это навсегда... а потом жизнь пошла, как спираль... О себе не хочу писать, потому что не для себя пишу. Буду только собой объяснять. Кончался круг, и снова как-то странно возвращалась я к Вам. Ведь и в первый раз я не знала, зачем реально иду к Вам, и несла стихи как предлог, потому что боялась чего-то, что не может быть определено сознанием. Близким и недосягаемым Вы мне тогда стали. Только теперь я имею силы верить, что это Вам нужно. Пусть не я, но это неизбежно. В каждый круг вступая, думала о Вас и чувствовала, что моя тяжесть Вам нужна, и это была самая большая радость. А тяжести я ищу.

С мужем я разошлась, и было еще много тяжести, кроме этого. Иногда любовь к другим — большая, настоящая любовь, заграждала Вас, но все кончалось всегда, и всегда как-то не по-человечески, глупо кончалось, потому что — вот Вы есть. Когда я была в Наугейме, это был самый большой перелом, самая большая борьба, из чего я вышла с Вашим именем. А потом были годы совершенного одиночества. Дом в глуши, на берегу Черного моря (почти не хочется описывать, потому что знаю, что и так Вам не легко будет). И были Вы, Вы. Потом к земле как-то приблизилась; и снова человека полюбила, и полюбила, полюбила по-настоящему, — а полюбила, потому что знала, что Вы есть. И теперь месяц тому назад у меня дочь родилась, — ее назвала Гаяна — земная, и я радуюсь ей, потому что — никому неизвестно —

это Вам нужно. Я с ней вдвоем сейчас в Москве, а потом буду с ее отцом жить, а что дальше будет — не знаю, но чувствую — и не могу обольщаться, что это путь какой-то, предназначенный мне, неизбежный; и для Вас все это нужно. Забыть о Вас я не могу, потому что слишком хорошо чувствую, что я только точка приложения силы, для Вас вошедшей в круг жизни. А я сама — ни при чем тут.

Она пишет ему:

Вы больше человека и больше поэта.

Боюсь я, что письмо до Вас не дойдет и потому, что адреса я Вашего не знаю; вот уже два года, как узнать его мне не от кого; но почему-то кажется мне, что я верный адрес пишу. Слишком было бы нелепо и глупо, если бы письмо пропало. Хотя, может быть, время еще не пришло: и не исполнилась мера радости страданий. Ведь Вы все это знаете? Всякие пояснения были бы слабой верой.

Если же Вы не хотите понять этого, то у меня к Вам просьба: напишите хоть только, что письмо дошло. Я буду знать, что не от случая все осталось без изменения, а оттого, что мало муки моей, которая была, что надо еще многие круги спирали пройти, может быть, до старости, до смерти даже. Во всяком случае я почувствую, где бы я ни была, что Вам все это нужно стало. Хорошо, что — самой близкой — Вы вечно далекий — и так всегда.

Елиз. Кузьмина-Караваева.

Если бы я, я человечески осмелилась, я бы издала 2-ю книжку, чтобы взять к ней эпиграфом: «Каждую душу разбил пополам и поставил двойные законы».

Пошлю письмо и буду каждый час считать, ожидая Вашего ответа, что Вы его получили.

Блок ей ответил письмом от 1 декабря 1913 года, которое было опубликовано в 1962 году в «Ученых записках Тартуского университета», а затем вошло в его собрание сочинений.

Елизавета Юрьевна, я хотел бы написать Вам не только то, что получил Ваше письмо. Я верю ему, благодарю Вас и целую Ваши руки. Других слов у меня нет, а может быть, не будет долго...

Третье письмо Е. Ю. Кузьминой-Караваевой А. Блоку от 19 января 1914 года. Читая его, думаешь о том, что она опять «забилась», как некогда, в дальний угол зала и в темноту Исаакиевского собора. Это самое холодное и деловое (а точнее, единственное деловое и сухое из ее писем к Блоку): она хочет узнать суждение Блока о рукописи второй книги ее стихов (первая к тому времени уже вышла, и Блоку не понравилась), и лишь в конце подчеркнуто: «я много думаю о Вас».

15 февраля 1914 года она пишет ему опять:

Уже давно хотела написать Вам, чтобы поблагодарить за просмотр стихов; но все это время моя дочь была при смерти больна.

Прежде чем писать о чем-либо другом, хочу сказать Вам, что мои письма к Вам, — вот уже третье — каждый раз неожиданны для меня; каждый раз я думаю, что пишу Вам последнее письмо или, вернее, последнее сейчас, потому что совершенно ясно знаю, что когда-нибудь, через долгий промежуток, будут новые письма к Вам.

Я читала Ваши заметки на полях рукописи, и за ясными и определенными словами, почти всегда техническими, я узнавала то, что заставило меня написать Вам тогда, осенью, что заставит еще много раз, почти всегда, думать о Вас.

И еще вот о чем хотела написать Вам: самое радостное состояние — одиночество; но одиночество, когда нет никаких привязанностей, когда осознаешь его только в ми-

нуты спокойного рассужденья; и есть другое одиночество, неправильно так названное: с первой привязанностью к кому-нибудь мир как-то пустеет, и одиночество становится мучительным. Хорошо сознавать — человек любит, чувствовать его, не боясь потери, чтобы потеря была невозможной. И поэтому, когда я мучаюсь тем, что кто-нибудь забыл или забыт мною, или когда радуюсь чувству, которое неизбежно завтра исчезнет, — мне хорошо думать, что нет в жизни ничего, что бы могло удалить или изменить для меня Вас. Вы знаете, я бы не могла и Гаяну свою любить, если бы не знала, что Вы вечны для меня. И так же твердо знаю, что это Вам необходимо. . .

У меня сейчас опять — всю эту зиму — перепутье. Поэтому мне необходимо, исключительно для себя, издать книгу, попытаюсь переработать ее соответственно Вашим указаниям и издам.

Вот и теперь я опять уверена, что это последнее на долгое время письмо к Вам. И ответа опять ждать не буду. Весной уеду, буду жить чужой жизнью, говорить о революции, о терроре, об охоте, о воспитании детей, о моей любви к тому человеку, куда я уеду, — и думать о Вас. И так будет долго, долго.

И действительно, она долго ему не писала; она ему не писала, пока была далеко; и написала, вернувшись в Петербург, живя в одном городе с ним, после какого-то тяжелого для нее разговора по телефону, когда ей показалось, что Блок в чем-то не верит ей. (Судя по дневникам и записным книжкам А. Блока, он тогда, в конце 1914 года, говорил с ней по телефону нередко.) Это самое трогательное из ее писем. Ее родные «шутки ради» захотели узнать, с кем она говорит по телефону. . . огорчилась я потому, что у меня слишком бережливое отношение к нашему; много нежности и поэтому застенчивости (даже не перед Вами, перед собою, скорее).

Мне и хорошо — очень хорошо — и тяжело. Как смешно быть одновременно уверенной и сомневаться в пустяках.

Я очень хочу Вас видеть, но это не значит, что это нужно, потому что теперь так выходит, что я буду хотеть Вас видеть и сегодня, и завтра, и уезжая от Вас, и не видя несколько лет. Но это тоже хорошо, потому что является доказательством уверенности, что все идет, как необходимо, и все верно — никакой лжи нет. Вы с этим моим желанием не считайтесь никогда.

В субботу позвоню.

Весной 1916 года она второй раз бежит к «мору, земле» и пишет ему из поселка Дженет под Анапой 10 июля:

Когда я думаю о Вас, всегда чувствую, что придет время, когда мне надо будет очень точно сказать, чего я хочу. Еще весной Вам казалось, что у меня есть только какая-то неопределенная вера. Я все время проверяла себя, свои знания и отношения к Вам и — не додумалась, а формулировала только. И хотела бы, чтобы это было Вам приятно. Если я люблю Ваши стихи, если я люблю Вас, если мне хочется Вас часто видеть, то ведь это все не главное, не то, что заставляет меня верить в нашу связанность. И Вы знаете тоже, что это не связывает «навсегда». Ничего не разрушая и не меняя обычной жизни, существует посвященность, которую в Вас я почувствовала в первый раз... Я Вам лучше так расскажу: есть в Малой Азии белый дом на холмах. Он раскинут, и живущие в нем редко встречаются в коридорах и во дворе. И там живет женщина, уже не молодая, и старый монах. Часто эта женщина уезжает и возвращается назад не одна: она привозит с собой указанных ей, чтобы они могли почувствовать тишину, видеть пустынных. В белом доме они получают всю силу всех:

и потом возвращаются к старой жизни, чтобы приобщить к своей силе и других людей. И все это больше любви, больше семьи, потому что связывает и не забывается никогда. Я знаю, что Вы будете в доме; я верю, что Вы этого захотите.

Милый Александр Александрович. Вся моя нежность к Вам, все то большее и торжественное чувство — все указание на какое-то родство, единство источника, дома белого. И теперь, когда Вам придется идти на войну. . .

Блок ответил несколькими строками. Это его последнее письмо к ней:

Я теперь табельщик 13-й дружины Земско-Городского союза. На войне оказалось только скучно. О Георгии и Надежде, — скоро кончится их искание. Какой ад напряженья. А ваша любовь, которая уже не ищет мне новых царств. Александр Блок.

Эти несколько строк ее потрясли.

Мой дорогой, любимый мой, после Вашего письма я не знаю, живу ли я отдельной жизнью, или все, что «я», это в Вас уходит. Все силы, которые есть в моем духе: воля, чувство, разум, все желанья, все мысли — все преображено воедино, и все к Вам направлено. Мне кажется, что я могла бы воскресить Вас, если бы Вы умерли, всю свою жизнь в Вас перелить легко. Любовь Лизы не ищет царств! Любовь Лизы их создает и создаст реальные царства, даже если вся земля разделена на куски и нет на ней места новому царству. Я не знаю, кто Вы мне: сын ли мой, или жених, или все, что я вижу, и слышу, и ощущаю. Вы — это то, что исчерпывает меня, будто земля новая, невидимая, исчерпывающая нашу землю. . . И я хочу, чтобы Вы знали: землю буду рыть для Вас. . . И Вы не заблудитесь, потому что я все время слежу за Вашей дорогой, потому что по руслу моему дойду до Вашего русла. . . если Вам станет не-

стерпимо, — напишите мне: все что дано мне, Вам отдам.

Мне хочется благославить Вас, на руках унести, потому что я не знаю, какие пути даны моей любви, в какие формы облечь ее.

Я буду Вам писать часто: может быть, хоть изредка Вам это будет нужно.

Вот пишу, и кажется, что слова звучат только около. А если бы я сейчас увидела Вас, то разревелась бы и стала бы Вам головку гладить, и Вы бы все поняли по-настоящему и могли бы взять мое с радостью и без гордости, как предназначенное Вам.

Поймите, что я давно жду Вас, что я всегда готова, всегда, всегда, и минуты нет такой, чтобы я о Вас не думала.

Господь Вас храни, родной мой. Примите меня к себе, потому что это будет только исполнение того, что мы оба давно знали.

Е л и з. Ку з ь м и н а - К а р а в а е в а.

Я чуть было не решила сейчас уехать из Дженета разыскивать Вас. И не решилась только потому, что не знаю, — надо ли Вам. Когда будет нужно, — напишите.

И через шесть дней:

Вы уже наверно получили мой ответ на Ваше письмо. Пишу я Вам опять, потому что мне кажется, что теперь надо Вам писать так часто, как только возможно. Все эти дни мне как-то смутно; и не боюсь за Вас, а все же тоскливо, когда о Вас начинаю думать...

Начинается скоро самая рабочая моя пора: виноделие, а потом будет, как всегда, тишина; все разведутся, и я одна буду скитаться по Дженету...

Мне никогда ни к кому не стать так близко, как к Вам. Будто мы все время в одной комнате живем, будто меня по отдельности нет...

Только одного хочу; Вы должны вспомнить, когда это будет нужно, обо мне; прямо займы взять мою душу. Ведь я же все время, все время около Вас. Не знаю, как сказать это ясно; когда я носила мою дочь, я ее меньше чувствовала, чем Вас в моем духе.

А через месяц — 27 августа 1916 года:

Я, наверное, останусь всю зиму в Анапе; только в октябре поеду одна в Кисловодск подправить сердце. . . Буду скитаться и думать, думать. Все постараюсь распутать и выяснить. . .

А Вы так далеко: как-то особенно это чувствуется, когда неизвестно, где именно Вы сейчас. Будто на другую планету пишу письма. Но все равно; ничего этим не меняется. Ведь сейчас будни. И так трудно говорить о том, что праздник будет, особенно говорить Вам: Вы ведь сами знаете о празднике, и у Вас будни.

Я сучусь, сучусь днями, будто так должна проходить каждая жизнь. Но это все нарочно. И виноделие мое сейчас, где я занята с 6 утра до часа ночи, — все нарочно. И все это более призрачно, чем самый забытый сон. Вот и людей много, и команду что-то нелепое; а знаю твердо, что на всей земле только Вы и дочь настоящего. И когда теряю нить настоящего, внутреннего знания, то становится непонятно, что будет дальше, как сможет все быть на фоне вот этой жизни. И только и в такие минуты помню, что все это неизменно и что нет ничего такого в призрачном, чего не было бы с Вами связано. Будто каждый шаг для Вас делается.

Хотелось бы много говорить сейчас о Вас, смотреть на Вас. Мой милый, мой любимый, как Вам сейчас? И скоро ли кончится этот дурной сон? Ведь все время чувствую я, что Вам какие-то бездны мерещатся. И если бы это были не Вы, я бы боялась и думала, что скоро конец. Когда я была этой зимой у Вас, мне одну минуту было очень жутко, потому что Вы будто призраками

окружены, по-человечески, может быть, даже по-женски, я думала в ту минуту, что от Вас мне отойти нельзя, что призраки от моей любви к Вам все уйдут. Но знаю, что это не так: Вы сами должны их разогнать, потому что иначе они уйдут, но вернуться и не будут обессилены. Значит, мне надо опять ждать. И как мучительно ждать, когда хочется помочь, и кажется, что помочь можно. А когда настанет время, Вы мне скажете.

Будто бы каждый шаг для вас делается.

Солнца много сейчас у нас, — писала она ему из Анапы 14 октября 1916 года. — Но ни к чему это. Вот и брожу, брожу, будто запрягли меня и погоняют.

Милый Вы мой, такой желанный мой, ведь Вы даже, может быть, не станете читать всего этого. А я так хочу Вас, так изголодалась о Вас. Вот видеть, какой Вы, хочу; и голос Ваш слышать хочу, и смотреть, как Вы нелепо как-то улыбаетесь. Поняли? Даже, пожалуй, я рада, что Вы мне не поверите, что бы я ни писала: все кажется, что, значит, Вам хоть немного нужны мои письма. Все как-то перегорает, все само в себе мешается. И у меня к Вам много изменилось: нет больше по отношению к Вам экзальтации какой-то, как раньше, а ровно все и крепко и ненарушимо — проще, может быть, стало. Любимый, любимый, Вы мой; крепче всякой случайности и радости, и тоски крепче. И Вы самая моя большая радость, и тоскую о Вас, и хочу Вас, все дни хочу. Где Вы теперь? Какой Вы теперь?

Он больше ей не пишет. . .

А она в новом письме от 5 ноября рассказывает ему о большой осенней тишине на берегу моря, о том, что в жизни возможно сочетание ясности и трудности, уверенности и тоски; о том, что в начале дней каждому дана непогрешимость, «ибо, где нет моей воли, где я знаю: так надо, выполняя чужую волю», там существует высшая сила, освещающая человека без его ведома; потом

с течением лет надо эту высшую силу найти в себе и достигнуть осознанной непогрешимости. Человек понимает, он отвечает за все в мире.

В этом письме она будто бы развивает, углубляет мысли, берущие начало в их полусерьезной, послеобеденной петербургской беседе о детстве в доме Блоков в 1910 году. Она будто хочет «детскость» Блока (в более раннем письме она назвала ее резче и загадочнее: «нерожденностью»), эту улавливаемую духовным материнством, естественным у любящей женщины, «невоплощенность — незащищенность» обратить в высокую, ничем неодолимую силу. . .

22 ноября она опять пишет ему об осенней тишине; но наряду с тишиной идут какие-то нелепые дела: закладываю имение, покупаю мельницу и кручусь, кручусь без конца. Всего нелепее, что вся эта чепуха называется словом «жить». А на самом деле жизнь идет совсем в другой плоскости и не нуждается во всей суете. В ней все тихо и торжественно.

Как с каждым днем перестаешь жалеть. Уже ничего, ничего не жаль; даже не жаль того, что не исполнилось, обмануло. Важен только попутный ветер; и его много. . .

Не могу Вам сейчас писать (хотя хочу очень), потому что ничего не выговаривается.

Е. К-К.

Последнее письмо она написала ему из Петербурга (это второе «местное» письмо ее к нему) 4 мая 1917 года.

Дорогой Александр Александрович, теперь я скоро уезжаю, и мне хотелось бы Вам перед отъездом сказать вот что: я знаю, что Вам скверно сейчас; но если бы Вам даже казалось, что это гибель, а передо мной был бы открыт любой другой самый широкий путь, — всякий, всякий, — я бы все же с радостью свернула с него, если бы Вы этого захотели, зачем — не знаю. Может быть, просто всю жизнь около Вас просидеть.

Мне грустно, что я Вас не видела сейчас: ведь опять уеду и не знаю, когда вернусь.

Она опять уехала на юг и уже не вернулась никогда...

Излагать подробно дальнейшую судьбу этой женщины, о которой написаны сегодня монографии и романы, я не буду. Остановлюсь лишь на том, что имеет отношение к Блоку. О кончине его она узнала в Югославии, где тяжело бедствовала с матерью, с детьми и вторым мужем. По воспоминаниям матери Софьи Борисовны Пиленко, горе ее было беспредельным.

При жизни великого поэта его судьба была ее судьбой; дальше ее собственная судьба становится частью посмертной судьбы Блока.

После окончания второй мировой войны на вечере, посвященном памяти Матери Марии в Париже, литературовед К. В. Мочульский рассказывал:

«1933 год... Поздно вечером идем с Матерью Марией к Дворцу Инвалидов, через эспланаду до Сены. Лунная ночь. Весна. Теплый ветер. Мать Мария говорит: «Когда я была девочкой, я убежала из дому и долго, до поздней ночи, бродила над морем. У нас в Анапе высокие откосы, густая трава, внизу скалы и прибой. Вы знаете наше Черноморское побережье? Как я его люблю! Осенью задует норд-ост, рвет волосы, свистит в ушах. Хорошо! Я и теперь больше всего люблю ветер. Помните у Блока:

Ветер, ветер
На всем божьем свете...»

... Мать Мария собирается снять дом в 48 комнат». И она действительно его сняла — на улице Лурмель, 77.

Когда я был в Париже, то с горечью увидел, что се-

годня этого дома нет; неужели он настолько одряхлел, что его надо было разрушить и поставить эту уродливую коробку с уныло сияющими витринами хозяйственных магазинов?

В этом доме в довоенные годы, собрав по Парижу деньги, она устроила убежище для сотен голодных, бездомных, туберкулезных... Она их кормила, одевала, лечила, устраивала на работу.

Это была странная монахиня, постоянно конфликтующая с официальной церковью. Она умела столярничать, плотничать, малярничать, шить, вышивать, писать иконы, мыть полы, стучать на машинке, стряпать, набивать тюфяки, доить коров, полоть огород. Она любила физический труд, ей были неприятны белоручки, она ненавидела комфорт — материальный и духовный, — могла по суткам не есть, не спать, отрицала усталость, любила опасность. Она вела жизнь не только суровую, но и деятельную: объезжала больницы, тюрьмы, сумасшедшие дома. Она сама мыла полы, красила стены на улице Лурмель, 77... И ей казалось, что и этого мало, что она должна отдавать себя людям еще больше, еще полнее... И только одна была у нее слабость — стихи: она писала их сама, читала часто Блока. «... Я всех забыл, кого любил, я сердце вьюгой закрутил».

Она ничего не забыла и, может быть, так мало спала потому, что много думала о России. А судьба била эту женщину безжалостно. Летом 1935 года ее дочь Гаяна, убежденная коммунистка, не мыслившая себе жизни без России, вернулась на Родину; в этом ей помог Алексей Толстой, который в том году был в Париже на I Международном конгрессе писателей в защиту культуры. В Москве Гаяна умерла от дизентерии, меньше чем через два года.

Из воспоминаний К. В. Мочульского:

«1940-й год. 10 мая.

Немцы вторгаются в Бельгию и Голландию.

21 мая. Мать Мария спокойна: «Если немцы возьмут Париж, я останусь с моими несчастными. Куда мне их девать? А потом буду идти на Восток, пешком, с эшелонами, куда-нибудь. Уверяю вас, что мне лучше погибнуть в России, чем остаться в покоренном Париже. Я люблю Россию...»

«...При первой возможности поеду в Россию, куда-нибудь на Волгу или в Сибирь. В Москве мне нужно пробывать только один день, пойти на кладбище, на могилу Гаяны. А потом где-нибудь в Сибири буду странствовать среди простых русских людей».

Конец августа. Мать Мария кормит голодающих, ездит на рынок и таскает на плечах тяжелые мешки с овощами. Рукав пыльной рясы разорван. На ногах стоптанные мужские башмаки...

Столовая на Лурмель объявлена муниципальной. В сарае Мать Мария устроила дешевый рынок. На заседаниях разговоры о ценах, запасах, картошке и капусте: «Будет голод, нужно спасать погибающих».

После нападения Гитлера на Советский Союз немецкая полиция арестовывает в Париже около тысячи эмигрантов из России и заключает их в лагерь в Компьене.

Лурмельский комитет становится важным центром антифашистской деятельности: он передает посылки, деньги, подложные документы заключенным, ловит по радио и распространяет советские новости.

В доме на Лурмель, 77, скрываются коммунисты, русские, евреи. В 1942 году в нем жили двое бежавших из плена советских солдат. Душой Лурмельского комитета была Мать Мария. В 1942 году она пишет драму «Солдаты», героями которой были коммунисты.

И все время рядом с ней Блок... Огромный архив Елизаветы Юрьевны, который берегла ее мать, умершая после войны в столетнем возрасте, до сих пор до конца

не разобран. Но то, что удалось разобрать, говорит о постоянном обращении Кузьминой-Караваевой к Блоку, к его духовному миру, к его стихам, к тем мыслям, к тем состояниям души, которые рождались у нее при общении с великим поэтом.

Об этом же говорят и ее дела.

В ночь с 15 на 16 июня 1942 года в Париже начались массовые аресты евреев; около семи тысяч человек, в том числе и более четырех тысяч детей, было согнано на зимний велодром. Судьбу этих четырех тысяч (точно их было 4051) английский историк Джеральд Рейтлингер назвал «одним из самых потрясающих событий второй мировой войны». В этом событии Мать Мария сыграла исключительную роль.

Охраняли велодром немецкие солдаты и французские полицейские. Мать Мария, улучив минуту, когда у ворот остались только французы, высоко подняв голову в черном апостольнике, подошла. «Там уже есть кому молиться с ними и за них», — остановил ее французский полицейский. «Еще одна молитва не может быть лишней», — твердо ответила она и посмотрела ему в лицо. — «Вам не стыдно?» — «Это их спектакль. . .» — показал полицейский на выходящих из-за угла немецких солдат. «Отвечаем за все», — отрезала она и, отстранив его, вошла в велодром. В этом аду (один водопроводный кран, десять уборных и два врача на семь тысяч человек) она оставалась четверо суток, не сомкнув глаз, и совершила, казалось бы, невозможное: тайно договорилась с шоферами-французами, которые вывозили отсюда мусор, передала им записку с адресом ее дома на Лурмель. В узкие, высокие урны для мусора, которые стояли у стен велодрома, она опускала детей, мусорщики грузили их в машины. . . А через три года, когда освобождение было уже близко, Мать Мария в женском лагере Равенсбрюк пошла, как утверждают, в газовую камеру вместо

отобранной фашистами советской девушки, обменявшись с ней курткой и номером.

Последнее утверждение не бесспорно: не найдено ни одного очевидца тех трагических минут. Может быть, мы имеем дело с легендой. Но человек, заслуживший такую легенду, бесспорно легендарен.

Вот что рассказывает о Матери Марии С. Носович, активная участница французского Сопротивления, узница лагеря Равенсбрюк, награжденная по возвращении в Париж военными орденами:

«В ноябре 1944 года случайно узнала, что Мать Мария находится в лагере Равенсбрюк, где я сама была уже несколько месяцев. Как-то одна француженка-коммунистка, которую я знала задолго до войны, сказала мне: «Повидай Мать Марию — это необыкновенная женщина!» То же мне сказала и одна русская советская пленная, ветеринар по профессии: «Пойдите познакомьтесь с Матерью Марией, есть у нее чему поучиться...» Она близко сошлась со многими советскими девушками и женщинами, бывшими в лагере, и всегда говорила о том, что ее заветная мечта — поехать в Россию, чтобы работать там не словом, а делом... Часто матушка радостно говорила о русской молодежи, ищущей знаний, любящей труд, полной жертвенности для блага будущих поколений. Как-то на переключке она заговорила с одной советской девушкой и не заметила подошедшей к ней женщины СС. Та грубо окликнула ее и стегнула со всей силой ремнем по лицу. Матушка, будто не замечая этого, спокойно закончила начатую по-русски фразу. Взбешенная эсэсовка набросилась на нее и сыпала удары ремнем по лицу, а та ее даже взглядом не удостоила».

Этот эпизод перекликается со стихами молодой поэтессы Кузьминой-Караваевой из ее первой книги «Скифские черепки», которая не понравилась Блоку:

Ну, что же? Глумитесь над непосильной задачей
И веруйте в силу бичей,
Но сколько ни стали б вы слушать ночей,
Не выдам себя я ни стоном, ни плачем.

Вот что написала мне одна из тех, что была с ней
в концлагере:

«Мать Мария поступила в Равенсбрюк, где находилась и я, парижским транспортом; в тот период мы много раз пытались перевести наши песни на французский язык, чтобы заключенные из Франции могли петь их с нами. Этим занималась Софья Бергольц, она живет сейчас в Париже. Переводы у нее были точные, но рифма отсутствовала. И тогда «маленькая Симон», тоже французженка, сказала мне, что в 21-м блоке есть монахиня среди французенок, которая хорошо говорит по-русски и складывает стихи. Вместе с Симон мы пошли к Матери Марии. Она действительно охотно перевела на французский язык наши песни «Тишину» и «Катюшу». Переводы песен у Матери Марии были очень удачными, и французенки вместе с нами могли петь эти песни. Что еще можно добавить о ней в ответ на Ваше письмо? Она была очень доброй, ухаживала за больными, делилась скудным пайком со слабыми. Она иногда читала стихи и собственные, и Александра Блока...»

На одном из вечеров, посвященных ее памяти (Лондон, Пушкинский клуб, 1962), близкий друг Матери Марии рассказывал о сне, который он накануне этого вечера увидел. Мать Мария идет неспешно по полю пшеницы и в ответ на изумленное восклицание: «Но Вы же умерли!» — отвечает, лукаво улыбаясь: «Мало ли что говорят люди. Болтают. Как видите, я живая».

И это возвращает нас к первой строке стихов Блока:
«Когда вы стоите на моем пути, такая живая...»

Как они любят

**ГОГОЛЬ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ — НЕВЕСТЕ
МАРИИ ИВАНОВНЕ ¹**

Милая Машенька! Многие препятствия лишили меня счастья сей день быть у вас! Слабость моего здоровья наводит страшное воображение, и лютое отчаяние терзает мое сердце. Прощайте, наилучший на свете друг! Прошу вас быть здоровой и не беспокойтесь обо мне. Уверю вас, что никого в свете и не может столь сильно любить, сколько любит вас и почитает ваш вечно вернейший друг, несчастный Василий. . . Прошу вас, не показывайте сего несчастного выражения страсти родителям вашим. И сам не знаю, как пишу.

¹ Гоголь Василий Афанасьевич (1777—1825) — отец великого писателя, автор двух шуточных комедий, писал это письмо своей невесте Марии Ивановне в то время, когда родители ее не срглашались на брак с В. А. Эта чета, отношения которой отличались сердечностью и нежностью, впоследствии послужила, вероятно, прототипом «Старосветских помещиков» их гениальному сыну.

В. А. ЖУКОВСКИЙ ¹—
М. П. ПРОТАСОВОЙ

Весною 1815 г. в Муратове

Милая Маша, нам надобно объяснить-ся. Как прежде от тебя одной я требовал и утешения, и твердости, так и теперь требую твердости в добре. Нам надобно знать и исполнить то, на что мы решились. Дело идет не о том только, чтобы быть вместе, но и о том, чтобы этого стоить. Следовательно, не по одной наружности исполнять данное слово, а в сердце быть ему верными. Как прежде ты давала мне одним словом и бодрость и подпору; так и теперь ты же мне дашь и всю нужную мне добродетель. Чего я желал? Быть счастливым с тобою! Из этого теперь должен выбросить только одно слово, чтобы все заменить. Пусть буду счастлив тобою! Право, для меня все равно твое счастье или наше счастье. Поставь себе за правило все ограничить одной собою, поверь, что будешь тог-



В. А. ЖУКОВСКИЙ

¹ Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) писал эти письма, страстно влюбленный в свою ученицу и племянницу, дочь его сестры. Мать ее не согласилась на этот брак, считая родство слишком близким, и М. П. Протасова вышла замуж и умерла, не успев забыть милого ей поэта. Жуковский же всю жизнь хранил о ней память, воспевая свое чувство в нежных и меланхолических стихах: «Голос с того света», «Утешение в слезах», «К Нине» и др. Только около шестидесяти лет решился он жениться в Германии на восемнадцатилетней дочери своего старого друга полковника Рейтерна.

да все делать и для меня. Моя привязанность к тебе теперь точно без примеси собственного, и от этого она живее и лучше. Думай беззаботно о себе, все делай для себя — чего для меня более? Я буду знать, что я участник в этом милом счастье! Как жизнь будет для меня дорога! Между тем я имею собственную цель — работа для пользы и славы! Но легко ли будет работать? Все пойдет из сердца и все будет понятно для добрых! Напиши об этом твои мысли — я уверен, что они и возыссят, и утвердят все мои чувства и намерения.

В. Ф. РАЕВСКИЙ¹ — НЕИЗВЕСТНОЙ

28 октября

Сколько времени протекло моей разлуки с тобою! При всех переменах моего положения я остался одинаков в чувствах моей любви! Где ты и что с тобою? Я не знаю, но мрачное предчувствие или тихое удовольствие (если можно назвать успокоение души) дают мне сочувствовать и знать твоё состояние, перемены, тебе определенные. Самое сновидение, его таинственная связь или показатель бессмертия живо означает мне твои слезы или твой покой. Так суеверие есть необходимость чувственной любви, основанной на взаимности!.. Прочь призраки одной мечтательной совершенности и нравственного! Сила сладострастия пробуждает нравственные наслаж-

¹ Раевский Владимир Федосеевич (1795—1872) — один из замечательных людей первых десятилетий XIX века, близкий А. С. Пушкину и декабристам. Будучи офицером, отстаивал гуманное обращение с солдатами, боролся с телесными наказаниями, устраивал школы, в которых воспитывал солдат. В 1822 году был заключен в Тираспольскую, а затем в Петропавловскую крепость. Известен под именем «первый декабрист».

дения: свидание, приветливость, уверенность в любви взаимной, надежда, ревность, мечтательное совершенство моего предмета, суть разнообразные свойства, волнующие душу, и, следственно, живущие в сфере идеального, неразлучного с чувствами!

Единообразная картина здешней страны еще более усиливает во мне желание скорее обнять тебя, милая Гаша. О, да сохранит тебя Небо от всяких скорбей, и да будет с тобою чистая надежда и уверенность в моей любви и неизменной верности.



В. Ф. РАЕВСКИЙ

АЛЕКСАНДРА МУРАВЬЕВА — НИКИТЕ МУРАВЬЕВУ ¹

Мой добрый друг, мой ангел, когда я писала тебе в первый раз, твоя мать не передала еще мне твое письмо, оно было для меня ударом грома! Ты преступник! Ты виновный! Это не уместается в моей бедной голове. . . Ты просишь у меня прощения. Не говори со мной так, тырываешь мне сердце. Мне нечего тебе прощать. В течение почти трех лет,

¹ В конце 1825 года из одиночной камеры Петропавловской крепости декабрист Никита Муравьев пишет жене покаянное письмо: он молит ее о прощении за все горе, которое ей причинил его арест. Выше публикуется ответ Александры мужу. Потом, как известно, она последовала за ним в Сибирь.

что я замужем, я не жила в этом мире — я была в раю. Счастье не может быть вечным. . . Не предавайся отчаянию, это слабость, не достойная тебя. Не бойся за меня, я все вынесла. Ты упрекаешь себя за то, что сделал меня кем-то вроде соучастницы такого преступника, как ты. . . Я самая счастливая из женщин. . .

Письмо, которое ты мне написал, показывает все величие твоей души. Ты грешишь, полагая, что все мои тебя проклинают. Ты знаешь безграничную привязанность к тебе. Если бы ты видел печаль бедной парализованной мамы! Последнее слово, которое я от нее услышала, было твое имя. Ты говоришь, что у тебя никого в мире нет, кроме матери и меня. А двое и даже скоро трое твоих детей — зачем их забывать? Нужно себя беречь для них больше, чем для меня. Ты способен учить их, твоя жизнь будет им большим примером, это им будет полезно и помешает впасть в твои ошибки. Не теряй мужества, может быть, ты еще сможешь быть полезен своему государю и исправишь прошлое. Что касается меня, мой добрый друг, единственное, о чем я тебя умоляю именем любви, которую ты всегда проявлял ко мне, береги свое здоровье. . .

А. С. ГРИБОЕДОВ — ЖЕНЕ

Казбин, 24-го декабря. Сочельник, 1828 г.

Душенька. Завтра мы отправляемся в Тейран, до которого отсюда четыре дня езды. Вчера я к тебе писал с нашим одним подданным, но потом расчел, что он не доедет до тебя прежде двенадцати дней, так же к М-те Macdonald, вы вместе получите мои конверты. Бесценный друг мой, жаль мне тебя, грустно без тебя как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит

любить. Прежде расставался со многими, к которым тоже крепко был привязан, но день, два, неделя, и тоска исчезала, теперь чем далее от тебя, тем хуже. Потерпим еще несколько, Ангел мой, и будем молиться богу, чтобы нам после того никогда более не разлучаться.

Пленные здесь меня с ума свели. Одних не выдают, другие сами не хотят возвратиться. Для них и здесь даром прожил, и совершенно даром.

Дом у нас великолепный, и холодный, каминов нет, и от мангалов у наших у всех головы переболели.

Вчера меня угощал здешний Визирь, Мирза Неби, брат его женился на дочери здешнего Шахзады, и свадебный пир продолжается четырнадцать дней, на огромном дворе несколько комнат, в которых угощение, лакомство, ужин, весь двор покрыт обширнейшим полотняным навесом, вроде палатки, и богато освещен, в середине театр, разные представления, как те, которые мы с тобой видели в Тавризе, кругом гостей человек до пяти сот, самый молодой ко мне явился в богатом убранстве. Однако, душка, свадьба наша была веселее, хотя ты не Шахзадинская дочь, и я незнатный человек. Помнишь, друг мой неоцененный, как я за тебя сватался, без посредников, тут не было третьего. Помнишь, как я тебя в первый раз поцеловал, скоро и искренно мы с тобой сошлись, и навеки. Помнишь первый вечер, как маменька



А. С. ГРИБОЕДОВ

Н. А. ЧАВЧАВАДЗЕ



твоя и бабушка и Прасковья Николаевна сидели на крыльце, а мы с тобою в глубине окошка, как я тебя прижимал, а ты, душка, раскраснелась, я учил тебя, как надобно целоваться крепче и крепче. А как я потом воротился из лагеря, заболел, и ты у меня бывала. Душка!..

Когда я к тебе ворочусь! Знаешь, как мне за тебя страшно, все мне кажется, что опять с тобою то же случится, как за две недели перед моим отъездом. Только и надежды, что на Дереджану, она чутко спит по ночам и от тебя не будет отходить. Поцелуй ее, душка, и Филиппу и Захарию скажи, что я их по твоему письму благодарю. Если ты будешь ими довольна, то я буду уметь и их сделать довольными.

Давече я осматривал здешний город, богатые мечети, базар, караван-сарай, но все в развалинах, как вообще здешнее государство. На будущий год, вероятно, мы эти места вместе будем проезжать, и тогда все мне покажется в лучшем виде.

Прощай, Ниночка, Ангельчик мой. Теперь 9 часов вечера, ты, верно, спать ложишься, а у меня уже пятая ночь, как вовсе бессонница. Доктор говорит, от кофею. А я думаю, совсем от другой причины. Двор, в котором свадьбу справляют, недалеко от моей спальни, поют, шумят, и мне не только не противно, а даже кстати, по крайней мере, не чувствую себя совсем одиноким. Прощай, бесценный друг мой, еще раз, поклонись Агалобеку, Монтису и прочим. Целую тебя в губки, в грудку, ручки, ножки и всю тебя от головы до ног.

Грустно, весь твой А. Гр.

Завтра Рождество, поздравляю тебя, миленькая моя, душка. Я виноват (сам виноват и телом), что ты большой этот праздник проводишь так скучно, в Тифлисе ты бы веселилась. Прощай, мои все тебе кланяются.

Н. И. НАДЕЖДИН¹ —
Е. В. СУХОВО-КОБЫЛИНОЙ



Е. В. СУХОВО-КОБЫЛИНА

Тверди своим, что у тебя нет сил ждать, что ты непременно убежишь ко мне. Домогайся одного, чего еще можно домогаться: чтобы тебя отпустили они сами на все четыре стороны... толкнули в мои объятия... Грози, что ты не будешь скрывать любви своей... не побоишься никого и ничего... Может быть, ты надоешь им своею твердостью... может быть, они тебя выгонят ко мне... О! если бы это случилось...

Тебе это в тысячу раз было бы легче, чем побег; а я весь от тебя завишу... Твое спокойствие есть мое блаженство... Мы еще имеем перед собой два или полтора месяца... Это довольно времени... Если уже непременно увезут тебя, найди случай, во что бы то ни стало, известить меня через почту: где ты? Я прилечу на крыльях любви... Я убью все состояние, войду в долги, — закабалу, заложу всю мою будущность, чтобы иметь средст-

¹ На де ж д и н Николай Иванович (1804—1856) — ученый и критик; давая уроки в доме московского богача В. А. Сухова-Кобылина, пламенно полюбил его дочь Елизавету Васильевну (сестру известного драматурга), жениться на которой, однако, Надеждину помешало несогласие родителей. Был редактором журнала «Телескоп», в котором П. Я. Чаадаев в 1836 году опубликовал свое первое из «Философических писем», после чего Надеждин был сослан в Усть-Сысольск.

ва овладеть тобою. . . Мы играем в ужасную игру; но это будет быть или не быть!

А. И. ГЕРЦЕН¹ — Н. А. ЗАХАРЬИНОЙ

15 января 1836 г.

Я удручен счастьем, моя слабая земная грудь едва в состоянии перенести все блаженство, весь рай, которым даришь ты меня.

Мы поняли друг друга! Нам не нужно, вместо одного чувства, принимать другое. Не дружба, любовь! Я тебя люблю, Natalie, люблю ужасно, сильно, насколько душа моя может любить. Ты выполнила мой идеал, ты забежала требованиям моей души. Нам нельзя не любить друг друга. Да, наши души обречены, да будут и жизни наши слиты вместе. Вот тебе моя рука, она твоя. Вот

Н. А. ЗАХАРЬИНА



¹ Герцен Александр Иванович (1812—1870), с детства любивший свою кузину Н. А. Захарьину, вел с ней обширную переписку в период ссылки в Пермь, Вятку и Владимир (1835—1839). Идеальная любовь их закончилась браком. Герцен тайно увез невесту из Москвы во Владимир; в 1847 году они уехали навсегда за границу, где впоследствии семейная жизнь их была нарушена увлечением Н. А. пов- том Гервегом; незадолго до смерти Н. А. они снова встретились; светлая любовь эта описана на многих страницах «Былого и дум».

тебе моя клятва, ее не нарушит ни время, ни обстоятельство. Все мои желания, думал я в иные минуты грусти, несбыточны; где найду я это существо, о котором иногда болит душа? Такие существа бывают создания поэтов, а не между людей. И возле меня, вблизи, расцвело существо, говорю без увеличений, превосшедшее изящностью самую мечту, и это существо меня любит, это существо — ты, мой ангел. Ежели все мои желания так сбудутся, то где я возьму достойную молитву богу?

В. Г. БЕЛИНСКИЙ¹ — НЕВЕСТЕ М. В. ОРЛОВОЙ

*Спб. 1843, сентябрь 7-го,
вторник*

Вчера должны были вы получить первое письмо мое к вам. Я знаю, с каким нетерпением, с каким волнением ждали вы его; знаю, с какою радостью и каким страхом услышали вы, что есть письмо к А. В., и какого труда стоило вам с сестрою принять на себя вид равнодушия. Я не мог писать к вам тотчас же по приезде в Петербург, потому что жил на биваках и был вне себя. Первое письмо мое написано кое-как. В продолжение дней, в которые должно было идти оно в М., я только и думал о том, когда вы получите его; я мучился тем же нетерпением, как и вы; мысль моя погоняла ленивое время и упреждала его; с радостью видел я наступление вечера и говорил себе: «днем меньше!» Но вчера я был, как на углях, рассчитывая, в котором часу должны вы получить мое

¹ Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) женился в 1843 году на М. В. Орловой, служившей в Москве классной дамой в институте. Свадьбе предшествовала довольно обширная переписка.



В. Г. БЕЛИНСКИЙ

письмо. Я не могу видеть вас, говорить с вами, и мне остается только писать к вам; вот почему второе письмо мое получите вы, не успевши освободиться из-под впечатления от первого. Мысль о вас делает меня счастливым, и я несчастен моим счастьем, ибо могу только думать о вас. Самая роскошная мечта стоит меньше самой небогатой существенности; а меня ожидает богатая существенность: что же и к чему мне все мечты, и могут ли они дать мне счастье? Нет, до тех пор, пока вы не со мной, — я сам не свой, не могу ничего делать, ничего думать. После этого очень естественно, что все мои думы, желания, стремления сосредоточились на одной мысли, в одном вопросе: когда же это будет? И пока я еще не знаю, когда именно, но что-то внутри меня говорит мне, что скоро. О, если бы это могло быть в будущем месяце!

М. В. БЕЛИНСКАЯ



Погода в Петербурге чудесная, весенняя. Она прибыла сюда вместе со мною, потому что до моего приезда здесь были дождь и холод. А теперь на небе ни облачка, все облито блеском солнца, тепло, как в ясный апрельский день. Вчера было туманно, и я думал, что погода переменится; но сегодня снова блещет солнце, и мои окна открыты. А ночи? Если бы вы знали, какие теперь ночи! Цвет неба густо-темен и в то же время ярко-блестящ усыпавшими его звездами. Не думайте, что я не берегусь, обрадовав-

шись такой погоде. Напротив: я и днем, как и вечером, хожу в моем теплом пальто, чему, между прочим, причиною и то, что еще не пришел в П. посланный по транспорту ящик с моими вещами, где и обретается мое летнее пальто. Впрочем, днем нет никакой опасности ходить в одном сюртуке, без всякого пальто, но вечером это довольно опасно, и вот ради чего я и днем жарюсь. . . [в] зимнем пальто. Мне кажется, что в Москве теперь должна быть хорошая погода. Не забудьте уведомить меня об этом: московская погода очень интересует меня. Не поверите, как жарко: окна отворены, а я задыхаюсь от жару. На небе так [ярко] и светло, а на душе так легко и весело!

Без меня мои растения ужасно разрослись, а что больше всего обрадовало меня, так это то, что без меня расцвела одна из моих олеандр. Я очень люблю это растение, и у меня их целых три горшка. Одна олеандра выше меня ростом. После тысячи мелких и ядовитых досад и хлопот Боткин, наконец, уехал за границу. Это было в субботу (4 сент.). Я провожал его до Кронштадта. День был чудесный, и мне так отраднo было думать и мечтать о вас на море. Расстались мы с Б. довольно грустно, чему была важная причина, о которой узнаете после. Странное дело! Я едва мог дожидаться, когда перейду на мою квартиру, а тут мне тяжела была мысль, что я вот сегодня же ночую в ней. И теперь еще мне как-то дико в ней. Впрочем, это будет так до тех пор, пока я вновь не найду самого себя, т. е. пока вы не возвратите меня самому мне. До тех пор мне одно утешение и одно наслаждение: смотреть на стены и мысленно определять перемещение картин и мебели. Это меня ужасно занимает.

Скажите: скоро ли получу я от вас письмо? Жду — и не верю, что дождусь, уверен, что получу скоро — и боюсь даже надеяться. О, не мучьте меня, но ведь вы

уже послали ваше письмо, и я получу его сегодня, завтра! — не правда ли?

Прощайте. Храни вас господь! Пусть добрые духи окружают вас днем, шепчут вам слова любви и счастья, а ночью посылают вам хорошие сны. А я, — я хотел бы теперь хоть на минуту увидеть вас, долго, долго посмотреть вам в глаза, обнять ваши колени и поцеловать край вашего платья. Но нет, лучше дольше, как можно дольше не видаться совсем, нежели увидиться на одну только минуту и вновь расстаться, как мы уже расстались раз. Простите меня за эту болтовню; грудь моя горит; на глазах наливается слеза: в таком глупом состоянии обыкновенно хочется сказать много и ничего не говорится, или лучше говорю с вами, чем на письме, как некогда заочно я лучше говорил с вами, чем при свиданиях. Что-то теперь Сокольники? Что заветная дорожка, зеленая скамеечка, великолепная аллея? Как грустно вспомнить обо всем этом, и сколько отрады и счастья в грусти этого воспоминания!

И. С. ТУРГЕНЕВ ¹ — ПОЛИНЕ ВИАРДО

Париж, воскресенье вечером, июнь 1849

Добрый вечер. Как вы поживаете в Куртавнеле? Держу тысячу против одного, что вы не угадаете того, что... Но хорош же я, держа тысячу против одного, — потому что вы уже угадали при виде этого лоскутка нот-

¹ Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) с 1847 года жил большей частью за границей. В Париже сдружился с артистической четой Виардо. С Полиной Виардо, знаменитой певицей, к которой Тургенев относился с нежностью, он постоянно переписывался во время его или ее выездов из Парижа.

ной бумаги. Да, сударыня, это я сочинил то, что вы видите — музыку и слова, даю вам слово! Сколько это мне стоило труда, пота лица, умственного терзания — не поддается описанию. Мотив я нашел довольно скоро — вы понимаете: вдохновение! Но затем подобрать его на фортепиано, а затем записать. . . Я разорвал четыре или пять черновых: и все-таки даже теперь не уверен в том, что не написал чего-нибудь чудовищно-невозможного. В каком это может быть тоне? Мне пришлось с величайшим трудом собрать все, что всплыло в моей памяти музыкальных крох; у меня голова от этого болит: что за труд!

Как бы то ни было, может быть, это заставит вас минуты две посмеяться.

Впрочем, я чувствую себя несравненно лучше, чем я пою, — завтра я в первый раз выйду! Пожалуйста, устройте к этому времени бас, как для тех нот, которые я писал наудачу. Если бы ваш брат Мануэль увидел меня за работой, — это заставило бы его вспомнить о стихах, которые он сочинял на Куртавнельском мосту, описывая судорожные круги ног и делая грациозные округленные движения руками.

Черт возьми! Неужели так трудно сочинять музыку? Мейербер — великий человек!!!



И. С. ТУРГЕНЕВ

ПОЛИНА ВИАРДО-ГАРСИА



**Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ¹ —
ЖЕНЕ О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ**

*Александровский завод,
5-го января 1870 г.*



Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Милый друг мой, Олинька!

Я получил Твое письмо от 8-го октября; благодарю Тебя за него, моя Радость.

Я совершенно здоров, по своему хорошему обыкновению.

В середине лета придет мне время переселиться отсюда, чтобы жить, как мне удобно. Вместе с этим будет мне можно зарабатывать деньги. Здоровье у меня крепкое, и достанет его очень надолго: ослабления умственной живости не замечаю в себе и надеюсь, что и в этом отношении до дряхлости мне еще очень далеко. Поэтому думаю, что Ты будешь избавлена от неудобств, в которых виноват я тем, что не заботился прежде приобретать столько денег, чтобы остался у тебя хороший запас их на бездоходное время.

Мог бы приобретать столько. Но был слишком беспечен. Воображал даже, что не способен торговаться. И это напрасно: могу быть и коммерческим человеком. И теперь будет надобно, так и

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКАЯ



¹ Одно из писем с каторги, в которых Н. Г. Чернышевский скрывал от жены невыносимо тяжелые условия жизни.

буду. Миллионов не наживу; не хвалюсь, что наживу их. Но десятки тысяч в два, три года приобрету. И можно будет Тебе расплатиться с долгами. Потом будешь не бедною женщиною.

Знаю теперь хозяйство — не сельское, разумеется, а домашнее: цену всякого найма, всякой вещи. Могу проверить всякий счет не хуже всякого другого.

Вот как усовершенствовался. Поэтому не нахожу проведенного здесь времени потерянным. Переносить Тебе это время было неудобно. Но оно обратится в пользу Тебе, Ты верь, не верь, но увидишь, мой милый друг.

Ты говоришь в письме от 8-го октября, что напрасно Ты писала мне иногда с горьким чувством; благодарю Тебя за то, что Ты так думаешь. Но все, что Ты писала, по-Твоему, напрасно, очень естественно; и в сущности, справедливо. И возможно ли, при твоём прямодушии, чтобы не случилось Тебе иногда сказать мне и что-нибудь неприятное? Как быть! Но мы с Тобою старинные приятели — пятнадцать лет нашей свадьбе когда я праздновал? — потрудись-ка сосчитать. Э, мой милый друг, если б у меня раздумье о Тебе было только то, не досадно ли иногда бывало Тебе на меня, это бы не очень важное для меня огорчение; а вот, я все подумываю: денег я не собрал запаса для Тебя и детей; это поважнее для меня, моя милая.

Но поправлю свою вину перед Тобой и перед детьми.

Только будь Ты здорова. Вот это, мой друг, занимает меня больше всего. Пожалуйста, умоляю Тебя, береги свое здоровье. А оно у Тебя много зависит от настроения мыслей. Когда Ты не грустишь, Ты очень крепкого здоровья. Старайся же развлекаться от своей скуки. Делай усилия над собою. Прошу Тебя об этом очень серьезно; умоляю Тебя об этом.

Крепко обнимаю Тебя, моя милая Радость; как не было, так и нет у меня никакой другой заботы, кроме



Г. И. УСПЕНСКИЙ

как о том, сносно ли живется Тебе, мой друг; привык жить только для мысли о Тебе; так и идут все только они одним рядом без перерыва; милый друг мой, старайся быть веселой и здоровой. — Целую детей. Благодарю Сашу за письмо. Целую твои руки, моя милая.

Твой Н. Чернышевский.

Г. И. УСПЕНСКИЙ¹ —
А. В. БАРАЕВОЙ

Липецк, 2 июня

А. В. БАРАЕВА-УСПЕНСКАЯ



... И во всяком случае мы будем жить. Ты заботаешься обо мне? Ты больная, худенькая, мученица, девочка, беспокоешься за меня... Думал ли я когда-нибудь! Я думал, что кроме ругательств за неотдачу 3 руб. как-нибудь. Сорокину, — ничего не будет в моей жизни. Ты, милый, хороший друг мой! Люблю тебя всей душой и не уйду от тебя никуда и никогда. Ангел мой и друг дорогой. Я об этом только и просил тебя, чтобы ты не думала, что будешь [нуждаться?] в Петербурге. Чтобы ты раз навсегда решилась. Как не велико

¹ Успенский Глеб Иванович (1843—1902) писал эти письма А. В. Бараевой, ставшей впоследствии его женой. В 1893 году его постигла душевная болезнь, от которой он и скончался.

сквалыжничество писателей-редакторов — они все-таки сами придут ко мне и во всяком случае не дадут умереть с голоду...

... Нервы твои расшатаны хуже моего. И я смею еще более мучить тебя! Твои бледные губы, бледное личико твое, славная моя, добрая, бесценная моя умница. Господи! Если б мне поздороветь нервами и телом — как бы я берег каждую минутку твою! Я готов заплакать теперь от этого — верь мне, — но у меня слезы во всем лице, глаза режет, а не плачу. Прости меня, крошка, голубчик, в последний раз!

Твой всегда Глеб.

А. А. БЛОК — Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ ¹

31 мая 1903. Бад-Наугейм

Моя Любовь, моя единственная. Я получил сегодня два твоих письма. Даже сказать о них Тебе ничего не могу. И вообще трудно говорить с Тобой, опять трудно на таком расстоянии, в такой непривычной обстановке. Здесь совсем животная жизнь, разленивающая и скучная.

... По вечерам бывает странное и скверное чувство отчужденности и отдаленности от всего. Я скоро устрою себе заполнение дня, по возможности приятное и полезное. Вчера начал писать Тебе и бросил, так бесцветно и пусто выходило. Так и теперь выходит пусто и бесцветно. Лучшее, что есть, я вычитываю из Достоевского, но

¹ Будущую жену, Любовь Дмитриевну Менделееву, А. А. Блок любил с юношеских лет, когда познакомился с ней в подмосковном имении ее отца, великого химика Д. И. Менделеева; 25 мая 1903 года состоялось их обручение, 17 августа — свадьба. Любовь к ней поэт сохранил на всю жизнь.

так нельзя. А немцы до такой степени буржуазно скучны на вид, что о них совсем нечего писать. Страна страшно деловая, сухая. Из роз выглядывают серые лица. Пышность деревьев и цветов и плодородие земли точно ни к чему не обязывают. Нет ни одной хорошей фигуры ни у мужчины, ни у женщины. Женские лица просто на редкость безобразны, вообще нет ни одного красивого лица, мы не встречали по крайней мере. Все коренастые и грубые, заплывшие жиром. Тому же впечатлению способствуют больные, у которых ноги еле ходят, лица бледные и распухшие, все старики и старухи, молодых меньше. И почти никого, при первом взгляде, по-настоящему не жалко, до того бессмысленно кажется их существование.

И все-таки, если бы мы были здесь с Тобой вдвоем, просто так, не обращая внимания на лечение и лечащихся, было бы хорошо. Можно бы было почти никого не видеть и уходить в парк и за парк, на озеро и в поле. Несмотря на однообразие, было бы то преимущество, что мы были совсем вдвоем...

... Прости за мои письма. Я знаю, что Ты там, севернее меня и лучше меня...

Твой.

ЧАСТЬ III

Возвращение
к Стендалю

ФРАНЦ КАФКА
МИЛЕНА ЕСЕНСКАЯ



ТОМАС МАНН
КАТЯ ПРИНГЛ-СЕЙМ

ГЕРХАРТ ГАУПТМАН
ИДА ОРЛОФ





АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ



АННА ФРАНК



А. А. БЛОК

Л. Д. БЛОК



ЖЕРМЕНА ДЕ СТАЛЬ
БЕНЖАМЕН КОНСТАН

Два голоса

АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ —
РЕНЭ ДЕ СОССИН

Аликанте, ноябрь 1926

Я и сейчас хорошенько не знаю, зачем пишу. Мне так нужен друг, которому я мог бы рассказывать о всех мелочах жизни. С которым мог бы поделиться. Сам не знаю, почему я выбрал вас. Вы такая чужая. Мои слова отскакивают от бумаги. Я уже не могу представить себе опущенные над моим письмом глаза, которые читали бы его и радовались моему солнцу, моим лакомствам, моим мечтам. Я пишу это письмо тихо-тихо, чтобы разбудить, не слишком веря, что мне это удастся. Может быть, я пишу самому себе...

Антуан де Сент-Экзюпери познакомился с Ренэ де Соссин, когда ему было восемнадцать лет; она была сестрой его школьного товарища. Он ей часто писал в последующие годы, когда начал летать. Он был переполнен воспоминаниями, наблюдениями, мыслями и тосковал по умному, душевно-тонкому собеседнику, он был переполнен образами, потому что в нем складывался художник и он жаждал читателя. Он, наконец, был молод, одинок и хотел любви.

Ренэ де Соссин была для него и собеседником, и читателем, и подругой. Он создал для себя в письмах образ

«воображаемой подруги» — как создавал позднее образы героев и героинь романов и повестей.

Я еду не в среду, а в пятницу. У меня прекрасное настроение, хотя уже далеко за полночь. Это похоже на мои мальчишеские мечты о путешествиях. Под лампой в загородном доме. Когда взрослые усаживались играть в бридж, а дети, наоборот, становились очень серьезными. Китай был зеленый. Япония — голубой, два ярких пятна. На противоположной странице было написано: «У малайцев глаза черные», «у гаитян глаза голубые». Я, конечно, путаю цвета, но я хорошо понял в тот вечер, что никогда еще не видел по-настоящему черных глаз и по-настоящему голубых. Те, что я видел вокруг, я догадывался, были поддельными. И вот я отправляюсь раздобывать подлинные.

Вся его жизнь была бесстрашным поиском истины — в человеческих отношениях, любви и работе. И он понимал, чем больше летал, и писал, и любил: истинно то, что духовно. Истинны незримые нити, соединяющие людей и вещи в особый, высший порядок, и человек, ощущающий общность с миром, с людьми. Истинен завтрак под оливами на ферме и музыка Генделя... Истинно детство, мир детства, когда мечтаешь о путешествиях, рассматривая под лампой в затихшем доме Китай и Японию. Став взрослым, он научился путешествовать по-настоящему.

... Вчера я был очень далеко. Так далеко, что до сих пор чувствую себя не вполне здесь, словно я еще на все смотрю немного издалека, немного свысока. Я думал, что разобьюсь, и такого со мной не бывало даже в день моей первой аварии. Я снижался с трех тысяч метров, как вдруг ощутил толчок — я решил, что случилась поломка, — и самолет вышел из повиновения. Спустившись до двух тысяч, я до отказа повернул штурвал — машина не подчинялась. Я считал штопор неотвратимым

и отчетливо написал на одном из циферблатов: «Авария. Ищите. Предотвратить падение невозможно». Мне не хотелось, чтобы мою гибель приписали неосторожности. Эта мысль меня мучила. С каким-то удивлением я посмотрел вниз на поля, куда должен был упасть и разбиться. Это было ново для меня. Я почувствовал, что бледнею и холодею от страха. Страх, пронизывающего до мозга костей, но в этом страхе не было ничего унижительного. Скорее какое-то новое, невыразимое понимание.

Оказывается, никакой поломки не было, и я дотянул до земли. Но ни одной секунды я не верил в удачу.

Удача улыбалась ему даже тогда, когда он не верил ей ни одной секунды, она не оставляла его ни разу до последнего рокового полета 31 июля 1944 года. И каждый раз, возвращаясь к жизни, к людям, он любил их с удесятеренной силой и нежностью.

Выпрыгнув из самолета, я ничего не сказал. Мне ничего не было нужно, и мне казалось, что меня никто не поймет. Во всяком случае, не поймут самого главного. Того мира, куда мне контрабандой удалось заглянуть. Мира, из которого редко кому удается вернуться, чтобы о нем поведать. Слова бессильны рассказать об этих полях, об этом ясном солнце. Как сказать: «Я понял поля, я понял солнце...»? И все-таки это было именно то самое. В течение нескольких секунд я во всей полноте пережил ослепительное спокойствие этого дня. Дня, построенного прочно, как дом, где я был у себя, где мне было хорошо и откуда меня едва не выбросили. Дня с его утренним солнцем, с его высоким небом, с землей, по которой кто-то мирно вышивал тонкие борозды. Какое сладостное ремесло!

Потом на улицах я встречал дворников, подметавших свою часть этого мира. Я был им за это благодарен. И сержантам, охранявшим порядок на своем участке.

в сто метров. Как мудро был устроен этот дом! Я вернулся, обо мне заботились, и я любил жизнь.

Вы не поймете этого, и никто не поймет. А я хотел бы заставить кого-нибудь понять. Почему вам безразлично все это?

Почему вы не слышите меня?

Он, как и его Маленький принц, мечтал быть услышанным всю жизнь — до последнего мгновения, когда не хотел быть услышанным, чтобы не опечалить никого уходом из жизни. . .

АННА ФРАНК — КИТТИ

*Воскресенье утром, около одиннадцати.
16 апреля 1944 г.*

Милая Китти!

Запомни навсегда вчерашний день — его нельзя забыть, потому что он самый важный день в моей жизни. Да и для всякой девушки тот день, когда ее впервые поцеловали, — самый важный день! Вот и у меня тоже. Тот раз, когда Брам поцеловал меня в правую щеку, не считается, и когда мистер Уокер поцеловал мне руку — тоже не в счет.

Слушай же, как меня впервые поцеловали.

Вчера вечером, часов в восемь, я сидела с Петером на его кушетке, и он обнял меня за плечи.

Они сидели на кушетке, в убежище, на тесном чердаке, где их семьи скрывались от фашистов в оккупированном гитлеровскими войсками Амстердаме. Они жили в убежище с июля 1942 года, и все эти месяцы Анна писала письма воображаемой подруге Китти, которую она выдумала, чтобы не чувствовать себя одинокой, чтобы быть услышанной. Ей она рассказывала о многом —

о жизни на чердаке, о больших надеждах и больших огорчениях и о первой любви к мальчику Петеру, который жил в том же убежище, оторванный от детства, от мира. За ненадежными стенами убежища, за затемненными окнами чердака убивали взрослых и детей.

Как ты думаешь, не рассердятся ли папа и мама, что я сижу на диване и целуюсь с мальчиком, причем ему семнадцать лет, а мне еще нет пятнадцати? Собственно говоря, я не думаю, что это нехорошо, тут надо верить только себе. Мне так спокойно, так хорошо сидеть, обнявшись с ним, и мечтать, у меня захватывает дух, когда его щека прижимается к моей, мне так радостно, что кто-то ждет меня!

Она пишет Китти ежедневно, ее переполняют большие мысли и большие чувства. Порой забывая о воображаемой подружке, она обращается к себе самой.

Ах, Анна, какой стыд! Нет, честно говоря, ничего стыдного я в этом не вижу. Мы тут сидим взаперти, отрезанные от всего мира, в страхе и тревоге, особенно в последнее время. Почему же мы, любя друг друга, должны отдаляться? Зачем нам ждать, пока мы вырастем? Зачем вечно задавать себе вопросы?

Я все взяла на себя, я за себя отвечаю. Он никогда не огорчит меня, не сделает мне больно. Почему же мне тогда не послушаться своего сердца! Не дать нам обоим счастья? И все-таки ты, Китти, наверно, чувствуешь мои сомнения? Наверно, мне из врожденной честности трудно скрывать... Как ты считаешь, должна я все рассказать папе? Считаешь ли ты, что нашу тайну можно доверить кому-то третьему? Ведь тогда пропадет вся наша нежность. И успокоюсь ли я, если расскажу? Надо будет посоветоваться с «ним».

Да, мне хочется говорить с «ним» о многом, потому что бессмысленно только ласкать друг друга. Нужно большое доверие, чтобы всем делиться, а сознание,

что мы друг другу верим, делает нас обоих еще сильнее!

Она жила любовью, и она жила событиями, волновавшими большой мир за стенами убежища: наступлением советских войск, ожиданием высадки англичан и американцев в Европе, успехами голландских антифашистов, которым она и Петер, их семьи, были обязаны жизнью. . .

О, Петер, что ты со мной делаешь? Чего ты хочешь от меня? Что будет дальше? . . . Неужели мне всего четырнадцать лет? Неужели я просто глупая девчонка, школьница? Неужели я и вправду так неопытна во всем? Но у меня больше опыта, чем у других, я пережила то, что в моем возрасте редко кто переживает. . . Просто чудо, что я еще не потеряла всякую надежду, а ведь все мои надежды кажутся нелепыми и неисполнимыми! Но я крепко держусь за них вопреки всему, так как твердо верю, что человек добр. Для меня невысказанно строить все на мыслях о смерти, несчастье и хаосе.

Фашисты открыли убежище, арестовали всех, кто там скрывался. Анна Франк погибла в концлагере за два месяца до освобождения Голландии. Погиб и Петер. Последняя запись в ее дневнике помечена 1 августа 1944 года, и рождается странная, а может быть, и не странная мысль: она и ее Маленький принц были в относительной безопасности, пока летал Сент-Экзюпери.

Он ведь погиб накануне — 31 июля. . .

УДАР МОЛНИИ

Великие души остаются незамеченными... Великих душ гораздо больше, чем принято думать.

Стендаль

Я хочу рассказать историю отношений двух людей. Как явствует из названия книги — это повесть о любви. Хотя, пожалуй, и о чем-то несравненно большем, чем любовь, если, разумеется, понимать ее чересчур обыденно и заземленно. И это повесть именно о любви при том ее понимании, которое было у Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты и — отвлечемся от литературных героев — у Абельяра и Элоизы, у Петрарки в его поклонении Лауре, у Дидро в его верности Софи Волан, у Стендаля (я имею в виду не гениального писателя, а страстно любящего человека), у Байрона, у декабристов, у Достоевского... И у тысяч незначительных мужчин и женщин во всех странах во все века, которые ничуть не уступали великим мира сего в понимании, точнее, в переживании любви, потому что и для них была она не утехой и не бытом, а поиском великой истины в человеческих отношениях и битвой, порой трагической, за сокровища человечности.

И это — то, о чем хочу рассказать, — история истинно современная, потому что в душе сегодняшнего человека, порой неосознаваемо, живет тысячелетний опыт миллионов человеческих сердец с их неизреченной и неизрасходованной нежностью.

И это — история документальная: письма — не художественная форма (традиционная для романов и повестей о любви), а живая, подлинная запись бесконечных бесед человека с человеком, его с нею, хотя (открою писательский «секрет») на этой форме, казалось бы, совершенно естественной, при наличии живых документов,

я остановился после долгих исканий и размышлений. И вовсе не потому я мучился, что писем было немного, не доставало «материала» для постройки, а потому, что была их уйма — больше чем «нужно», можно было, по обилию их, составить целый роман. И одновременно построить их в роман было нельзя по соображениям и литературным и этическим, ибо сотни страниц герой мой писал в том душевном состоянии, которое надо отнести, когда речь идет о реальном сегодняшнем человеке, к тайне личности. Он писал ей ежедневно, а порой и ежечасно, писал часто о том, что читать должна — жив он или умер — она одна.

Эта повесть во мне жила ряд лет, как история чувств и отношений, восходящих ко все большей человечности и одновременно к той возможности-невозможности полного, абсолютного понимания человека человеком, которой роковым образом бывает отмечена большая любовь. И жила она во мне, конечно, не как повесть в смысле литературного жанра, как некое богатство, из которого неизвестно что должно было родиться. . .

Я решил было написать об этой любви (потому что не написать о ней уже не мог) в повествовании, где его письма к ней были бы переплавлены в мой текст, вводящий в четкие «каменные» берега чувства и отношения, которым посвящены его бесчисленные обращения к любимой женщине. Но увидел, точнее, услышал, как умирает живой голос героя, и вот избрал форму повести в письмах.

Известно, что при создании статуи надо отсечь «лишнее» от камня; мне работать было больше, потому что лишнего не было, а была нехватная человеческая боль, надежды, доброта и страдание. И — мужество.

Писем были сотни, написанных в разных душевных состояниях, при различных жизненных обстоятельствах и из разных городов. Я долго-долго отбирал, пока в ка-

ком-то озарении, идущем от них же — не от меня, — не увидел повесть с точным сюжетом, с собственным стройным миром, захватившую меня как нечто совершенно новое, хотя, казалось бы, живя ряд лет в данном «материале», я уже не мог резко ощущать его новизну.

И вот родилась повесть о любви в письмах.

Но пора, видимо, рассказать о том, как попали ко мне эти письма.

Несколько лет назад я получил из Тбилиси письмо от незнакомой молодой женщины — Ирины Д. (по понятным соображениям, не буду называть фамилии героини данной повести).

«Я хочу, чтобы не была забыта, — писала она, — жизнь Эдуарда Гольдернесса...»

Помню, это «инопланетное», будто бы из фантастического романа имя поразило меня, и автор письма Ирина Д. — точно не в Тбилиси находилась она сейчас, за тысячи километров, а сидела рядом, наблюдая за человеком, читающим то, что она написала, — тотчас же в последующих строках объяснила:

Вас, наверное, удивит эта странная фамилия — Гольдернесс. А может быть, она Вам и напомнит что-то, если Вы хорошо помните роман Андре Моруа «Байрон». Да, Эдуард — его, как говорили в старину, генеалогическое древо — имеет известное отношение к Байрону. Первым браком отец великого английского поэта был женат на леди Холдернесс, она родила ему дочь — Августу, сводную сестру Байрона, которую поэт горячо любил.

Но замечателен Эдуард, разумеется, не этим. Если вы читали латиноамериканского поэта-коммуниста Вальехо, поэтов Австралии, Кубы, стихи Эдгара По, то, может быть, обратили внимание на фамилию одного из переводчиков. Да, на его фамилию: Эдуарда Гольдернесса. Но, пожалуй, и не этим он замечателен.

С пятнадцати лет Эдуард был неизлечимо болен. Но более героической, беспокойной судьбы я вокруг себя не видела. Дело не только в том, что он был поэтом, писал сонеты, переводил, — он осуществлял «связь человека с человеком», он создавал новые высшие формы человеческого общения, он облагораживал тех, кто жили рядом с ним. И это самое главное в нем и замечательное.

Самуил Яковлевич Маршак считал его своим другом, его знал Илья Эренбург, он чувствовал большую внутреннюю связь с Беллой Ахмадулиной. . .

Нет, нет, все, что я говорю, это не то, не то! Чтобы узнать его, Вам надо самому познакомиться с ним — в письмах, дневниках, бесчисленных обращениях ко мне. . .

В конце письма Ирина Д. объяснила, что обращается именно ко мне, потому что одной из самых последних вещей, которую читал Гольдернесс, была моя повесть о любви «Ахилл и черепаха». И она, Ирина, читала, перечитывала ее по его настоянию. . .

По получении этого письма меня почему-то особенно заинтересовала история семьи Гольдернесс, может быть, ввиду особой моей, с детских лет, любви к Байрону.

. . . Теперь, — писала мне Ирина Д. во втором письме, — вряд ли уже можно установить, когда появился в России Фаррингтон Холдернесс, дед Эдуарда, чем он пытался заниматься в Москве, где у него и родился сын Роберт. . . Известно лишь то, что он и жена его умерли в течение года. Роберт остался круглым сиротой. Мальчика воспитала русская семья. Место рождения — Москва, родной язык — русский, родная культура — русская. Так была обретена косвенным, что ли, потомком Байрона новая родина.

Роберт вырос, стал инженером-строителем, женился на русской. У него родились две дочери, потом родился

сын — Эдуард. Семья переезжала со стройки на стройку, пока, наконец, не осела в Грузии, в Тбилиси.

В этом же письме, точно обижаясь на то, что волнует меня особенно Байрон, а не Гольдернесс сам по себе, она послала мне, видимо, выхваченное наугад одно из его писем к ней. И оно обожгло меня навсегда.

Я поехал в Тбилиси и вернулся с его письмами, с его тетрадями «для нее» и «для себя», с его сонетами и переводами. (Часть его стихов вошла в книгу «Искры», изданную потом в Тбилиси.)

Сейчас я оставляю читателя один на один с Эдуардом Гольдернессом, с его любовью, и вернусь лишь в эпилоге, чтобы рассказать в нескольких строках о дальнейшей судьбе героини и, может быть, чуть-чуть о самом интимном и тайном...

Часть 1. Письма к ней ¹

3. 1. 1965. Тбилиси

Должен ли я говорить тебе (не буду менять ты на Вы!) все, можно ли высказывать все свои мысли и чувства? Бальзак говорит: «Горе в любви и в искусстве тому, кто говорит все». Ну и пусть, от горя все равно никуда не денешься, а разве можно любить без обоюдного доверия, скрывать хоть что-то? По всем правилам, скрывать надо, но я хочу любить без всяких правил, как человек человека, безгранично, может быть, даже безрасудно, но иначе любовь утрачивает всякий смысл. Прав-

¹ Публикуя с сокращениями письма Э. Гольдернесса к той, кого он любил, я позволил себе дополнять их строками его стихов, его переводов старых и новых поэтов и подстрочников, которые он не успел облечь в стихи.

да, порой Вы что-то не понимаете. Вчера, когда я спросил по телефону «Вы потом позвоните?» — Вы сказали: «Зачем?»

И я не мог объяснить Вам, зачем...

Мне просто невероятно жутко уезжать от Вас. Этот какой-то «биологический», изнутри, из глубин идущий страх давит меня уже третий день. Я его, конечно, поборю. Но суть, источник его неистребим, пока я жив. Человек либо живет, либо нет. Третьего не дано, хотя, конечно, можно существовать и не живя... Но это уже дело вкуса...

Когда я говорю о «страхе», это вовсе не значит, что я «боюсь». Я ничего не боюсь, когда знаю, что мой поступок будет именно шагом вперед, а всякий другой выход был бы шагом назад. А когда судьба слишком тянет назад, я сам выдумываю что-нибудь, чтобы хоть в чем-то, хоть немного шагнуть вперед. Я рад, что лечу в Москву один. Хотя и внесут меня в самолет, наверное, на носилках. Ничего, в Москве немало добрых людей. Я фактически нарочно не подобрал себе спутника. Я хочу еще раз испытать себя. Я буду испытывать себя, собственные силы, пока живу. Я не «мягкотелый интеллигент». И если я вышел в какие-то неведомые воды, то вовсе не для того, чтобы вернуться назад. Я Вам говорил, что мое любимое стихотворение — «Парус» Лермонтова. Есть сила, которая выше всех других соображений, и я рад, что смог найти ее, ибо только она влечет меня к будущему, к будущему с Вами. И я хочу войти туда сильным, гордым, смелым...

И Вы не должны сердиться на это мое стремление, в нем не может быть ничего по-настоящему дурного для Вас, неприятного. Я хочу, чтобы у нас были какие-то наивысшие возможные формы человеческого общения, а они никогда не смогут принести Вам зла, если Вы хоть капельку поможете мне в этих поисках. И — поймите

это правильно — ведь эти поиски единственное, к чему понастоящему стремится человечество, вся остальная его деятельность носит, по сути, чисто подсобный характер, а это — главное.

Я всегда смотрел на Москву с ее издательствами, редакторами, поэтами, больницами, врачами — увы, необходимыми мне сейчас, — как на дорогу к Вам. Так смотрю и сейчас. И все равно мне трудно уехать. Но я благословляю эту трудность. Чем труднее, тем лучше.

Не сочтите, пожалуйста, все это бредом сумасшедшего, хотя и пишу я, конечно, очень бессвязно. И, главное, не сердитесь, не надо сердиться.

Эдуард.

P.S. Помните, Вам понравилось изречение, что «уверенность рождается необходимостью». Именно это заставляет меня верить в возможность достижения людьми каких-то новых человеческих отношений. . .

22. V. 65
Москва

Я сижу в номере один, никого не жду да никого и не хочу видеть. Но человек не может чувствовать себя человеком, если он один. Наступает такой момент, когда ощущаешь это с особой силой и ясностью. Нужно любить кого-то больше, чем самого себя, чувствовать, что только вместе с ним ты — это ты, а он — это он. И это не должно быть каким-то дурманом чувств, а просто внутренней потребностью существа, исчерпавшего все другие пути саморазвития.

Почему так трудно становиться человеком, почему это так трудно? . . . Почему надо затратить на это столько сил? Не знаю. Должно быть, просто потому, что самое



Э. Р. ГОЛЬДЕРНЕСС

лучшее не может не быть трудно достижимым, став повсеместным, оно утратило бы ценность и нечто иное заняло бы его место. Я не знаю, почему это так, я знаю только, что всегда любил ее ¹ чисто, от всей души, больше себя, больше жизни, и все-таки только сейчас я чувствую, что моя любовь достигла вершины.

У меня дрожали руки, минут десять я просто не мог писать... В таком соединении, единстве, когда человек чувствует за другого больше, чем за самого себя, — растворяясь в другом, обретает себя, — когда беззаветная самоотдача во всем совершается без малейших посторонних помыслов о ней — это нечто такое, для чего нет слов.

(Вслушайся в эти слова, докрасна раскаленные, которых не скажет никто, если я не скажу их. Любимая, не умирай! Я тот, кто тебя ожидает звездной ночью, в час, когда гаснет кровавый закат, — я ожидаю тебя. Вижу — падают с веток на темную землю плоды, вижу — капли росы серебрятся на травах. Ночь — в густом аромате благоухающих роз, и огромные тени ведут хоровод. Небо Юга дрожит надо мною... Я тот, кто тебя ожидает в час, когда воздух вечерний, как губы, целует. Любимая, не умирай!)

¹ В письмах к любимой Э. Гольдернесс иногда говорит о ней в третьем лице.

Ира, только что кончился наш разговор по телефону, хочу написать Вам — и не могу, не нахожу слов, чтобы описать то огромное чувство радости, которое охватило меня и не отпускает. Не знаю зачем, почему. Ведь если трезво разобратсья — причин для этого в разговоре не было. Должно быть, просто потому, что Вы — сами по себе Радость! Моя радость! . .

Как-то, после морской звезды — помните? — Вы сказали, что подарите мне звезду с неба. Это может означать только одно — Вашу любовь.

Я знаю, что я плохой, и все такое, я все понимаю, но все равно я люблю Вас. И я прошу Вас стать моей женой. Ну не сейчас, через полгода, через год. (может, я стану лучше за это время) . .

Если Вам потом не понравится со мной (потому что в чем-то я ведь правда плохой), если Вас больше привлечет какая-то другая дорога, Вы всегда сможете свободно пойти по ней без малейшего упрека с моей стороны. И сколько бы я после этого ни прожил, я всегда оставался бы для Вас другом, который сделает для Вас все, что только в человеческих силах.

Я так хочу заботиться о Вас! Мне невыносимо думать, что то невыразимо чудесное, что я вижу в Вас, — и чего не могут видеть другие, потому что оно им не нужно, — может пропасть, заглухнуть. Могу ли я спасти его, помочь ему развиваться? Не знаю, это же так трудно, но я могу попытаться, я хочу попытаться, я ничего другого в жизни не хочу!

Я люблю Вас!

Эдуард.

P.S. Не отмахивайтесь от ответа на это письмо. Что бы

Вы ни ответили — пусть Ваш ответ будет вдумчивым и искренним. Ведь от него зависит вся моя дальнейшая жизнь, это для нас какой-то переломный момент.

4. VIII. 65
Москва

После разговора с Вами по телефону я долго сидел, закрыв лицо руками. . . Мне и сейчас трудно писать, не улегся в душе какой-то «озноб», во мне словно бы пульсирует вся боль и надежда жизни, и ничего не хочется делать, а только прислушиваться к этому ощущению, ничего не думая, ничего не желая. . . Почему я так люблю Вас? Не знаю, просто «так надо»! Что делать с этим? Может быть, только так пишут стихи, так рождается в жизни что-то новое, так удаляется человек от обезьяны. Я не хочу писать стихов, да и не могу, я просто не знаю поступка, который мог бы соответствовать моему отношению к Вам! «Что сделать мне для Вас хотя бы раз?» Я чувствую себя одновременно и всемогущим, потому что я могу сделать все! — и беспомощным, потому что делать нечего, и выходит, что я ничего не могу сделать. Я могу только любить Вас, вернее, не могу не любить Вас! . .

Белла¹ читала вчера прекрасные стихи, стихи почти неизмерного проникновения в самые болезненные тайники жизни. Должно быть, она чувствовала, что никто, кроме меня, этого не понимает, и потому как-то особенно тепло проводила меня. И после таких вершин, взлетов — обыкновенное течение жизни. . . Но я не хочу, чтобы в моем чувстве к Вам были какие-то спады.

Есть в мире настоящая поэзия. У меня было не-

¹ Белла Ахмадулина.

сколько соприкосновений с нею. Одно из них — Федерико Гарсиа Лорка.

(Когда умру, схороните меня с гитарой в речном песке. Когда умру. . . В апельсиновой роще старой, в любом цветке. Когда умру, буду флюгером я на крыше, на ветру. Тише. . . когда умру!)

18. VIII. 65
Тбилиси

Я прямо чуть не умер от желания позвонить Вам сегодня в 9 утра (я остался один). Но решил, что Вы, может быть, спите, а ведь вчера Вам нездоровилось. . . Вот и взялся вместо телефона за перо. . .

Вы просто представить не можете, как я «изголодался по Вас» за это время! Я почти не спал эту ночь, столько мыслей теснило одна другую после нашего первого по возвращении разговора вчера вечером. Я не знаю, почему это так, и не пытаюсь понять. Как я уже говорил, чудеса потому так и называются, что они необъяснимы, а как говорится в одном стихотворении, «любовь — единственное в мире чудо».

Вы сказали, что в записях должно быть и такое, чего нельзя показать другим. Может быть. Есть вещи, о которых я почти ни с кем не могу говорить, ибо они — слишком большой, сильный яд; из тех, кто способен их понять, я могу намекнуть на них только самым сильным и чистым духом. Один философ говорил, что писать следует лишь тогда, когда не можешь не писать, и только о том, что уже победил. Я иногда пишу о том, чего я «не победил». Но может быть, Вы считаете, что не все записи можно показывать, потому что для сохранения своего «я», для его самобытного развития нужно иметь в душе

уголки, куда никто посторонний не заглядывает? Разумеется! Только их очень мало у человека, уже сумевшего найти себя, идущего своим путем. И не надо специально заботиться о их сохранении, это получится само собой.

Разве можно высказать себя всего?! Как я ни пытаюсь, я не сумел до сих пор выразить Вам и сотой доли того, что хотел бы. А если бы я вдруг и сумел высказать сегодня «все», так ведь завтра у меня уже накопится в душе нечто новое, чем снова можно будет поделиться. Нет, этот процесс безостановочен, неисчерпаем — лишь только было бы с кем поделиться самым главным, что есть в тебе. Человек не может один, без этого, расти, развиваться, быть человеком! Это так же невысказано, как хлопнуть в ладоши одной рукой, взлетать на одном крыле... Один человек обречен на поражение, как бы он ни старался.

Я позвонил без двадцати двенадцать. Никого не было...

(Когда в душе полярная зима, и неизвестно, подойдет ли лето, бывает очень нужно, чтобы тьма пересеклась порой полоской света. Что может просиять таким лучом? Порой довольно взгляда или улыбки, и — словно снова провели смычком по струнам позабытой старой скрипки. Мечты плывут, как в небе облака, согреты солнца первыми лучами. И мысль ясна, проворна и легка... Но это все не выразить словами! Мечта и мысль находят слов одежды, но ты не мысль, не греза, ты — надежда.)

2. IX. 65
Тбилиси

У меня такое ощущение, словно я все это уже знал... Ведь Вы мне все это говорили, и даже гораздо больше

этого, — и хорошего, и плохого, — правда, не сразу, но ведь я помню каждое Ваше слово и все это складывается одно к одному. . .

Да, все ясно, все, очевидно, так и должно быть, все до того ужасающе ясно, что просто нечего и говорить, хотя во мне теснятся тысячи мыслей, бессвязных, хотя и связанных внутренним единством, бесполезных, хотя и единственно мне нужных, очень разных и в то же время единых, потому что все они устремлены к Вам. . .

Мне каждую фразу хочется заканчивать многоточием, потому что никакие слова не могут выразить того, что я чувствую. . . Все, все укладывается в одно необъемлющее слово: люблю. . . Ну вот, и над всем этим Ваше «нет», «вымученное, выстраданное, давно выношенное». . . Я всегда знал это и считал справедливым.

Я за последние месяцы стал очень плохо думать о себе, ничто другое не могло и не может объяснить Ваши некоторые слова и поступки. И порою охватывает какое-то безмерное отвращение к себе, хочется просто уничтожить себя. . .

Но все равно мне любить Вас — как дышать. Люблю Вас со всеми «пороками», «грехами», «ужасно робкую и мнительную», «грубую и нетактичную», «ничем не привлекательную» и т. д. Люблю Вас, за то, что Вы мой человек в том лучшем, «чудесном», что есть в Вас, чего нет у других. Вы подвергнете ценность этого сомнению, ибо она «не нужна людям». Каким людям? Много ли Вы встречали людей, для которых жизнь — «творчество»? Люди иногда хотят от жизни наслаждений, успеха, благополучия, спокойной совести, удовлетворенного тщеславия, элементарного благополучия, прикрытого красивыми словами. Порой они даже бывают искренними и неплохими людьми, ибо ничего иного они и не видят (или боятся увидеть?). Но кто понял, почувствовал истинную творческую жизнь, тот уже не вернется в их мир.

Какие люди Вам нужны, чье мнение Вам дорого?
Где Ваш путь?

Вы человек высшего чудесного творческого мира.

Сейчас я поеду опять в Москву на месяц или полтора. Может быть, лягу там в больницу. А потом вернусь, потому что я не могу долго быть без Вас.

Вы должны позволять мне делать что-то для Вас, должны обращаться ко мне за помощью, если Вам что-то понадобится. Обещайте мне это.

Я могу только благословлять день нашей встречи. Будьте требовательной к себе и доброй, прошу Вас, старайтесь быть доброй к себе, хотя бы ради того, что я всегда старался быть добрым к Вам. И если моя любовь может помочь, научить Вас хотя бы этому, то все в моей жизни было не напрасно.

У Шуберта есть романс на слова:

Я не могу найти в снегу следы ее шагов...

Я не помню музыки. Мне кажется, что она должна быть такой, что ее просто нельзя и слушать. И даже лучше не знать реальной музыки, потому что она наверняка не такая.

И о том же говорит поэт, когда клянется:

И моей великою болью
О тебе в великой пустыне.

«Боль о тебе...» Что это?.. Почему «боль»?.. Должно быть, потому, что ничем и никогда человек не может выразить свою любовь в той полноте, как он этого хочет. Нет у людей для этого слов и поступков, не нашли их еще. Всегда любовь в нас полунема, и нельзя с этим мириться, и потому нет исхода этой боли.

(Мне кажется, что ты сама поймешь. И я об этом говорить не буду... Бывает, что словами отпугнешь Любовь — единственное в мире чудо. Чуть двинувшись, рука тебя нашла... Сближаются уста, дрожат ресницы... И — обрела два голубых крыла, и устремилась ввысь любовь, как птица! Пьянящая бескрайность бытия!.. Восторг и боль! Вся мощь и хрупкость жизни! Навеки, да?! Ведь лишь об этом я мечтаю, как изгнанник об Отчизне! Давай побудем молча полчаса. Безмолвие рождает чудеса.)

2. 1. 66
Москва

Только что кончил говорить по телефону с Вами. (То есть, конечно, не только что, минут пятнадцать назад; надо было поработать по хозяйству, убрать после завтрака и т.д., на это у меня уходит сейчас много сил и времени, видимо, я быстро устаю из-за нездоровья, ведь я и ехал сюда больным не для шуток.) Тут грипп, да нет буфета на этаже. (Товарищ занес электроплитку, устроил ее в ванной, где штепсель для электробритвы.)

Но больше этих маленьких неурядиц меня утомляет то, что люди вокруг меня часто не понимают друг друга, какие-то вялые, устало ограничившиеся, недовольные жизнью, в душе «несчастные».

А я не люблю «несчастных». Какого черта! Жизнь должна сама по себе радовать человека, люди, которых она не радует, противны. Счастье — несчастье: что за торгашеский подход к жизни! Из-за него люди и утрачивают часто ощущение радости бытия. Радость должна быть столь же неотъемлемым элементом жизни, как дыхание. Попробуйте не дышать минуту. Ну а вторую...

Тут-то и поймете, что дыхание=радость=жизнь (стоит ли добавлять:=любовь?.. Из данного опыта это вытекает не слишком наглядно, но ведь формула ¹: жизнь = любовь — давно у нас с Вами доказана).

Как бы мне ни было плохо, я не могу думать о себе, как о «несчастном». Ну был бы я другим, «счастливым» человеком, и Вы полюбили бы меня, так это вы полюбили бы того, другого человека, а не меня. Какое мне до него дело!

Я хочу, чтобы Вы меня полюбили, я хочу получить то, что я заслуживаю. И вы мне это даете.

Хотя временами мне кажется, что я заслуживаю капельку большего, чем Вы мне даете. А может быть, я хочу большего, чем заслуживаю? Но человек и должен хотеть немножко большего, чем он заслуживает. Иначе что заставило бы его стремиться быть лучше? А вы повторяете назидательно: «Кто много имеет, тому хочется большего». Да, хочется. Безгранично большего. Неисчерпаемого. Безгранично хочется. И это тоже жизнь. Может быть, именно за такое восприятие жизни Вы и прозвали меня на прощание «сумасшедшим»?

18.1. 66
Москва

«Почему Вы любите меня?», «Почему я одна Вам нужна?», «Почему Вы не боитесь ударов, которые я Вам невольно наношу?», «Почему Вы хотите посвятить мне жизнь и делать меня душевно все лучше и все чище, почему?» (из Ваших писем).

¹ Это слово напомнило мне мое давнее-давнее «эйнштейновское» открытие, что $1 \times 1 = 1$. Я Вам сказал тогда это по телефону, и Вы рассмеялись. Хорошо рассмеялись!..

Ну вот, попытаюсь ответить почему. С каким-то внутренним трепетом я берусь за перо, не потому что это «в последний раз». Нет, «последним моим разом» в этой области будет мой последний сознательный поступок на земле. Затрудняюсь я потому, что это очень важно, трудно, это, по сути, единственно важное в жизни, это необъятно, этому надо посвятить всю свою жизнь, все свои силы, а их у меня сейчас мало — я измучен долгой нелегкой болезнью, — не самой по себе, а тем, что она еще больше ограничивает мои возможности утверждать в мире то, что составляет для меня его главную ценность, — измотан бесконечной нервной перегрузкой, хаосом мыслей, безвыходностью множества ситуаций, неразрывной связью во мне духовного и физического, короче: всеми колючками, которые втыкает в меня жизнь, а каждую из них, которая вонзается в меня только кончиком, я сам в себя всаживаю до конца, потому что я могу прощать всем, кроме себя, потому что я хочу знать всю правду о себе, а этого никогда нельзя узнать, потому что жизнь идет вперед, меняется, а с нею меняется в чем-то и правда, и надо ухватить эту перемену, не прозевать, чтобы ни в чем не солгать ни Вам, ни человечеству, ни в чем не солгать жизни, всему на свете?

Ну так как же выразить: почему? Ведь это нужно даже не Вам, хотя Вы об этом спрашиваете меня, это нужно именно мне. Значит, надо рассказать о себе все-все-все, что я думаю о мире, людях, жизни. И я когда-нибудь, наверное, после больницы расскажу Вам об этом. Только тогда станет понятно, почему мне в жизни нужно именно это! Я говорил Вам уже о тех связях, которые соединяют каждого из нас со всем человечеством, со всеми людьми прошлого и будущего. Это было для вас вроде бы близко и понятно. А от мысли Эйнштейна о том, что он ощущает себя только частью целого и не

слишком озабочен судьбой именно этой частицы, Вы отмахнулись, занятые чем-то иным.

Ощущение своей связи, общности со всеми людьми возможно только через общение с отдельным конкретным человеком. Общаться с миром, Вселенной можно только путем общения с отдельным человеком. Общаясь с некоторыми другими людьми, я всегда общаюсь с каким-то мирком, то меньшим, то большим, иногда даже очень большим, но всегда, в конечном счете, замкнутым в себе, ограниченным. Общаясь же с Вами, общаешься с беспредельным.

Очевидно, это и есть любовь.

Какие-то отдельные прорывы и беспредельность могут быть и в общении с другими людьми — ведь все люди — люди, то есть в чем-то не лишены подлинно человеческого, но человек, дающий тебе это ощущение в объеме, которого ты просто не можешь вместить, — это именно *твой человек*. Так вот для меня такой человек именно Вы. Почему?!

Постараюсь собрать все доступные мне трезвость, логичность, спокойный расчет. Почему?..

Ну, буду говорить очень и очень объективно. Есть ли красивее вас? Сколько угодно. Умнее? Сколько угодно. Добрее, порядочнее, трудолюбивее, аккуратнее, тактичнее, вежливее и т. д. и т. п.? Сколько угодно. Правильно? Правильно.

И тут же вся эта правильность идет к черту. Для меня Вы умнее, красивее, добрее, правдивее, лучше всех! Во всех других эти качества для меня, по сути, мертвы; в Вас они живы, они живут и во мне, заставляют и меня стремиться быть таким.

Я встречал много женщин и талантливых, и умных, и красивых, и человеческих. Знакомство с многими из них очень много дало мне. Один раз, в пятьдесят третьем году, я Вам говорил, было у меня такое духовное совпаде-

ние, которое я могу назвать любовью. Очевидно, оно было рождено моей огромной потребностью любить. Эта потребность вызывала и ряд других более или менее сильных увлечений, но все они кончались довольно быстро. . . Они кончались быстро, потому что, испытывая когда-то то, что можно назвать настоящей любовью, я быстро почувствовал, как это несовместимо с малейшей ложью, фальшью, неискренностью, расчетом.

Но если мне хочется в жизни чего-то истинно настоящего, то почему бы не быть и еще людям с такими же стремлениями? Разве я лучше всех?

Но я отвлекся. Надо объяснить логично, почему все эти умные, добрые и т. д. — ничто для меня по сравнению с Вами.

Вы ничего не боитесь. Вы, такая «слабенькая трусиха», ничего не боитесь. Вы видите все ясно, все плохое и кругом и в себе. И эта ясность зрения — огромное бремя. Но Вы не пытаетесь его себе облегчить какими-то шорами, каким-то самообманом. Вы — маленькая, слабая, незащищенная, грешная (употребляю Ваше слово), но и бесстрашная. И сильная.

Да, Вы и капризная, и слабая, и резкая, и эгоистичная, и все, что угодно. Но Вы честная, предельно честная и не можете быть иной.

Вы делаете, может быть, не все, что можете, но Вы делаете бесконечно много. Да, при всей Вашей «бездельности», тоске, срывах Вы именно *делаете* очень много, и за это я люблю Вас. Вы заставляете меня верить, что в жизни в человеке есть подлинно прекрасное и великое. И за это я люблю Вас. Правда, это прекрасное в Вас слабо, хрупко, часто срывается, плачет над своей слабостью, но не сдаётся, не гибнет в своей одинокой борьбе, и это добавляет к моей любви бесконечную нежность.

И это прекрасное в Вас — такое человеческое в своей

беззащитности! — заставляет меня стремиться быть подобным ему.

Вы заставляете все время быть беспощадным к себе. Никто другой не может дать мне этого. И за это я люблю Вас.

Неужели Вам кажется, что я сегодня такой же, каким был при знакомстве с вами? (Господи, мне кажется, что я был тогда совсем мальчишкой!) Может быть, я тогда внешне выглядел сильнее. Но Вы помогли мне по-настоящему пренебречь всеми внешними ценностями. Когда я ощутил в Вас то бесконечно прекрасное, великое в своей слабости, что таится в душе каждого человека, составляет его подлинно человеческую сущность и так невыносимо томится в Вас, то чем стало для меня все остальное? . . . Правда, без внешних жизненных форм тоже нельзя обойтись, они нужны, а я, к сожалению, могу предложить Вам лишь «внутренние ценности», но все равно все, что у меня есть, — Ваше, для Вас, во имя Вас. Потому что Вы — жизнь, любовь, Вселенная.

Вот. Логично это, понятно, доходчиво?

На сегодня я не могу выразиться понятнее: Люблю. . .

(Вобратъ в душу все богатство мира, все новое и старое в жизни, все надежды, потери, завоевания и победы человечества, всю его мудрость и всю его боль — разве это не счастье, разве это не огромное счастье, подобное вечернему солнцу, когда оно удаляется на время из своего необъятного царства и погружается в море и чувствует все богатство свое при виде бедного рыбака, подгоняющего свою лодку *золотым веслом!* . . .)

9. II. 66

Вечером принесли второе Ваше письмо. «Недоконченное»? Почему? «Слезное»? Почему?! Самое нормаль-

ное и человеческое из всех Ваших писем: самое правдивое. . . Но мне трудно отвечать на него. Я вдруг так ясно увидел, насколько умнее и тактичнее нужно быть в обращении с Вами, настолько глупо и неуместно могут выглядеть разные мои «умные» мысли и шутки. Одна надежда на то, что Ваша интуиция поможет Вам видеть за ними мое подлинное отношение к Вам, которое, право же, лучше моих слов и поступков. Наверное, надо любить Вас больше, самому быть больше, чтобы понять, что именно Вам нужно в жизни, и дать это Вам.

10. II. 66

Увы, я сегодня, кажется, еще меньше, чем вчера, способен написать что-нибудь толковое. Снова вечер, снова я один.

Вы пишете, что «умные мысли» (Стендаля, Толстого, Ромен Роллана) не могут Вам помочь. Но ведь это люди куда как не глупее нас, и часто им бывало не лучше, чем нам, и ведь мысли эти не только о них, а и о нас. Они — наши друзья. Они — мы.

Поищите же каких-то последних шагов к истине. Мне очень хотелось бы и самому помочь Вам хоть чем-то. Я рад, что я помог Вам поближе познакомиться с ними, с Шекспиром. А может быть, и тем, что я на деле пытаюсь доказать Вам, что должны быть и могут существовать по-настоящему человеческие отношения между людьми.

Но за это я сам должен быть благодарен Вам. Без Вас я не знал бы этого. Все-все, что Вы даете, заставляет меня любить Вас еще больше.

(«Не ценят люди никогда того, что им легко досталось? . . .» О, как мало в словах подобных сердца твоего!

Не ведала сама ты, что сказала. Легко? . . . Чтоб стать таким, каков я есть, твоей любви достойным с первой встречи, я должен был, не сдавшись, перенести гнет всех разящих жизнь противоречий. Все скорби мира я до дна познал, ложь, гордость, черной зависти заразу — все видел я. . . Но я не изменял себе — а значит, и тебе! — ни разу. Никто — мерь хоть на золото, хоть на кровь — такой ценой не покушал любовь.)

4. III. 66

Вчера у меня выдался какой-то хороший момент. Одиннадцатый час, свет в палате выключен, все спят, я слушал наушники — Моцарта. Ничего, что больница, ничего. Тишина, покой, музыка, какие-то ясные мысли о Вас. И вдруг все как-то стало на место, и на душе хорошо, и хочется жить, работать.

Но работать мне трудно еще и потому, что этим как-то очень противопоставляешь себя окружающим, отрываешься от них. Неизбежны вопросы соседей по палате: «Чего это ты пишешь? Объяснить — нескромно. Да и глупо показывать неоконченные переводы испанских стихов. А не показывать — тоже некрасиво. Впрочем, люди разные. А суть в том, что я, несмотря на хорошие минуты, очень устаю от этой обстановки. В тбилисских больницах хоть условия, в общем, и хуже, но легче уединиться, обособиться. . .

А иногда вдруг такая тоска берет, и хочется одного: видеть Вас, слышать Ваш голос, смех. . . А кругом — жизнь, настоящая жизнь. Люди волнуются, страдают, уходят на трудные операции, через несколько дней возвращаются в палату из послеоперационных боксов, а один, сосед мой, все порывавшийся мне помогать, не вернулся. Да, все эти люди живут по-своему, по-настоящему.

Чувствую, что все они мне близкие, родные, и нужен какой-то «мостик» к ним. Мой «мостик» к людям, к жизни — Вы. Вы чудо, которое я хочу постигнуть. Вам самим дано творить с людьми чудеса, но... из меня чуда не получается.

(И в любви и в искусстве бывает нечто подобное удару молнии, когда тебе открывается истина, с которой легко и жить, и умереть...)

1.IV.66

А в ночь на 29 я умирал. Жар, духота, кровь свертывается в жилах и не подает в мозг кислорода. А я не хочу умирать. Нельзя.

И, наконец, к утру несколько минут полудремоты. Сон: я в последний раз в каком-то номере гостиницы. Стою у стола. Входите Вы, босиком, в чем-то длинном, белом, с полураспущенными волосами. «Зачем Вы здесь?» — «Просто пришла».

И я опять в номере один, лежу на диване, не могу встать. И снова входите Вы. Вы на миг, но крепко приложились щекой к моей щеке — правой... .

Я один в номере, мне совсем уже плохо, но снова на темном прямоугольнике двери появляется Ваше белое видение.

К вечеру меня спасли.

Но зачем Вы приходили?... Зачем? Может быть, чтобы не дать мне умереть?

2.IV.66

Неужели вы не заметили, как мало значит для меня все внешнее? Я вовсе не хочу, чтобы меня считали «же-

лезобетонным», мне так же больно, как и другим людям, а часто гораздо больнее, но в страхе боли есть что-то трусливое, слабое, рабское, можно утратить самое драгоценное — чувство человеческого достоинства.

Я не желаю подчиняться разной мрази, унижаться перед ней. И отсюда рождается и гордость, и сила, и стремление возвыситься не только над такой мелочью, как боль, но и над всем ничтожным в жизни, стремление жить и любить по-настоящему.

Жизнь захватывает меня, как какой-то бурный вихрь, но в то же время словно и бросает меня с размаху в болото (мои болезни), из которого выбираться так невероятно трудно (если бы Вы почаще протягивали хотя бы свой мизинчик!).

Надоело повторяться, но ведь жизнь — это любовь, а потому я и люблю Вас всей силой своего существа.

Страстность моего влечения к Вам вовсе не требует бетховенских бурь, нет, мне хотелось бы любить Вас спокойно, но чтобы это было спокойствием музыки Баха: вобрать в себя весь трагизм жизни, подняться над ним, ничем не поступившись, избавиться от бессмысленных, бесцельных страданий, стать по-настоящему большим, добрым, любящим — *человечным*.

Я такой человек, которому нужно, чтобы Вам было как можно больше «хорошо» и чтобы это было как можно больше благодаря мне. Вот венец моих эгоистических желаний! А теперь уже Ваше дело судить, будет ли мне когда-нибудь хорошо или нет. И жизнь мне будет нравиться до тех пор, пока я буду чувствовать, что могу делать для Вас что-то хорошее, чего у Вас не было бы в жизни, не будь меня. А когда от Вас долго нет вестей, то у меня утрачивается ощущение этого. Так было и перед операцией (вы ведь не сердитесь, что я утаил от Вас день, когда мне ее делали) — от Вас шли в то время чисто «информационные» письма, те самые, что Вы сами

назвали «сухими и черствыми». Но хватит, Вы еще скажете, что я заставляю Вас чувствовать себя «виноватой». Нет, нет и нет! Никогда я не считал Вас ни в чем виноватой! По-моему, Вы человек исключительно честный. Особенно перед собой, и поэтому никогда и ни в чем я Вас не виню. И хотя мне иногда бывает больно, я думаю не о собственной боли, а о Вашей, потому что Вы ведь все видите...

Я люблю в Вас земного человека — живого, может быть, слишком хорошего, чтобы быть счастливым и... слишком слабого, чтобы не почувствовать себя беззащитным.

А вчера я услышал — в коридоре стучат каблучки, торопятся. Думаю: в первую палату к старикам молоденькие не ходят, во вторую — не к кому, кроме меня, день неприемный. Так и есть. Заворачивает к нам, в первую секунду не узнаю, потом узнал: Белла.

Э.

P.S. А если бы Вы вдруг вошли в палату, я не удивился бы, просто занялось бы сердце, захлестнуло бы грудь горячей волной, я закрыл бы на миг глаза, а открыв их, рассмеялся бы, взял Вас за руку и сказал бы какие-нибудь первые пришедшие на ум, ничего не значащие слова, потому что слов равнозначных такому событию нет и быть не может.

6.V.66

А мне сегодня снова лучше! Это, конечно, потому, что Вы оказались вчера дома, когда я позвонил. Отсюда, из московской больницы, страшно трудно до Вас добратся по телефону. Надо умолять, интриговать. Но лучше

еще и потому, что я все-таки умный, хотя и пишу Вам глупые письма, я добился того, что мне вчера поменяли трубку¹. Я им два дня про это говорил, вчера согласились. Сегодня спрашиваю: очевидно, из-за трубки было ухудшение? Вероятно, говорят. Вчера было у меня много народу.

Единственное мое удовольствие здесь — писать Вам. Но это лучше делать мысленно. На бумаге «не то», а потом... мышление у меня стало какое-то разорванное, хаотическое, ничего не могу толком сообразить. Хочу видеть Вас, может, тогда в мозгах что-то станет на место.

Злитесь на себя побольше, это полезно. Но... вопрос: «Что мы будем делать с Вами, с такой?..» Есть, должен быть, ответ и на этот вопрос. И напрасно Вы пишете, что у меня всегда один и тот же ответ на все вопросы. Нет, не один и тот же, и, может быть, я еще что-нибудь придумаю, хотя Вы и не верите в это. Наверное, мне нужно было бы для этого любить Вас как-то лучше, сильнее, самоотверженнее, а я сейчас как-то «не в форме», нужно вырваться отсюда, войти в норму, и, может быть, все последние испытания и дадут мне возможность добавить к моему чувству к Вам что-нибудь нужное, полезное для Вас, чего я раньше не мог. Я не хочу, чтобы Ваша жизнь рассеялась в пустоте, Вы достойны совсем другого и не предавайтесь самобичеванию в письмах ко мне. С Вами нужно быть очень добрым, я, наверное, этого не умею в должной степени.

Э.

(Цель жизни — жизнь. И если ты живешь, ты должен быть борцом во имя жизни. Служи любви, искусству

¹ В больнице Эдуард Гольдернесс был подвергнут сложной урологической операции для устранения тяжелого недуга, явившегося последствием неподвижности.

иль Отчизне — ты все равно на этот путь придешь. Пример любви Фархада и Ширин кому для жизни не прибавит силы? Родили жизнь безмолвные могилы Отчизну спасших в дни лихих годин. В борьбе за жизнь всем могут счастье дать расчет и воля, смелость и упорство. Но трижды счастлив, кто в единоборство вступил со смертью, чтобы побеждать. Ему дано бессмертие познать!.. За это счастье можно жизнь отдать...)

19.V.66

Ну вот, мне сказали, что ориентировочно можно планировать выписку на вторник, то есть на 24. Встреча с Вами надвигается, как горная лавина. Нет, я вполне нормальный, просто очень истосковавшийся по Вас! По жизни!

Я все думаю: прошли тысячи поколений, миллиарды людей, и в будущем им «нести» числа... Французские ученые выдвинули гипотезу о том, что свет от первого огня, зажженного человеком, еще несется где-то в пространстве, и будь у нас соответствующие приборы, его можно было бы обнаружить. Так же бессмертен свет Вашего существования и моего тоже, моей любви к Вам. Это уже нельзя уничтожить.

В минуты, когда думаешь об этом, клянешь собственное косноязычие.

Мне все же кажется, что иногда мне удастся сказать Вам что-то нужное о Вас, о моем чувстве к Вам, и если бы собрать все это вместе, то получилось бы нечто цельное и даже необходимое людям. Но, к сожалению, это теряется в потоке моих беспомощных писем, моим мыслям не хватает единства и цельности, которые помогли бы Вам лучше меня понять. А мне бы хотелось сказать Вам нечто, может быть, даже и для других небесполезное,

способное помочь им взглянуть на мир, на жизнь правильными, здоровыми глазами, умеющими видеть бесконечную красоту и ценность жизни.

А Вы должны любить себя, как следует, и быть к себе не снисходительнее, а, повторяю, добрее. Помните у Вальехо: «А еще хотел бы я добрым стать с самим собой во всем». И я хотел бы быть добрым с самим собой, но нипочем не буду, а Вы должны быть доброй с самой собой! Помните у Вальехо: «Да заструится вечность под мостами». А помните, это, по-моему, Ваше любимое: «Бывают дни, когда я вдруг охвачен безудержным желанием любить... Без памяти любить...»

Э.

9.VI.66
Тбилиси

Ну вот я и вернулся... Теперь пишу из того города, в котором живете и Вы.

Все завидуют моему «оптимизму» и жизнерадостности, тому, что люди ко мне тянутся, тому, что в доме у меня полно народу, и никому не приходит в голову, какой ценой за это заплачено...

А у меня на всякий случай и на всю жизнь две просьбы.

Во-первых, знайте, верьте, что Вы гораздо больше такая, какой вижу Вас я (право же, я все-все вижу, «колючая грешница!»), чем та, которую видят все остальные, в том числе и Вы сами.

А второе — вопреки всем Вашим возможным супругам, доверяйте мне больше всех на свете (для меня это и значит любить по-настоящему, хотя мое отношение к Вам вовсе не включается в рамки «платонического»), знайте, что любая частица Вашей души, любой поступок

будут мной поняты и приняты, найдут у меня достойный Вас (а значит, и меня, который сумел разыскать и разглядеть Вас такую, со всем, что в Вас есть) человеческий отклик и словом и делом.

Ну, а еще я хочу сказать, что все «внешние» беды, включая самую страшную из них. — смерть, — все это не так уж много значит. Ведь все люди умрут, а у настоящего человека всегда должно быть что-то, что для него дороже жизни, выше смерти. . .

Э.

15.VI.66
Тбилиси

Мне нужно знать, что мир для Вас лучше, если в нем есть я. Иначе ради чего я переносил бы все эти бесчисленные пытки? Я непрерывно люблю Вашу человеческую радость, я хочу сделать все, что могу, чтобы она цвела у Вас в душе.

Помните я писал Вам: чтобы ответить на вопрос, почему я люблю именно Вас, надо рассказать о себе — что я думал и думаю о людях, о мире, надо рассказать о моем детстве, о моих исканиях истины. . .

Э.

Часть 2. Тетрадь для нее

Почему Вы, именно Вы мне так бесконечно, неизменно нужны?

Может быть, попытка понять, что я такое, для чего я жил, во что выкристаллизовалась основная задача моей жизни, — сумеет помочь решить этот вопрос.

Ну, так что же я такое, зачем я? . .

О раннем детстве вряд ли можно сказать многое. Помню только, что я был очень впечатлительным, с непомерно развитым воображением... Помню такой случай, отец взял меня с собой в деловую поездку в какой-то недалекий прибрежный пункт. (Мы жили тогда в Новороссийске, было мне четыре-пять лет.) Надо было уже ехать обратно (катером), мы шли по полусельской местности, отец с сослуживцем впереди, я чуть сзади. Вдруг мне приглянулся какой-то цветочек недалеко от дороги. Я подошел к нему, наклонился, взял за стебелек и... посмотрел вслед взрослым. Они отошли уже довольно далеко, и меня вдруг охватило ощущение заброшенности; они уйдут, уедут, забыв про меня, и я останусь один «на чужбине»! Я оставил цветочек и со всех ног бросился вдогонку. До сих пор не понимаю, почему я не сорвал тогда цветочек? Ведь я уже держал стебелек пальцами...

Когда мне было шесть с половиной лет, мама прочла мне и сестре вслух «Детей капитана Гранта» и «Маугли». У меня и до сих пор особая любовь к этим книгам. Затем я и сам стал читать. В восемь лет меня обследовала какая-то медицинская комиссия, нашли, что у меня умственное развитие как у шестнадцатилетнего и вообще задатки гениальности (увы, куда они делись?!). Я читал в то время не только Жюль Верна и Майн Рида, а и Вальтера Скотта, Диккенса, Шекспира, Дарвина («Путешествие на корабле «Бигль»). Мне запретили читать, чтобы не переутомлять головы, но ничто не могло уже меня разлучить с книгами: я глотал одну за другой — «Пищу богов» и «Войну в воздухе» Уэллса, «Черную Индию» Ж. Верна... Но больше всего пленял мое воображение «Капитан Сорви-Голова» Буссенара, прочитанный в старом журнале. Эта книга будила фантастическую жажду подвигов, сражений за свободу и пр. Не упрекайте меня в «кровожадности», все мальчишки иг-

рают в войну, нисколько не представляя себе в реальности, что такое смерть, убийство. . . А вообще у меня была колоссальная мечта: стать ни более ни менее как. . . властелином мира! (Может, начитавшись Ж. Верна.) На моих кораблях будут установлены гигантские парабеллумы, я разгромлю флоты всех капиталистических держав, весь мир будет мой, везде будет порядок и справедливость, и людям будет жить хорошо.

Мне хотелось создать — из какой-нибудь страны — Землю в уменьшенном виде, — все континенты, моря и острова. И чтобы там жили только дети и все делали бы сами, как на детской железной дороге. И до чего же все они были бы счастливы! Самым восхитительным мне казалось пожить в таком счастливом детском мире, и не каким-нибудь там «властелином», а просто, как все. Ну, может быть, разве только подольше, чем другие. Жалел я лишь о том, что пока все это будет сделано, я уже вырасту и мне не придется пожить в такой чудесной детской стране.

Тогда же, восьми-девяти лет, я и влюбился в первый раз. Она была на шесть лет старше и очаровательна, как героини всех книжек, вместе взятых. Странно, но между нами было какое-то подобие внутреннего контакта. Как-то я стал невольным свидетелем одной из ее «тайн», мы встретились взглядами и улыбнулись, она поняла, что мне абсолютно можно довериться. Меня не смущали ее бесчисленные поклонники, я знал, что когда я вырасту, все они померкнут в ее глазах. Ведь я мысленно совершал столько подвигов в ее честь! Например, полчища врагов, похитивших ее, разгромлены мною впрах, я вхожу во вражеский лагерь, подхожу к стоящему в его центре шатру, откидываю дверцу и говорю ей: «Вы свободны». Тут же я падаю у ее ног, истекая кровью от бесчисленных ран, она склоняется ко мне, смотрит мне в глаза и понимает все. . . Она вышла замуж, когда мне было

16 лет, я очень горько пережил это. Потом вскоре она развелась, и мои надежды возродились. Семнадцать лет она царила в моей душе, я помнил каждый ее взгляд, жест, улыбку. Ну, а потом... горькая действительность вытеснила фантазии.

Из второго класса я перескочил сразу в четвертый — общее развитие позволило сделать это. Ребята все были, примерно, на год старше меня, и физически я котиrowался «ниже среднего». Зато лето в Анапе я был среди окрестных мальчишек беспорным «чемпионом». Пишу об этом, т. к. для мальчика, для формирования его личности, психологии, очень важно, в каком «физическом разряде» он состоит в той мальчишеской среде, в которой растет. Побывав в «слабых», я научился не обижать их, а, побывав в «сильных», научился давать отпор любому детине. Я играл в нашей классной футбольной команде. Футбол я обожал, после уроков оставался в школе и играл. Бывало, что я возвращался домой часам к шести. Дома не мешали, так как хотели оторвать от книг.

Чем я интересовался в те годы? Как ни странно, я хотел стать... космонавтом! Это была моя большая мечта. Я собирал книжки Циолковского, Перельмана, рисовал на уроках ракеты. Длилось это лет до семнадцати, когда я уже ясно понял, что ничего не выйдет. Играл я в шахматы. Если бы не болезнь, я бы почти наверняка стал чемпионом Тбилиси среди школьников, ибо все мои основные конкуренты были классом старше.

Мне мешала в детстве (да и потом) излишняя застенчивость и скромность. Так, например, когда я выигрывал в шахматном клубе, мне казалось, что это случайно, а не по заслугам. Мое мнение передавалось, очевидно, и противникам, но... я снова выигрывал. Однако уверенности у меня все равно не появлялось. Так и мои сонеты — через много лет, когда их высоко оценивали столь разные люди, и все, в общем, компетентные, в том

числе С. Маршак, мне все казалось, что это по какому-то странному совпадению, а в сонетах-то, может быть, ничего и нет.

Лет двенадцати я неудачно нырнул в волну на пляже в Батуми. Волна была непомерно большая, и я какую-то долю секунды колебался: не удрать ли? Это опоздание стоило мне того, что волна меня закрутила, грохнула о камни и чуть не утащила вглубь. Я еле выбрался, прихрамывая. Сразу охи да ахи, — и по врачам, те выдумали воспаление некоей надкостницы от ушиба, послали в Анапу. Там я с утра принимал солнечные ванны, лежа как можно ближе к воде, на тонкой подстилке, на еще не прогретом солнцем песке. Тут-то сырость и прокралась в мои суставы. Они начали иногда побаливать, мне запретили играть в футбол (я, разумеется, играл), а потом я сильно расшибся в спортзале — прыгал с раскачивающихся колец вниз головой, делая сальто в воздухе. Размах был очень большой, страховавший товарищ отошел, я опять какую-то долю секунды колебался и... нужный момент был упущен. Я упал на мат не ногами, а «сидением». Мне вышибло из легких весь воздух, позвоночник получил сильную травму. Но мне, увы, нипочем было и это. Через несколько месяцев, встречая на вокзале — шел страшный дождь — приехавших из Ленинграда сестру с мужем, я забрал у них два чемодана и, не пережидая дождя, бегом снес их домой, а там не переоделся в сухое. Вечером пошли на бульвар гулять, а встать со скамейки я не смог: распух и не давал наступить на ногу правый голеностопный сустав. Еле добрался до дому, на другой день распухли колени, температура 40. Чуть подлечившись, приехал в Тбилиси, собирался идти в школу (в 9-й класс), но тут обострение. Три месяца больницы и... Ну, одним словом, жизнь Эдуарда поломалась, начался новый этап.

Экзамены за 9-й класс я, по разрешению Наркомпро-

са, сдал на дому (отлично). За 10-й класс было куда труднее. Болезнь прогрессировала. Болели плечи, глаза, я не мог писать.

Война очень усложняла жизнь.

Я совсем лишился возможности передвигаться. С утра меня устраивали — отец и мать — у стола в шезлонге, ставили на стол графин с водой и керосиновую лампу. И уходили на работу. Когда темнело, я зажигал лампу, но скоро приходилось ее тушить, так как в Тбилиси было затемнение. Никто меня не навещал, жизнь всех разматала.

Итак, на весь день я оставался один. С книгами и своими мыслями. Это были очень одинокие часы. Держался я хорошо, не хныкал, но... положение говорит само за себя. Читал я много. И все время рядом со мной был Лермонтов.

У Лермонтова есть великолепное стихотворение: «В чугу́н печальный сторож бьет». В него под конец внезапно — а на самом деле это так подготовлено контекстом! — врывается строка: «Как я забыт, как одинок». В первый раз я просто словно бы споткнулся об эту строку, она меня ошеломила, на глаза навернулись слезы — за Лермонтова, за себя, за всех...

Может быть, именно тогда во мне зародилась идея борьбы с одиночеством, с непробиваемой стеной, стоящей между двумя людьми. «Если двое говорят одно и то же, то это не одно и то же», — говорили древние римляне. Да, это так, я собрал массу цитат на эту тему, они угнетали меня, но где-то подспудно я чувствовал, что можно, нужно бороться с этим, Лермонтов учит такой любви и страстности в борьбе за жизнь, за человеческое в ней.

Однако жизнь давила. Умерла сестра после ленинградской блокады. Убили на фронте (просто невообразимо нелепо!) зятя, чудесного человека, ленинградского физика.

Болезнь прогрессировала. Месяцами болели глаза, я не мог читать (мама мне читала вслух, так она прочла мне «Идиота», «Братьев Карамазовых», «Подростка», «Бесов», романы Бальзака — «Утраченные иллюзии», «Кузина Берта», «Кузен Понс», «Сельский врач» и др.). Роллан пишет в «Жане Кристофе» об Оливье: «Все исторические преступления и несправедливости заставляли его страдать так, словно он сам был их жертвой». Это словно бы про меня в те годы.

Пытаясь осмыслить все это хаотическое разнообразие жизни, определить место человека в ней, я пришел к выводу, что вроде бы самое правильное и высшее, что может сделать человек, — это пожертвовать собой ради других людей, ради человечества. . .

И тут мне попался в руки затрепанный последний том «Очарованной души» Р. Роллана (начиная с совместного життя Марка и Аси и до конца). Это было для меня каким-то невероятным откровением. Я находил там тысячи своих мыслей, только высказанных более четко, уверенно, я находил там тысячи новых мыслей, которые немедленно становились моими. Едва кончив книгу, я начал читать ее заново — невозможно было вместить все это в себя сразу.

Так, значит, я не один в мире?! Есть у меня и друзья, и соратники, и наставники, значит, я на правильной дороге, и иного пути просто быть не может! И сколько еще можно и нужно узнать о мире, о жизни, о людях!

Этот период я считаю для себя словно бы вторым рождением на свет. (Мне для таких перерождений нужен, очевидно, какой-то цикл лет в 10; в следующий раз я ощутил подобное, когда к 1955 году почувствовал себя вполне сформировавшейся личностью и пришел к выводу, что человек «бессмертен», а еще через 10 лет я встретился с Вами и. . . вступил насовсем, навсегда

в новый мир; больше уже ничего не должно, не может быть.)

Я стал собирать все книги Роллана, «Жана-Кристофа» я перечитывал чуть ли не каждый год, — первые тома «Очарованной души» мне понравились меньше. Но чуть ли не самым лучшим у него я считал «Кола Брюньона». Впервые я прочел кое-что Роллана лет в 15—16, когда читал все подряд для эрудиции, но он показался мне непонятным, скучным, грубым. Всею свое время. Мне страшно подумать, что если бы, например, я встретил Вас лет десять тому назад, я мог бы не понять Вас, не заметить.

В те же годы я понял Маяковского, прочел подряд всего Чехова и полюбил на всю жизнь.

Весной 1946 г. я начал лечение массажами. Оно фактически и поставило меня на ноги, дало ту некоторую возможность передвижения, которой я пользовался все шире до известной Вам автомобильной катастрофы. . .

Массажист этот был просто великий мастер своего дела. Он меня очень полюбил (он умер в 1954 г.) и старался, как мог. Сеансы длились по два — два с половиной часа, и сравнить их можно только с гестаповскими допросами. После первого сеанса, когда у меня хрустнуло что-то в спине, я решил, что это разошлись позвонки в одном месте, — я подумал: у человека 32 позвонка, ну, отбросим семь, остается 25; если на освобождение каждого позвонка нужен один сеанс, то никакого выздоровления не захочешь. Я перенес не 25, а 525 таких массажей, правда, потом они уже стали полегче. Сперва сеансы начинались в пять часов. С утра я уже не мог ни о чем ином думать. Только после сеанса я мог снова чувствовать себя человеком, говорить с людьми, читать, ну, словом, жить. Один раз я во время сеанса просто. . . расплакался. В другой раз удержался, но массажист испугался, что у меня может быть нервный паралич. Вооб-

ще-то он считал, что у меня исключительное терпение, но... А раз он мне сломал костное сращение в левом колене. С тех пор я знаю, каково живому человеку, когда ему ломают кости. Он разогнул сустав, — силы рук не хватило, и он, поставив ногу на кровать, положил мою ногу себе на колено — до предела — до предела и, когда уже невозможно было больше терпеть, слегка тронул колено пальцем. Это была «последняя капля», раздался сухой треск, и он поспешно опустил ногу на кровать. Тогда-то на всю жизнь я и понял целительную силу легкого прикосновения человеческой руки. В тот день я не позволял никому проходить возле кровати, ибо даже сотрясение пола вызывало сильнейшую боль. А на завтра опять...

Потом он стал приходиться по утрам, что было огромным облегчением, а то я просто — жизни не видел.

Почему я пишу об этом? Да потому что физическая боль может играть огромную роль в формировании характера, личности. Она придает не только закалку. Вырываясь из этого ада, учишься по-новому ценить жизнь, дорожить ею, любить ее. Я не встречал человека, которому пришлось бы за свою жизнь перенести столько физической боли (о боли, так сказать, «душевной», тоже большим воспитательным факторе, я вообще говорить не собираюсь), сколько мне, это мог бы быть только кто-нибудь, побывавший в немецких застенках.

В 47—48—49—50 годах я ездил в Цхалтубо. Это было для меня каким-то «выходом в свет», я стал общаться с людьми (ведь за первые годы болезни я видел всего человек 20—25, включая почтальонов и инкассаторов).

В 1948 г. я поступил в Московский заочный полиграфический институт на редакционно-издательский факультет.

Весной 1951 г. я поехал с мамой в санаторий на курорт Менджи. Там я познакомился с очень дорогим

другом — студентом-архитектором из Ленинграда, бывшим фронтовиком. Это было какое-то сверхчудесное взаимопонимание. Я привез его на машине в Тбилиси, он погостил у нас. Два — два с половиной года это чувство доминировало в моей жизни. Когда я писал ему, я словно бы погружался в какое-то вдохновение. И не с ним одним я пережил подобное.

Эти годы были для меня годами большого духовного роста, фактического становления личности. Да, мне хотелось от жизни чуда, поэзии, «невозможного, становящегося возможным». Я очень жадно поглощал все, что мог узнать о мире, делился этим с друзьями. Это самое приятное в жизни — открывать в ней что-то новое и делиться этим с другим, которому оно тоже нужно. В эти годы складывались у меня дружеские отношения, которые своей интенсивностью и плодотворностью заставляли меня считать проблему одиночества практически решимой. И в то же время я чувствовал себя каким-то «скульптором человеческих душ», я видел, как преобразуются люди благодаря общению со мной.

Не нужно думать, что все шло так уж безоблачно, гладко. Были и трудности, и периоды какого-то внутреннего срыва и отчаяния, о которых никто не знал. Но все это постепенно оставалось позади. К 1955 году после всего пережитого (и окончания института, и знакомства с Маршаком) я снова почувствовал себя каким-то новым человеком. Я уже твердо знал, чего хочу в жизни, мог отвечать за все свои поступки, вышел из-под власти эмоциональных срывов, стал хозяином жизни и даже смерти, потому что, если у человека есть что-то такое, что для него дороже жизни, за что он готов в любой миг отдать свою жизнь, значит, он, фактически, «бессмертен», смерть, как таковая, как фактор, определяющий поведение людей, для него уже не существует. Меня поразила одна запись Л. Толстого (я как-нибудь покажу ее Вам). Бук-

важно в том же возрасте, в очень похожих условиях, он «стал думать, как только раз в жизни люди имеют силу думать», и пришел чуть ли не к тем же выводам о жизни, что и я (о «бессмертии» в том числе, хотя он, вероятно, вкладывал в это другой смысл).

Для меня кончился период «ученичества», жадного постижения знаний о жизни, добытых другими людьми. Хватит усваивать чужое... Я писал сонеты — но я к ним не относился серьезно, да и как средство воздействия на людей искусство меня не удовлетворяло. Слишком медленно. Сколько лет существуют шедевры искусства, а люди изменились меньше, чем хотелось бы. Я привык к тому, чтобы люди преображались у меня на глазах. Мне нужны были новые человеческие отношения, и они получались, но... Что-то было все-таки неладно. Я чувствовал себя вполне сложившимся человеком (увы, пощаднато, но что поделаешь!), я создал, сформировал себя (огромной внутренней работой), у меня ушел разлад между «хочу» и «надо» (это, по-моему, первое условие гармонии личности). Если у меня возникало какое-то желание, стремление, мне уже не надо было тщательной проверки разума: а нужно ли это, а правильно ли это? Конечно, правильно. А если разум, в свою очередь, выдвигал какую-то бесспорную проблему, то она немедленно одевалась и эмоциональным содержанием. Было достигнуто какое-то органическое единство всех душевных сил. В этом, пожалуй, достигается высшая свобода проявления человеческой личности.

Я не хочу, чтобы в этой проповеди слияния в человеке разума и чувства Вам чудилось что-то рассудочное, сухое. Нет, в этом единственно возможная свобода личности. Энгельс говорит по поводу свободы, что законы природы менять нельзя, но можно их разгадать, понять и тогда уже приобрести полную свободу действий, не совершая нелепейших и даже роковых ошибок. Другого

определения свободы нет и быть не может. Но чтобы разгадать, нужно действовать. Иногда жажда деятельности меня так переполняла (и переполняет сегодня!), что я кажусь себе не человеком, а вулканом. Мне даже кажется, что это и со стороны должно быть заметным.

Самой большой отрадой моей жизни, до встречи с Вами, был Маршак. Он считал, что мне надо жить в Москве. Так возникла у меня мысль о переезде (который так и не удалось осуществить, несмотря на все хлопоты). Новые люди, кипучая деятельность, перемена обстановки, полная самостоятельность — все это могло помочь поднять какие-то новые пласты жизни, подняться на какую-то более высокую ступеньку, продвинуться дальше к своей цели. А какова эта моя цель? Разве уже не ясно из контекста? Я пришел к выводу — не рассудочно, нет, это органически созрело во мне, — что самое главное из того, что отравляет людям жизнь (в моем окружении) — это неправильность, неустроенность их отношений между собой.

Нужно, конечно, бороться за социальную истину, лучшие люди минувших веков посвящали себя этому, но теперь это уже поняли все, это делается в мире (а в нашей стране создано новое общество).

Нужно, конечно, чтобы в мире не было голодных, рабов, несчастных, нужны и хлеб, и жилища, и розы.

Но... дальше возникают вопросы развития в человеке именно человеческого... Маяковский начал об этом поэму — «Пятый интернационал», но тогда во время разрухи она была несвоевременной. Да, «всему свое время», и сейчас это время уже настает, надо бросить силы и на этот фронт, как на самый нужный и передовой (тем более, что на другие фронты мне были пути заказаны). Все, косвенно и прямо, в моей жизни было посвящено этому — борьбе за новые, более правильные человеческие отношения. Я говорил об этом с Маршаком иногда. И он фак-

тически благословил меня на это. Он мне как-то сказал: «Люди вдыхают кислород и выдыхают углекислоту, а Вы всегда окружены хорошими людьми, Вы, словно бы, наоборот, выдыхаете кислород, и рядом с Вами легче дышится». В другой раз после какого-то большого разговора в компании о человеческих отношениях он сказал мне на прощание: «Сейчас особенно нужна душевная чистота...»

Почему я пишу это Вам? Не для хвастовства, нет. Ведь для меня это было каким-то подтверждением правильности выбранного мною пути, а оно очень нужно где-то внутри для себя, потому что достигается это, несмотря на всю свою органичность и естественность, путем огромного и непрестанного напряжения всех душевных сил, и в углублении ощущения общности со всем человечеством. А чувство это во мне очень сильно и органично. Иногда мне кажется, что моя энергия — это результат того огромного потока жизни, который струится через меня — независимо от моей воли — из прошлого в будущее. Я чувствую в руке моей то самое золотое весло.

Я считаю, что каждый человек — в той или иной степени — связывает своим существованием все человечество прошлого со всем человечеством будущего. Для меня все это очень наглядно и просто. Ведь в формировании моего характера, личности играли роль и Александр Македонский, и Спартак, и братья Гракхи, о которых я читал в детстве. И Софья Перовская. И Александр Ульянов. И Владимир Ильич. Но мы знаем о них со слов других, значит, и все «пересказчики» внесли в меня свою долю. А Пушкин, Лермонтов, Чехов, Маяковский, Шекспир, Ромен Роллан. Был бы я таким, каков я есть, без них?

Но как бы ни был самобытен и огромен их дар, он развивался во мне в общении с другими людьми, которые

тем самым тоже незримо вошли в меня. Друзья детства, с которыми я учился первым шагам науки общения с людьми. Чему-то они меня научили, что-то внесли в меня, а они же сами взялись не на пустом месте — у них были родители, своя среда и окружение. Все это во мне, все через меня тянет нити в будущее. Все это переплавилось во мне, слилось с моими данными, подверглось воздействию моей целенаправленной деятельности. Только таким путем я стал самим собой, чем-то индивидуально неповторимым, и при общении с людьми сообщал им уже какой-то свой единый комплексный импульс, который через них идет дальше.

Может, и в этом можно видеть какое-то решение вопроса о «бессмертии». Я встречался со многими людьми, на многих сильно влиял (иногда сам того не замечая); в них, в их общении с другими людьми не пропадет то, что было получено от меня. Так мое «я» будет струиться по жизни различными путями, когда меня не станет. И мне не жаль будет уйти, когда я увижу, что только своей смертью смогу еще по-настоящему принести пользу своим идеям. Но жить мне очень хочется, даже сейчас, когда мне так плохо, когда я вынужден словно бы весь уйти в раковину, чтобы там скрыть, сохранить хоть капельку этой любви, а то все, что оказывается снаружи, — гибнет, уничтожается, все ниточки, связывающие меня с жизнью, безжалостно и бездушно обрываются.

Иногда мне бывает трудно браться за эти записки, ибо нет уверенности, что они хоть сколько-то нужны (Вы сейчас в отъезде). Но всякое начатое дело надо доводить до конца. Это очень важное правило для укрепления характера (жаль только, что сам я его понял довольно поздно). Работал я в эти годы тоже немало: писал, переводил, редактировал, участвовал в создании балета «Данко».

Нет, верно, я чересчур многого хочу от жизни, за это судьба и бьет меня по голове. Но ничего она не может со мной поделывать.

Не может, например, она заставить меня разлюбить Вас. Дуреха она! Самое большое, что она может, — это убить. Но если и в смертный миг я буду любить Вас так же, как сейчас, разве это значит, что и любовь умерла? Нет, моя любовь будет бессмертной, пока Вы помните обо мне, а Вы будете помнить, я не верю, что может быть иначе.

А меня тоже любили. За что? Одна женщина как-то сказала: «С Эдуардом никогда не приходит в голову, что он болен, этого просто не замечаешь». А я и сам этого, правда, не замечал, до... до поры до времени. Да и как было замечать, когда жизнь была полна и, в общем, шла гораздо интереснее и полноценнее, чем у многих небольших, хотя они бегали по земле, а меня возили в коляске.

Чего я не мог? Играть в футбол, лазить по горам? Но в футбол друзья мои не играли, а по горам лазили редко. В остальном же я видел больше их, больше путешествовал — да, путешествовал! — больше встречался с интересными людьми, больше читал, больше находил в жизни важных и интересных проблем, которыми делился с друзьями; и женщины, наверное, именно поэтому меня любили больше...

Ну вот, а потом, когда я уже начал ходить — гимнастика, усилия воли, — когда я начал ходить и думать, что все позади, я роковым образом попал в автомобильную аварию...

Это было идиотически нелепо и довольно больно, особенно, когда меня вытаскивали из машины, слишком поздно схватывая суть моих указаний. В первой больнице мне наложили легкую гипсовую повязку, под которой целую неделю перелом расхотелся во все сто-

роны, раздирая ткани и вызывая соответствующие ощущения. Потом меня всего по пояс заново заковали в гипс, что было абсолютно не нужно, и уложили на щит, что было тоже медицински безграмотно и делало лежание совсем невыносимым. Но я все это терпел. . .

Пишу ли я Вам об этом из «хвастовства»? Вряд ли. Ведь Вы же должны знать, что внешние боли для меня что-то второстепенное. Просто это было для меня снова огромной школой, даже неоценимой (жаль только, что затем эта «школа» слишком затянулась).

Потом меня взяли домой, где я обнаружил, что все неправильно. Новая больница, куда я ехал с караваном из трех машин, но все равно ехать было очень невесело. . . Там меня починили, хотя с кучей ненужных мучений. Чего только не было! Дура-докторша просверливала колено — просто спицей насквозь для укрепления скобы — не там, где были сделаны анестезирующие уколы. А сращение мне врач ломал без всякой анестезии. После этого подвесили груз в 10 кг, чтобы отрывать кость от кости. Когда на сравнительно большой площади отрывают кость от кости (ведь все нервные окончания в надкостнице) — это ни с чем нельзя сравнить. Физически это были худшие 15 часов в моей жизни, на ночь сделал укол, но он абсолютно не действовал. Ко мне зашел тогда Г. М. Он просидел со мной четыре часа. Мы говорили (то есть я старался говорить) об индийской философии, которую я тогда «изучал», а когда мне было совсем худо, я на какой-то срок умолкал, прикрывал глаза и брал его за руку. Это не было слабостью и слюнтяйством, нет (слышали бы Вы, как орали, стонали, звали маму — по-грузински — другие больные в куда более легких случаях), когда человеку слишком плохо, то очень помогает просто почувствовать, что рядом человек-друг. Именно прикосновением, потому что способность душевного восприятия на какой-то срок парализована

приступом боли. По-моему, это очень естественно и человечно. Я как-то лучше понял, почувствовал с тех пор Г-Ма. Но интересно, позволили бы поддержать себя за руку Вы или усмотрели бы в этом какой-то криминал?

Из второй больницы я отправился в гипсе на долгое лежание домой. Конечно, перспективы на ближайшие несколько месяцев были гадкие, но я чувствовал, что стою в жизни увереннее и крепче, чем когда-либо. После всего перенесенного мне уж правда казалось, что из меня можно просто «гвозди делать», а мне все будет ни-почем. Кроме того, во мне сформировался какой-то окончательный, твердый взгляд на свой жизненный путь, и я чувствовал, что у меня хватит сил пройти его до конца как надо, что я действительно созрел для этого.

Перед тем как об этом писать, расскажу об одной странной фантазии, полубредовой затее, посетившей мой затуманенный тяжелой болью мозг. Я решил, что немедленно после поправки перееду в Москву, устрою себе квартиру, добьюсь успеха литературного и материального, может, машину заведу, любовницу из Большого театра, чтобы люди удивлялись, завидовали и думали, что мне очень хорошо. А потом, когда все будет налажено, собрать друзей, постараться объяснить им, что все это не жизнь, а «свинство», проститься с ними по-хорошему и... в качестве последнего доказательства, покончить с собой.

Не торопитесь смеяться. В этой странной фантазии была своеобразная логика. Мне хотелось отдать жизнь за что-либо важное, ради достижения большой цели. Моя же цель — как помните — открывать и вводить в практику — свою и тех, с кем я общаюсь, — новые, более правильные, на мой взгляд, человеческие отношения.

Мне нужно действовать. Я устал писать и переводить о событиях чужой жизни (часто и вымышленных), я хо-

чу реальных событий в своей жизни, хочу сам совершать реальные поступки, по возможности большие и все более трудные. Я не хочу поддаваться давлению «судьбы», жизни, жить по ее указке.

Под ношей бытия не устает
И не хладеет гордая душа,
Судьба ее так скоро не убьет,
А лишь взбунтует...

Помните это стихотворение Лермонтова, о котором я не устаю напоминать Вам? Я именно хочу, а во время болезни хотел особенно, быть гордым и смелым. Вот это и надо, думал я в полубеспамятстве, доказать собственной судьбой многим людям, со всей возможной убедительностью: нельзя жить так, как они живут, это не жизнь...

И хотя моя фантазия нелепа, но в ней не было пессимизма, нет, наоборот, она была парадоксальным выражением наивысшей любви к жизни, которая сама по себе так прекрасна, что любая замена ее, любая подделка под нее хуже, чем смерть. Как доказать людям, что настоящая жизнь неизмеримо прекраснее всех этих жалких замен и подделок, которые они так ценят? Только полным отказом от них. Добиться всего, что люди считают «счастьем», а потом отбросить это все как нечто абсолютно ничтожное...

Разумеется, все хотят жить, но я действительно не знаю никого, кто любил бы жизнь так, как я, всю, во всех ее проявлениях, от малейшей былинки, до отвлеченнейших идей философов. Помню, я как-то сидел вечером в Адлере во дворе один и на меня вдруг нахлынуло такое яркое ощущение своего единства со всем миром, своей сопричастности к нему; мне хотелось, почти плача и задыхаясь от какой-то одновременной боли и радости, об-

нимать деревья, прижимаясь щекой к их коре, целовать камни, еще хранящие дневное тепло. Это все — мое, все во мне! Но если, если того требует высшая цель, человек должен найти мужество расстаться с этим. Так поступали и Александр Ульянов, и Софья Перовская. Надеюсь, что в их эпоху я был бы с ними. Если бы я не заболел, то давно нашел бы себе конец либо на последних фронтах войны, либо в Корее, либо в Алжире.

Ну, и раз эти возможности меня обошли, я нашел себе новый фронт, по-моему, самый важный сейчас. Ведь это борьба за «единственную подлинную ценность жизни» — связь человека с человеком. Я надеюсь, Вы поняли, что сегодня — с ясной головой — я более чем иронически отношусь к посетившей меня во время болезни «идее» самоубийства во имя утверждения великих ценностей и развенчания низших и если упомянул об этой «идее», то лишь для того, чтобы, «танцуя» от парадокса, уяснить для Вас некоторые действительно важные, с моей точки зрения, вещи. А вообще мальчишество свойственно мне было почти до седых волос.

... Должно быть, поэтому — из-за мальчишества — за два года до нашего знакомства я в порядке «самоиспытания» прибил себе руку гвоздями к доске. Я не хочу слов — довольно их было сказано! — я хочу действий! Я не хочу быть в «мире слов», когда в мире все время идет бесконечная, великая борьба; я хочу быть в первых рядах, готов к любым испытаниям.

А еще я как-то месяца четыре подряд мучил маму: раз в неделю полтора дня ничего не ел. Логика простая: ни один человек не имеет права объедаться досыта, пока в мире ежегодно сотни тысяч людей гибнут от голода. Над этим можно и посмеяться: чем поможет мой пост этим людям? Но тут дело не в реальной помощи, а в чувстве личной ответственности, оно не должно умирать в человеке.

Хочу, кстати, сказать, что мне глубоко свойственно чувство иронии, что могло бы, пожалуй, сильно задевать окружающих, — а иногда, вероятно, и задевает, — если бы я не относился с той же ироничной шутливостью и к себе, к своим успехам и провалам, разным затеям и испытаниям, радостям и горестям.

Ну, а теперь осталось уже совсем немного до... до «преображения мира».

Я встал после гипса, но что-то не клеилось, начал выезжать, и снова стало плохо, тут меня уложили в третью больницу, где мне так навредили с почками, что последствия я чувствую и до сих пор. Еле вырвался от них, отравленный антибиотиками, с повышенным давлением, головными болями, затуманенными мозгами. Последнее — хуже всего. Пока я могу мыслить — я живу, я не обездолен. И не одинок, потому что «не дальше мысли можешь ты уйти. Я неразлучен с ней, она — с тобою». А когда попытка мыслить вызывает лишь головную боль и хаос в мозгу, то это не жизнь. Так я валялся довольно долго, заходили ко мне в гости разные люди и... среди них вдруг явились Вы. Тогда-то я и записал в дневнике: «Недели две назад (5.XI) я познакомился с изумительной девушкой. В ее лице отражаются одновременно весь трагизм XX века и вся его устремленность в будущее. А в душе — смятение, неверие в свои силы, в порядочность человечества и... некоторый недостаток знаний».

Я пока не знаю, не понимаю, на что я имею право рассчитывать с ее стороны, думаю, что не на все, — она достойна лучшего (хотя я, конечно, хорошо понимаю, что лучше меня на свете никого нет!). Но все равно — видеть ее, слышать, дышать одним воздухом с ней — это уже само по себе дар бесценный, хотя и жестокий по временам...»

Дальше Вы все знаете, хотя и не представляете харак-

тера и масштаба того переворота, который произошел во мне.

И вот пришел сегодняшний день... Вы говорили о моем «пессимизме» за последние месяцы. Да, что-то убито в моем чувстве к Вам... должно быть, просто будущее. Я его не вижу. Вы меня столько «били» (с благими намерениями), а жизнь Вам так помогала, что поневоле «прозреешь» (или, вернее, ослепнешь). И знаю, что все равно буду бороться за это будущее до конца, хотя бы ради того, чтобы остаться человеком, но я его уже не вижу. С Вами... Но я все равно люблю Вас и, несмотря на всю личность и индивидуальность этого чувства, у меня такое ощущение, что это любит через меня все истосковавшееся по правде и чистоте подлинно людских отношений человечество, что это все миллиарды разбитых и неосуществившихся человеческих надежд жаждут во мне быть воскрешенными одним Вашим словом.

Должно быть, я слишком много беру на себя. Но меньше не могу. Да и не хочу. Я считаю для себя великим благом встречу с Вами.

Пока я люблю Вас, я буду жить. Ведь любовь и жизнь — это одно, и разве я смогу когда-либо забыть, что услышал об этом именно от Вас?..

На этом, наверное, следовало бы кончить, но мне всегда так трудно расставаться с Вами. Заметили ли Вы это? Вы почти всегда уходите так неприветливо, так странно...

Ну, напоследок выдам еще один свой секрет: когда мне в больнице, в Москве, после той урологической операции, было хуже всего, и я думал, вернее, не думал, а ощущал, что все это может скоро кончиться, я мысленно простился с Вами, позволил себе мысленно обнять Вас... это в первый раз...

И вот еще одна попытка рассказать — объяснить что-то. . . Может ли быть у меня надежда этими несколькими страницами изменить положение? Нет, конечно, но во мне есть неистребимая потребность стремиться к тому, чтобы Вы понимали меня глубоко.

Если же говорить о надежде, то она живет во мне, но надежда совершенно особая: надежда — боль. Во время Вашего последнего визита у меня внезапно очень сильно заболело сердце. Но какой-то *новой* болью. Болью только за Вас. . .

Только новая боль и может научить человека чему-то. Может быть, во мне есть что-то, чего я и сам не знаю?

Я не могу жить без того, чтобы мое чувство к Вам не углублялось, не совершенствовалось бы.

И может быть, это возможно еще?

Почему у меня появилась вдруг такая надежда? Может быть, потому, что мне не понравились мои последние записи. Может быть, потому, что Вам «не понравился Жан-Кристоф». Не смейтесь, это очень важно. Я вовсе не хочу сказать, что вы «не поняли». Просто, очевидно, различны пути духовного становления мужской и женской личности. Роллану принадлежит фраза: «До чего одинока женщина». Но, очевидно, не тем одиночеством, как мужчина. Очень важно постараться бережно уловить эту разницу, найти какие-то пути взаимопонимания людей. Думать об этом, думать о *другом человеке*, а не о себе, но так, чтобы и свою личность не утратить, потому что этим и другого обидишь. . . Вот что нужно.

Часто мне казалось, что моя любовь к вам уже достигла вершины. Но нет! — до последней вершины еще далеко. . . Путь к ней — в более тонком и бережном от-

ношении к Вашей душе, к особенностям Вашей личности, к Вашему духовному росту.

... Я не боюсь жизни, я люблю ее, но только настоящую. Пусть трудную, но настоящую. И дело вовсе не в личных бедах, потому что они — случайность. А человек не должен покоряться случайностям, как бы они ни были тяжелы.

И потом, я не ограничиваю жизнь только личным, есть еще борьба общечеловеческая.

Я пытался рассказать Вам, что я поставил целью жизни поиски и внедрение новых, более возвышенных и чистых человеческих отношений. Зная, что есть высшие формы человеческого общения, я не могу вернуться к низшим.

... Теперь я конкретно знаю — благодаря Вам! — что может быть женщина — настоящий человек, друг, возлюбленная, с которой можно преобразовать мир (я имею в виду, разумеется, не земной шар, а мир в более скромном смысле), поставить все в нем на свое место так, как надо, женщина, с которой можно жить только для подлинно человеческого и в ней, и в себе. Ну, а то, что наша с Вами встреча не повела к этому, — это просто случайность, тут нет ни Вашей, ни моей вины, может быть, только моя беда.

Вы как-то сказали мне, что мое чувство к Вам уменьшилось. Нет, просто из него как-то ушло будущее. Это просто сказать, но на деле это совсем не просто. Я почувствовал, что не могу радовать Вас так, как хотел. Нет у меня того, что Вам надо. Может быть, Вы скажете, что это надо было понять раньше... Нет, надо было бороться до конца (который еще и не наступил).

И вовсе я не стал любить Вас меньше. Я люблю Вас, может быть, даже больше, чем раньше. Я уверен, что моя любовь всегда будет с Вами, если Вы перестанете это ощущать, то, значит, грош ей (и мне) цена.

Я хочу, чтобы у Вас были дети. . . Мне важно сознавать в последний миг, что я совершил все, что мог, чтобы укрепить в Вас веру в жизнь, в людей, в настоящие незапятнанные чувства.

Ведь моя цель была не «уложить Вас к себе в постель» (попробуй докажи это обывателю), а добиться максимально возможных между нами человеческих отношений. И я уверен, что оказал на Вас огромное внутреннее влияние. Вы сами об этом говорили.

Эдуард.

(Истинно любящие борются до последнего мига за душу любимого человека; они борются, утратив надежду на взаимность, но питая иную, высшую, бескорыстную надежду: одарить любимого мудростью. Эта мудрость поможет быть до конца дней возвышенным, чистым в мыслях и чувствах. Истинно любящие, не помышляя до последнего дыхания о личном, ведут битву за душу любимого — за ее восхождение. И они эту битву выигрывают, потому что любят. Они выигрывают ее, даже умирая. . .)

Часть 3. Последние письма к ней

11.11.67

Санаторий под Тбилиси

Все время у меня в голове вертятся разные мысли. Что с ними делать? Им нет числа. Иногда между ними попадаются и «хорошие», то есть такие, которые хотелось бы запомнить. Но одна сменяет другую, поток идет все дальше и дальше и, наконец, теряется, как река в песках пустыни. Неужели же так должна затеряться и человеческая жизнь? Ведь мысль — ее наивысшее выра-

жение. Потому-то людям и надо делиться друг с другом. Только друг в друге они могут сохранить себя. (И найти, добавил бы я.) Поэтому мне и хочется сделать какие-то записи. Плохой или хороший — я не хочу уйти бесследно. Мне хочется поделиться с кем-то. Да и не с кем-то, а с Вами. Потому что Вы самый нужный и близкий мне человек на земле. Опять — «почему»? Ну, тут, если начать объяснять снова, пожалуй, всей жизни не хватит — это одна из необъяснимых чудесных и роковых загадок жизни.

Нужно ли Вам это? Думаю, что да. Может быть, не все. Но ведь лишнее легко отбросить. А не может быть лишним *все*, в чем нашла свое наивысшее выражение целая человеческая жизнь, прожитая нелегко, вся целиком и искренне посвященная тому, чтобы найти нечто подлинно человеческое, то, для чего действительно стоит жить.

Человеческое тепло, бережная забота о другом, бескорыстное желание ему блага больше, чем себе самому. В чем еще может полнее и лучше выразиться именно человеческая сущность?

Вы можете посмеяться над «бескорыстием», назвать это сентиментальностью, фантазиями и т. д. Но не можете же Вы не чувствовать, что я все же пытаюсь выразить в этом какую-то большую, может быть, даже единственную правду жизни, хотя и не нахожу для этого нужных слов.

Может быть, я в чем-то ошибаюсь, может быть, надо любить как-то сильнее, чище, самоотрешеннее. Я не знаю. Не умею. Я стараюсь делать все, что могу. Я всю жизнь старался, чтобы она вела меня к этому.

Мне неимоверно, безумно просто хочется обнять Вас тихо, бережно, словно бы укрыть Вас этим от всего дурного на земле; сохранить на миг, равный вечности, состояние чистого прекрасного покоя и полной гармонии,

потому что любовь — это музыка души, слушать которую радостно до слез, и нельзя пошевелинуться, чтобы не спугнуть ее, вечно гонимую нашей жизнью, изгоняемую из нее «житейской мудростью» в «мир фантазий», который эфемерен с обыденной точки зрения, а на самом деле он единственная реальность жизни. Потому что любовь — это чудо. Чуда не достигнешь трезвым и плановым стремлением к нему. Этого для чуда мало, нужны — порыв за грани возможного, бесстрашное самоотречение, самопожертвование, которого не замечаешь.

Да, мне хотелось бы обнять Вас так. И после этого мне было бы все равно — жить еще минуту или сто лет.

Чувство мое можно назвать только одним словом, которое мы очень редко употребляем, ибо к чему его ни примени, оно звучит какой-то насмешкой и профанацией, слово это: *благоговение*. . . Я ненавижу все, что отдает религиозностью, но тут, если что и вспомнить, то только строки Пушкина: «благоговей богомольно перед святыней красоты. . .»

Да, в этом была и осталась именно какая-то святая тайна. И не об общепринятой красоте здесь речь. Над бездной небытия, над вселенским ничто, над мировым хаосом неживой материи возник какой-то маленький огонек, что-то такое хрупкое и беспомощное, такое беззащитное, но в то же время неуничтожимое и неугасимое, мерцающий огонек живого чуда, живой жизни.

В каждом человеке есть это хрупкое торжество над мраком небытия, только это и роднит людей друг с другом, дает им забыть об ужасе неизбежного ухода.

Да, это есть во всех людях, но они стремятся жить чем-то другим. Я хотел всю жизнь уйти от этого «другого», и Вы насовсем увели меня от него. Поэтому для меня свято все, что связано с Вами. Вот, а Вы говорите, что я Вас «выдумал». Чепуха! Такого не выдумаешь.

На выдумки я горазд, мог бы выдумать и раньше, да

вот не получалось, потому что надо было не выдумать, а найти, открыть. Если Вам захочется назвать все это сентиментальностью, а меня экзальтированным идиотом, то это грубая ошибка. Просто я не умею выразить лучше, понятнее. Не такой уж я идеалист и фантазер, я принимаю жизнь целиком — а как же иначе? Потому мне и в чисто практической, низшей, но все равно необходимой области жизни тоже хочется сделать для Вас все, что можно, «от задвижки до пылесоса». Но это, разумеется, не может дать выхода той безграничной потребности в общении с другим человеком, всемерном и беспредельном единении с единственно близким тебе существом во Вселенной, потребности, которую вызываете во мне Вы.

Э.

12.II.67

Все время мысли сбиваются на темы, которых хотелось бы избежать.

А хотелось бы мне с Вами говорить о чем-то легком и простом. Например, рассказать, что я сегодня съел один гранат, и он был чудесен! И я никому не дал ни зернышка. А еще мне из Америки посланы две книги об экзистенциализме (это тот профессор меня уведолил). Вечером у меня поднялась температура, но думаю, что это просто из-за «нервности» нынешнего дня.

Мне хотелось бы видеть в Вас больше покоя, самоуглубленного раздумья, независимости от бед внешних, трезвого подхода к бедам внутренним.

14.II.67

Мне хочется сегодня поговорить о разных человеческих болях, бедах и неприятностях вообще.

Я поделил бы их все на две группы: «нормальные» и «ненормальные». Первые — это те, к перенесению которых человек приспособлен как биологически, так и своим социальным развитием. Как бы они ни были индивидуально тяжелы, в целом они переносимы и преодолимы. Они общеизвестны, достаточно широко распространены (в разных вариациях и масштабах), имеют свою закономерность.

Все «нормальные» беды человек может перенести, должен перенести. Надо только постараться.

К «ненормальным» бедам можно отнести все из ряда вон выходящее. Конечно, точной границы между нормальным и ненормальным нет.

Что касается меня, то я назвал бы своей нормальной бедой автомобильную аварию, но то, что мне накладывали гипс три раза, да еще так глупо, — это, конечно, ненормальная беда, хотя, в общем, пустяковая.

То, что Вы не можете меня полюбить, — это нормальная беда, хотя и очень большая, может быть, даже чрезмерно большая для меня, но я все же вынужден назвать ее «нормальной».

А вот то, что Вы не обращаетесь со мной «по-человечески», — это беда явно ненормальная, и я не знаю, что с ней делать!

Есть у меня, разумеется, и еще «ненормальные» беды, какие-то чересчур ненормальные, мне не то что писать, а даже и думать о них не хочется, т. к. справиться с ними я пока не могу, а капитулировать на более или менее «почетных условиях» — это слишком, слишком противно! Эдуард — и капитуляция! Неужели Вам, если Вы мне хоть чуточку друг, не кажется это чем-то слишком гадким и несопоставимым? . .

Справедлива ли Ваша фраза: «Вы ревнуете меня даже к воздуху, которым я дышу»? И да, и нет. То, что я чувствую, не ревность, а нечто иное.

Представьте себе, что неизданные рукописи Лермонтова тратятся, как техническая бумага, на разные нужды, а к Вам в руки попадают лишь отдельные разрозненные листки. Представьте себе, что Вы получили два-три отрывка из «Демона», а про остальные листки знаете, что они пошли на сигарки, на бумажных голубей, на оберточную бумагу.

Так я воспринимаю свое общение с Вами. Конечно, я получаю от общения с Вами в тысячу раз больше, чем другие, потому что только я могу прочесть волшебные строки. Но мысль «об утраченных листках», обо всех Ваших словах, взглядах, жестах, улыбках, ушедших на сторону, достающихся кретинам, которые видят Вас каждый день, обо всем этом, составляющем для меня единую чудесную поэму, а тут тратящемся попусту, гибнущем безвозвратно, — мысль эта мучит меня невыносимо.

Любой контакт с Вами, даже самый маленький, для меня как глоток живой воды.

Вы — «моя частица солнца на земле». Вы именно мой человек на земле. Я Вас узнал, не ошибся, и как же мне назвать Вас иначе, как «не моей частицей солнца на земле». Есть Вы — и прекрасен рассвет, чарует музыка Баха, сладок сок граната, жизнь — радость — радость. Нет Вас — и рассвет хуже мгlistых сумерек, музыка — нудный шум, гранат — кислятина... И меня с самого начала нашего общения поразила какая-то таинственная чудесная общность наших оценок большинства явлений. О музыке, о книгах, о людях... Вспомните, сколько раз Вы меня спрашивали о чем-то, чему Вы вынесли свою оценку, и я отвечал Вам, словно бы прочитав Ваши мысли. Для

меня это всегда было залогом и свидетельством какой-то огромной уникальной душевной близости.

А вообще поймите же, что нет для меня ничего дороже Вашего внутреннего мира, дарившего меня такими прозрениями, что я немедленно же потонул в его глубине и гениальности. Чем же еще Вы меня сразу покорили, как не этой душевной магией.

«Мой юный Моцарт». В глубине Вашей души именно моцартовская чистота и гармония, только там таится ответ на все тайны и загадки жизни.

Помните у Блока, что «только влюбленный имеет право на звание человека». Я воспринимаю это с тех пор, как узнал Вас, не как слова, а как непреложный органический закон жизни.

«Любовь — дочь познания», — говорит Леонардо да Винчи. Чем больше я о Вас узнаю, тем больше люблю.

Эти записи — всего лишь два-три процента моих «бесед» с вами. Стали бы они толковее, если бы увеличились на бумаге в сорок—пятьдесят раз? Ну, для кого толковее? Вы, я надеюсь, и так увидите в них только разум и любовь. Посылаю Вам две выписки Ромен Роллана, о которых Вы меня просили.

Э.

(«Все радости жизни — в творчестве. Любовь, гений, труд — все это вспышки сил, вышедших из единого пламени. Даже те, кто не может найти места вокруг большого очага — тщеславные эгоисты и бесплодные развратники, — и те стараются согреться у его бледнеющего огня. Творить в области плоти или духа — значит выйти из телесной темницы, рвануться в ураган жизни... Жить! Жить полной жизнью! Тот, кто не чувствует в себе этой опьяняющей силы, этой ликующей радости жиз-

ни — будь то даже в несчастье, — тот не художник... Истинное величие познается по его способности ликовать и в радости и в горе».)

7. VII. 67

Джава

... Я Вас ни в чем не виню, я не умею винить. Должно быть, нужна какая-то определенная душевная зрелость, чтобы испытывать необъятную, необъяснимую потребность в другом человеке. И вы достигнете когда-нибудь этой зрелости. Верю... Я, несмотря ни на что, чувствую в Вас какую-то огромную близость к себе. Это, как два дерева, которые стоят вроде бы далеко друг от друга, но корни их глубоко под землей переплелись и переплетаются все больше и больше. Другое дерево, стбящее гораздо ближе, можно отсадить куда угодно, а эти деревья рассадить нельзя. Погибнут. Или можно оборвать корни только у одного из них?

Боль — самый лучший, может быть, единственный воспитатель. Я не желаю Вам боли! Я надеюсь, Вас воспитает моя боль.

Самая главная человеческая потребность: отдать себя целиком другому человеку, раствориться, исчезнуть в нем, но тем самым вновь найти себя в новой, высшей жизни, в единении и с любимым человеком, и со всем человечеством — прошлого и будущего. Слова, быть может, и пустые, и громкие, но чувство это — огромное, нежное и беспощадное, вне этого чувства нет человеческого существования, есть только более или менее благообразный полуживотный быт.

Это не укладывается в общежитейские представления о любви. Но поэт и не может быть счастлив в общежитейском смысле. Конечно, с Вами жизнь открыла бы совсем новые и огромные трудности, но с Вашей лю-

бовью и доверием — среди них не нашлось бы ни единой непреодолимой.

Вы можете любить только по-настоящему сильного, смелого, деятельного, доброго человека. Видимо, я не стал им, если Вы не полюбили меня. . .

Да, надо быть совсем другим, чтобы любить Вас и быть любимым Вами. Нужна какая-то особая доброта, нужно уметь быть добрым к Вам даже там, где Вы сами обязаны быть злой к себе.

Как первый порыв за круг общежитейских представлений о любви, Уайльд определил: «Все убивают то, что любят». Но это справедливо для первой, низшей фазы любви, любви искренней, но потребительской. А надо бы сказать: «Всех убивает то, что они любят». Это любовь — созидание, любовь — самоотдача. Может быть, есть и третья фаза, когда слова философа «Кто хочет любви, хочет гибели» звучали бы уже не мрачным гордым трагизмом, а чистой радостью — совместным бесстрашным принятием бытия. Этого я не знаю. Знаю только, что без Вас я мог бы не достичь даже и первой фазы. Короче говоря, не был бы человеком, несмотря на все уважение окружающих (а может, и на свое собственное!).

Все люди умрут. Но только избранные умирают на костре. Вы возвели меня на мой, Вы одарили меня этим. Может быть, и без Вас я в конце концов заслужил бы его, но без Вас никогда его пламя не было бы таким чистым, без копоти.

Вот что такое Вы в моей судьбе, вот за что я должен быть Вам благодарен, вот почему я имею право назвать свою любовь настоящей. Сумейте хоть немного прогреться у этого костра, воспользоваться его светом. Тогда все будет правильно и хорошо.

(Самое большое чудо в любви — рождение надежды, когда, казалось бы, надежда ушла навсегда. Откуда рож-

дается она — новая, невозможная, безрассудная и бессмысленная надежда? Из редких мгновений счастья, для которых нужно так мало...)

14.VII.67

Маяковский (которого Вы, по сути, еще не читали) пишет в конце поэмы «Человек»:

Погибнет все,
сойдет на нет,
и тот, кто жизнью движет,
последний луч
над тьмой планет
из солнц последних выжжет.
И только
боль моя острей —
стою,
огнем обвит,
на несгораемом костре
немыслимой любви.

Меня все занимает мысль, которую я не могу осилить, — о «третьей фазе». Если сам попал в огонь, то хочется оградить от этого тех, кого любишь.

Но почему же отказывать другому в том, от чего ни за что не отказался бы сам? Что за эгоистическая гордость и самомнение? Где же тут доброта? Оградить другого от мучений, от которых сам ни за что не откажешься? Почему считать другого ниже себя?!

А все же не могу... Опять собираюсь в Москву — к поэтам, редакторам, врачам.

26.VII.67
Москва

Меня тянет в гущу деятельной, действенной жизни, в сутолоку дел, событий, встреч и расхождений...

А еще тяготит меня какое-то чувство вины перед Вами... Словно наобещал чего-то и не выполнил, не сумел. Вчера Белла читала новые стихи. Некоторые строчки захватывают, в тот миг веришь, что есть на свете и нежность, и боль, которые сильнее жизни и смерти. Но, однако, мне хочется сейчас не слов, а действий.

Будьте веселой и не думайте о нехороших вещах.

11. VIII. 67
Москва

... Да, мне было плохо ночью. И больше того — страшно. Вспомните ужас, охвативший Вас во сне, и Ваш вывод, ощущение, что жизнь все-таки прекрасна! Перед лицом непосредственной угрозы небытия малодушно хватаешься хоть за какие-то самые простейшие ощущения жизни, пусть что-то, пусть хоть капелька чего-то останется, лишь бы не уйти совсем. В такой миг биологического страха забываешь, что страшно не умереть, а не жить, страшно, что не сделал, не сделаешь того, что мог бы, что хотел, что можешь еще и хочешь сделать, уйдешь так, словно бы тебя и не было, уйдешь, не оставив людям себя, тепла своей души, своей любви. Кому нужна была в мире моя любовь, которую я пытался найти в себе, выразить? Целиком никому она не понадобилась. Словно сожгли попусту целый нефтяной пласт, вместо того, чтобы превратить его в горячее для машин и самолетов, в синтетику, в электроэнергию. Горит попусту нефтяной факел, и даже Вы отворачиваетесь от этого бесполезного зрелища...

И все же, все же мне кажется, что совсем не страшно умирать (относительно, конечно) тому, кто в жизни любил по-настоящему, но, увы, этот уровень нельзя считать достигнутым, если нет взаимности. Самолет с од-

ним крылом не взлетит, а если и взлетит, то сразу разобьется. И еще: арба плетется себе и по ухамам, и по булыжникам, а синяя птица разбилась от легкой ряби на глади озера. Так и жизни человеческие. . . Надо соизмерять свои силы. В этом, очевидно, мудрость. Но я не мудрый, я любящий. Таким меня и запомните. Э.

(Когда в минуту слабости преступной захочешь отказаться от любви, сочтя ее мечтою недоступной, — меня к себе на помощь позови. Я не приду. Я часовым у входа стою, чтоб зрела без помех в душе великая, всевластная свобода, которой ты не выдержал уже. Я буду верен до конца задаче, которой все во мне посвящено: подняться до такой самоотдачи, когда любовь и жизнь — уже одно. Я не уйду. Я не предам мечту. И если смерть — то только на посту.)

ЭПИЛОГ

Он умер и похоронен в Москве, куда переехали потом его мать и сестра.

Последний сонет его даже не переписан набело: ряд строк перечеркнут, и те, что набросаны наверху, видимо, тоже его не удовлетворяли, но новых, более совершенных, он найти уже не успел. И тем не менее сонет этот отмечен высшим совершенством — совершенством самоотдачи в любви.

Прости, я слишком много пожелал —
В любви к тебе всегда быть человеком.
В наш дерзкий век я дерзко возмечтал
Быть впереди, а не плестись за веком.

Готовя для тебя столь редкий дар,
Ни в чем любви не ставил я границы.
Но кто стремится к солнцу, как Икар,
Тот должен быть готовым и разбиться.

И вот лежу, изломан, меж камней.
Оборваны мои пути-дороги.
Целую тихо землю... Ведь по ней
Идут твои стремительные ноги.

Но что ж... Одна своим путем.
... Еще не раз мы встретимся на нем.

Любовь или умирает, или она восходит. Но если восходит, то ко все большей человечности. Она или умирает, или одухотворяется. Но если она не умирает, то умираем мы. Сердце разрывается от боли. От совершенно новой человеческой боли. Вершинной боли человечности...

Мне осталось написать несколько строк о той, кого любил Эдуард Гольдернесс. Она вышла замуж, у нее родилась и растет дочь. Что касается жизни ее души, то это тайна, в которую я не рискну углубляться.

Отмечу лишь самое очевидное: она увлеченно работает, исследуя художественную культуру Востока, открывая новое в ней. В одном из последних писем ко мне она сообщала: «Из Армении вернулась взволнованная и удивленная (и на этот раз!). И среди множества открытий — имя Нарекаци. Это армянский поэт X века, написавший «Книгу скорбных песнопений». В 1963 году С. Я. Маршак хотел перевести его, но не успел. В песнопениях — что-то, напоминающее хорал Баха...»

В этих строках я услышал голос Эдуарда Гольдернесса.

А в Тбилиси я был у нее поздней осенью. Мы купили на рынке охапку роз и поехали вверх, в гору, к пантеону. Мы возложили розы на могилу Нины Чавчавадзе, потом стояли у парапета, над Тбилиси, и я думал о том,

что в этом мире, где, казалось бы, все умирают, нет ничего реальнее бессмертия.

...В одну из последних ночей он увидел сон: небольшой, на берегу моря, наподобие Батуми город; день меркнет, вечером должны казнить Бернса, и сердце разрывается от сострадания и чувства беспомощности. Думая о Бернсе, он заходит в какой-то старый дом, замечает у окна рыдающую женщину; она поднимает лицо, и он узнает ее — ту, которую любит. И — опускается перед ней на колени, говорит: «Хочешь—я устрою, что казнят не Бернса, а меня?» — «Да», — отвечает она. «И тогда ты меня полюбишь?» — «Да». И он уходит, и на этом кончается сон...

...Он ни разу не поцеловал ее наяву и лишь однажды — во сне: в левую щеку, тихо-тихо, чтобы не разбудить, потому что видел ее больною и уснувшей. Он рассказал ей в письме об этом сне... А закончил письмо стихами Эмиля Верхарна, назвав их лучшим, что написано о любви. «Отдание тела, когда отдана душа, — не более, чем созревание двух нежностей, устремленных страстно одна к другой. Любовь — о, она — ясновидение единственное, единственный разум сердца, и наше самое безумное счастье — обезуметь от нежности и доверчивости».

Стихи эти Верхарн написал, выйдя из больницы, где нестерпимо страдал.

...А если бы это было нужно и возможно, Эдуард Гольдернесс действительно поднялся бы на эшафот, чтобы казнили не Бернса, а его, и он пошел бы к барьеру, чтобы убили не Лермонтова, а его, и лег бы в больницу, чтобы страдал он, а не Верхарн.

И поэтому поместим его в сердце рядом с ними.

Как они любят

ТОМАС МАНН¹ — КАТЕ ПРИНГСГЕЙМ

Начало июня 1904 г.

...И так восхитительно лукаво блестят вдобавок Ваши глаза... что это потеря времени, почти преступная потеря времени — все эти маленькие забавы, которые заполняют вечер, тогда как нам — Вам и мне — надо бы поговорить о куда более важном: Вы, конечно, знаете, Вы, конечно, видите по моему лицу, как часто я об этом думаю и как тяжело мне думать об этом снова и снова! Если бы мы больше бывали одни! Или если бы я умел лучше пользоваться теми короткими минутами, которые мне иногда бывают подарены! Я уже говорил Вам, с каким восторгом прочел я то, что Вы написали о «сближении», — и какой в то же время болью это меня наполнило. Я ведь знаю, знаю ужасающе хорошо, как виноват

¹ Манн Томас (1875—1955) с будущей женой К. Прингсгейм (девичья фамилия) познакомился в ее доме на балу тотчас же после выхода романа «Будденброки», который принес ему европейскую славу. «Предложение руки», последовавшее вскоре после знакомства, было принято не сразу. В течение пятидесяти лет жена Томаса Манна была его верным другом и помощником. «Покамест моя храбрая жена со мной, я вообще ничего не боюсь», — писал он одному из друзей.

я в «какой-то неловкости или чем-то вроде этого» (до чего же трогательно это «что-то вроде!»), которую Вы передо мной так часто испытываете, знаю, как из-за «недостатка простодушия», непосредственности, бездумности, из-за всей нервности, искусственности, нелегкости своего нрава я не даю никому, даже самому доброжелательному человеку сблизиться со мной или вообще хоть как-то со мной поладить; и это меня особенно огорчает, когда — а такое случается при всем при том невероятно часто — я чувствую в отношении людей ко мне тот теплый интерес, который называют симпатией...

... Это моя вина; и отсюда постоянная моя потребность прокомментировать, объяснить, оправдать себя перед Вами. Возможно, что потребность эта совершенно излишняя. Ведь Вы же умны, ведь Вы же пронизательны благодаря своей доброте и некоторому ко мне расположению. Вы знаете, что как личность, как человек я не мог развиваться подобно другим молодым людям, что талант порой ведет себя как вампир — высасывает кровь, поглощает; Вы знаете, какой холодной, обедненной, чисто исполнительской, чисто репрезентативной¹ жизнью я жил много лет; знаете, что много лет, и лет важных, я ни во что не ставил себя как человека и хотел, чтобы меня принимали во внимание только как художника... И Вы понимаете, что такая жизнь не может быть легкой, веселой, что даже при большом сочувствии внешнего мира она не может породить спокойной и смелой самоуверенности. Исцелить меня от артистической участи может только одно — счастье; только Вы, моя умная, милая, добрая, моя любимая маленькая королева!.. Чего я у Вас прошу, на что уповаю, чего от Вас жду — это доверия, это безоговорочной готовности быть на моей стороне даже наперекор миру, даже наперекор мне самому,

¹ В данном случае в смысле внешней, представительской.

это что-то похожее на веру, короче — это любовь... Это просьба и это желание... Будьте моим подтверждением, моим оправданием, моим завершением, моей избавительницей, моей — женой! И пусть Вас никогда не сбивает с толку эта «неловкость или что-то вроде того»! Высмейте меня и самое себя, если я вызываю у Вас такое чувство, и будьте на моей стороне!

Конец августа 1904

... Потому что моя работа очень меня тревожит. Это, конечно, в порядке вещей и вообще-то неплохой знак. У меня никогда еще не «било ключом», и если бы это случилось, то вызвало бы у меня недоверие. Только у дам и у дилетантов бьет ключом, у нетребовательных и несведущих, которые не живут под гнетом таланта. Ведь талант — вещь совсем не легкая, это не просто мастерство. В корне своем это — потребность, это критическое представление об идеале, это — неудовлетворенность, которая только через муку родит и совершенствует свое мастерство. И для самых великих и для самых взыскательных талант их — это страшнейший бич. Однажды, я был тогда много моложе, я читал письма Флобера и напал на одну неприметную фразу, на которой задержался надолго. Он написал ее одному своему приятелю, кажется, во времена «Саламбо»: «Моя книга доставляет мне много страданий!» Много страданий! Уже тогда я понял его; и с тех пор я ничего не делал, не повторяя сто раз эту фразу себе в утешение...

Г. ГАУПТМАН ¹ — ИДЕ ОРЛОФ

13 апреля 1906 г.

Маленькая, милая швея на балконе, как для цветущего дерева, сулящего принести прекрасные и драгоценные плоды, я прошу для тебя благосклонности у солнца.

К моей драме я еще не приступил. Мне надо дождаться еще нескольких заказанных книг о Карле Великом. Тогда я попытаю счастья. Спрашивай, милая Идинка! Спрашивай постоянно, ты этим оказываешь мне величайшую дружескую услугу. Требуя! Тем самым ты манишь ростки из земли. Театр и мир — это машина и абстракция: невозможно желать прекрасного для абстракции и машины, прекрасное создают для человека, пусть даже для ребенка, который этого требует и которому это нужно, для которого это будет забавой.

Я лежу сейчас на горном выступе, дай бог тебе этого. Несколько птиц поют, но воздух наполнен лишь непрерывным шелестом горного леса. Только дрянные петухи, которых ты терпеть не можешь, заявляют о себе и здесь время от времени. Иногда вдалеке смеется дятел, смеется, напоминая твой смех, ты знаешь, какой.

Милая моя, пиши и сохраняй для меня твое юное, быющее сердце.

Целую твои руки.

Г. Гауптман.

Еще раз: благодаря твоим строчкам, день был светлым и праздничным. А этого уже достаточно, Идинка!

Твой Г. Гауптман.

¹ Гауптман Герхарт (1862—1946) был увлечен Идой Орлоф — юной актрисой, которую он впервые увидел на сцене, — осенью 1905 года. Ида Орлоф сыграла важную роль в жизни писателя: она стала прообразом героини пьесы «Перед заходом солнца».

30 мая 1911 (Шахматово)

Люба, вчера я был очень бодро и деятельно настроен и понял очень много в своих отношениях ко многим. Прежде всего — к тебе.

Собирался писать тебе большое письмо, но сегодня уже не могу, опять наступила апатия. Уж очень здесь глухо, особенно в праздники некуда себя девать. И это подлое отсутствие даже почты, что теперь прямо тягостно, когда тебя нет.

Я хотел тебе писать о том, что все единственное в себе я уже отдал тебе и больше уже никому не могу отдать даже тогда, когда этого хотел временами. Это и определит мою связь с тобой. Все, что во мне осталось для других, — это прежде всего ум и чувства дружбы (которая отличается от любви только тем, что она множественна и не теряет от этого); дальше уже только демонические чувства, или неопределенные влечения (все реже), или, наконец, низкие инстинкты.

Все это я мог вчера сказать еще определеннее, но я думаю, что ты и из этого поймешь то, что я хотел только точнее определить.

Накануне Троицы под вечер я зашел в нашу церковь, которую всю убирали березками, а пол усыпали травой.

Ты спрашиваешь все, нравятся ли мне твои письма. Да, почти целиком нравятся, иногда особенно. Мне интересно все, что ты думаешь, когда ты можешь это выразить в сколько-нибудь ясной форме. А в письмах — выражаешь. Господь с тобой.

Саша.

Я поставил около постели два твоих портрета: один — маленький и хитрый. (лет семнадцати), а другой — невестой. . .

**Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ¹ —
С. С. ДЗЕРЖИНСКОЙ**

*(Х павильон Варшавской цитадели)
2 февраля 1914 г.*

Зося, моя дорогая!

Сегодня я получил коллективную открытку и твое письмо от 31/1. И мне сегодня хорошо в моей камере. Впервые после долгого времени я снова смог улыбнуться улыбкой, идущей из глубины души и озаряющей жизнь и весь мир...

И сегодня снова мысли мои стремятся к радости жизни — нашей жизни. Беспokoит меня только состояние здоровья Ясика, но я слышу голос, который мне подсказывает, что он будет здоров, ибо имеет тебя и друзей. И снова верю, что придет время, когда и я смогу его прижать к сердцу, дать ему почувствовать и любовь мою к нему и веру мою в жизнь — уверенность мою. Сегодня смотрю на его последние фотографии — вижу, как он подрос, и мечтаю о том времени, когда смогу его видеть и ласкать.

¹ В письмах Феликса Эдмундовича Дзержинского (1877—1926) жене, которой он писал, находясь в тюрьме и ссылке, раскрылись его лучшие качества революционера, гуманиста: ненависть ко всему, что унижает человеческое достоинство, любовь к товарищам и глубокая нежность к самым близким людям.



Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ

С. С. ДЗЕРЖИНСКАЯ



Хочу вернуться и вернусь, несмотря ни на что. Когда наступают для меня такие радостные минуты, как сегодня, я полон уверенности, что все можно перенести без отчаяния и сохранить свою душу до самого конца. И не понимаю я отчаяния, когда есть еще силы и живая мысль и когда сердце еще так сильно бьется в груди. И снова жизнь становится чем-то таким, к чему следует подходить просто, что постоянно движется и развивается в противоречиях, но всегда дает выход душе человеческой, только бы она пожелала быть свободной... Тюрьма мучает и очень изнуряет, но это сейчас цена жизни, цена права на высшую радость, возможную теперь для людей свободных, и мука это преходящая, она ничто, в то время как радость эта всегда жива, она высшая ценность...

С трудом верится, что уже 17 месяцев прошло с тех пор, как я тут, и только мои настроения указывают, что эти месяцы не прошли безнаказанно. Долго еще мне придется здесь быть; думаю, что и весь 1914 год проведу здесь... Напиши мне, что слышно на свете, лучше ли сейчас цензурные условия печати и, может быть, выйдут новые печатные издания у нас и в России.

Твой Фел[икс].

ФРАНЦ КАФКА ¹ — МИЛЕНЕ ЕСЕНСКОЙ

1920 г.

Я знал, что будет в этом письме, это стояло почти за

¹ Кафка Франц (1883—1924) — австрийский писатель; с Миленой Есенской познакомился в конце 1919 года; в то время Милена переводила на чешский язык небольшие рассказы Кафки. Деловые отношения очень скоро переросли в нежную дружбу. Переписка завязалась весной 1920 года, когда писатель находился на излечении в легочном санатории. Милена любила Кафку, но его болезнь сулила не слишком счастливую жизнь...

всеми твоими письмами, это было в твоих глазах — и по известной (понятной) причине не было узнано — это было в складках твоего лба; я это знал; как человек, весь день проведенный за закрытыми ставнями, окутанный сном, мечтами и страхом, вечером, открыв окно, естественно, не может изумиться, он знал, что сейчас ночь, удивительная глубокая ночь.

Я вижу, как ты мучаешься и мечешься и не можешь освободиться и — бросим огонь в пороховой склад! — никогда не освободишься, а я вижу это и не могу сказать: останься там, где ты есть. Но я не говорю и обратного, я стою перед тобой и смотрю в милые несчастные глаза. Ты прислала мне удручающую картину, мучение созерцать ее, ежеминутная пытка, но в ней, к сожалению, и богатство (сокровище), которое я в состоянии защитить перед десятью сильными мужчинами, и я действительно чувствую себя сильным, как ты пишешь, какая-то определенная сила есть во мне. Но она не так велика, чтобы я мог, по крайней мере сейчас, продолжать писать. Какой-то поток горя и любви подхватил меня и несет прочь от бумаги.

Р.-М. РИЛЬКЕ¹ — ЛУИЗЕ АНДРЕАС - САЛОМЕ

... 11 февраля, вечером 1922 года

Лу, дорогая Лу, ну вот:

в эту минуту, в эту субботу, одиннадцатого февраля,

¹ Замечательный австрийский поэт Райнер Мария Рильке (1875—1926) в молодости познакомился с дочерью русского генерала Луизой Саломе (друзья называли ее Лу), которая углубила его интерес к России и русской культуре. Он совершил с ней две поездки в Россию (в 1899 и 1900 гг.) и сохранил дружеские отношения на всю жизнь. Закончив «Дунинские элегии», над которыми он работал более двадцати лет, начав этот труд в период, когда познакомился с Лу, Рильке ей первой об этом сообщил...

в шесть вечера я кладу перо рядом с последней законченной элегией, десятой. Той самой, начало которой было написано в Дуино:

Если бы мне, на исходе угрюмого знания,
Ангелов, как подобает, восславить в согласии с ними...

(уже тогда ей было предназначено стать последней). Все, что было тогда написано, я тебе читал, но теперь от этого остались только первые двенадцать строк, все остальное — новое: и очень, очень, очень хорошо! — Подумай! Мне дано было дожить до этого. Несмотря ни на что. Чудо. Милость. И все за несколько дней. Это была буря, как когда-то в Дуино: весь мой телесный состав трещал и скручивался. О еде нечего было и думать.

И представь себе, еще одно, в другой связи, как раз перед тем (в «Сонетах к Орфею», двадцать пять сонетов — в предвестии той бури, как надгробие Вере Кнооп), я написал, я сделал коня, знаешь, того свободного счастливого жеребенка с привязанным к ноге колышком, который, однажды, галопом прискакал к нам вечером на приволжском лугу — я сделал его как «По обету» — Орфею! — Что такое время? — Когда это «сейчас»? Через столько лет он прискакал ко мне, переполненный счастьем, в широко раскрытое сердце.

Так шло одно за другим.

Теперь я снова принадлежу себе. Ведь это же было словно закупорка моего сердца — отсутствие элегий.

Они существуют. Они существуют.

Я вышел наружу и погладил, как большого старого зверя, маленький Мюзот, который мне их сберег, который, наконец-то, мне их отдал.

Потому-то я и не отвечал на твое письмо, что в эти недели я молчал, словно в ожидании, сам не зная чего,

со все более уходящим в себя сердцем. И вот сегодня, дорогая Лу, только это. Ты должна знать об этом без промедления. И твой муж тоже. И Баба ¹, и весь дом, вплоть до старых уютных сандалий!

Твой старый Райнер.

P.S. Дорогая Лу, мои написанные вчера ночью не переводя дух листки — эти два — не смогли быть отправлены (сегодня воскресенье), поэтому я пользуюсь этой отсрочкой, чтобы переписать тебе три законченные элегии (Шестую, Восьмую и Десятую). Остальные три я перепишу в ближайшие дни и скоро вышлю. Мне так хорошо, если они будут у тебя. И, кроме того, мне спокойнее, чтобы они где-то еще, помимо меня, существовали — в надежном месте и в точных списках.

А теперь я хочу хоть на минутку на воздух, пока еще не зашло воскресное солнце.

Прощай.

М. И. ЦВЕТАЕВА² — Б. Л. ПАСТЕРНАКУ

Середина июля 1928 года

О, Борис, Борис, как я вечно о тебе думаю, физически оборачиваюсь в твою сторону — за помощью! Ты не знаешь моего одиночества. . . Закончила большую поэму. Читаю одним, читаю другим — полное — ни слога! — молчание, по-моему неприличное, и вовсе не от избытка чувств! — от полного недохождения, от ничего-не-понят-

¹ «Баба» и «прощай» написаны по-русски. — *Прим. пер.*

² Высокое чувство, которое испытывала М. И. Цветаева (1892—1941) к Б. Л. Пастернаку (1890—1960), в письмах к нему соединяется с тоской по родине и с тоской поэта по поэту.



М. И. ЦВЕТАЕВА

ности... А мне — ясно, и я ничего не могу сделать. Недавно писала кому-то: «Думаю о Борисе Пастернаке — он счастливее меня, потому что у него есть двое-трое друзей — по э т о в, знающих цену его труду, у меня же ни одного человека, который бы — на час — стихи предпочел бы всему». Это так. У меня нет друзей. Есть дамы — знакомые, приятельницы, покровительницы, иногда любящие (чаще меня, чем стихи, а если и берущие в придачу стихи, то, в тайне сердца, конечно, стихи 1916 года). Для чего же вся работа?..

В жизни я как-то притерпелась к боли... Даже физически: беру раскаленное — и не чувствую, все говорят: липы цветут — не слышу, точно кто-то — бережа и решив — добровольно! — залил меня, бескожную, в нечто непроницаемое. Помнишь Зигфрида и Ахиллеса? Помнишь липовый лист одного и пяту другого? ¹. — Ты.

Б. Л. ПАСТЕРНАК



Ты, наверное, переоцениваешь мою книгу стихов. Только и цены в ней что тоска. Даю ее, как последнюю лирическую, знаю, что последнюю. Без грусти. То, что можешь, — не должно делать. Вот и все. Там я все могу. Лирика (смеюсь, — точно по э м ы не лирика! Но условимся, что лирика — отдельные стихи) — служила мне

¹ Липовый листок, упавший на спину Зигфрида в то время, как он омылся в крови дракона, даровавшей непроницаемость от вражеских ударов, сделал уязвимым сердце этого героя германского эпоса. Пята — уязвимое место Ахиллеса, героя греческого эпоса.

верой и правдой, спасая меня, вывозя меня — и заводя каждый час по-своему, по-моему. Я устала разрываться, разбиваться на куски Озириса...¹

Борис, ты когда-нибудь читал Тристана и Изольду в подлиннике? Самая безнравственная и правдивая вещь без виноватых, со сплошь невинными, с обманутым королем Марком, любящим Тристана и любимым Тристаном, с лжеклятвой Изольды, с постоянным нарушением самых святых обетов, с — наконец! — женитьбой Тристана на другой Изольде (как будто есть другая!) из малодушия, из безнадежности, из, если хочешь, душевного расчета. И как из этого ничего не вышло, и как из всей любви ничего не вышло, потому что умерли врозь...

История ничем не отличная от истории Кая и Герды...

Борис, ты не знаешь «С моря», «Новогоднего», «Поэмы воздуха» — сушайшего, что я когда-либо написала и напишу. Знаю, что надо собраться с духом и переписать, но переписка — тебе — безвозвратнее подписания к печати, то же, что в детстве — неожиданное выбрасыванье какого-нибудь предмета из окна курьерского поезда. Пустота детской руки, только что выбросившей в окно курьерского поезда — что? Ну, материнскую сумку, что-нибудь роковое...

Борис, я соскучилась по русской природе, по лопухам, по неплющевому лесу, по себе — там. Если бы можно было родиться заново...

¹ О з и р и с (Осирис) — древнеегипетское божество умирающей и воскресающей природы.



В. П. ЧКАЛОВ

В. П. ЧКАЛОВ¹ —
О. Э. ЧКАЛОВОЙ

1928 г.

... 1-го я был мысленно с тобой и Игорем, думал только о тебе и твой образ видел ясно. Чувствовал твои боли и муки, вспоминал твое лицо в тот день, когда был у тебя в палате после родов. Твое лицо говорило о перенесенном бою. И в то же время на нем было написано необъяснимое, хорошее чувство, чувство материнства, чувство того, что ты дала миру еще новое живое существо. А как я был в этот день рад, счастлив, мне хотелось кричать, петь, носить тебя на руках. Ты дала мне то, чем я живу сейчас, и моя жизнь стала какой-то хорошей и дорогой. Ты и сын — вот моя жизнь, мой воздух и свет. Сын — это связующее звено в нашей жизни.

Ты друг, товарищ, который не бросит меня в тяжелую минуту и рядом с которым я отдохну и морально и физически.

...Лелик, почему так долго у сынки нет зубов? Ты обрати внимание. Это



О. Э. ЧКАЛОВА

¹ Чкалов Валерий Павлович (1904—1938) — замечательный советский летчик; в 1925 году познакомился со студенткой Ленинградского педагогического института Ольгой Эразмовной Ореховой, которая через два года стала его женой.

плохо, если у него сразу пойдут потом. Правильно: 2 зуба вниз, потом 2 зуба вверх и 4 вниз и т. д.

...Как он сидит — сам или нет? Капризничает или нет, как оспа, как зубки — прорезались или нет? Ты вот все эти мелочи про сынку не пишешь. Как он вырос? Вес какой его? Сейчас же сходи и взвесь его. Ты знаешь, как мне хочется все это знать! Ну вот и все, что я могу написать. Душу свою, большую и скучающую, на бумагу не выложишь, да ты ее и так понимаешь.



Р. П. ОСТРОВСКАЯ

Н. А. ОСТРОВСКИЙ¹ —
Р. П. ОСТРОВСКОЙ

7 октября 1936 года. Сочи.

Раюша, я прошу тебя не приезжать за мной. Я не знаю точно, когда поеду. Не срывай своей учебы. Не приезжай. Это моя просьба.

Я буду спокоен за срок выезда, а то

¹ Островский Николай Алексеевич (1904—1936) женился на Раисе Порфирьевне (девичья фамилия Мацюк) в 1926 году, уже тяжело больной, полный больших творческих замыслов и решимости бороться всеми возможными и даже невозможными средствами за жизнь, за место в строю. Р. П. Островская была с ним рядом в самые высокие и трагические годы, когда он, обреченный на неподвижность, писал романы «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей». Многие страницы написаны ее рукой под его диктовку.

прилетишь, а здесь сроки сорвут с подачей вагона... и я буду в тревоге за твой прогул.

Итак, ты, девочка, останешься в Москве, все подготавливаешь и встречаешь нас. Не прими это за обиду, родная.

Это моя личная просьба. Здесь достаточно людей.

Мне трудно писать. Прости. До скорой встречи. Прошу, учись спокойно. Учись, расти. Это доставит мне радость.

Помни, что, кроме личного, у нас есть гораздо большее — это борьба и честь нашей Родины.

Твой Коля.

АЛЕКСЕЙ — НАТАШЕ ¹

26 августа 1941

У нас сейчас очень тихо. Когда наступает эта недолгая тишина, как хочется забыть о том, что идет война. Но как забудешь? Если б не война, мы были бы вместе, мне не пришлось бы писать тебе эти горькие письма. Горькие уже потому, что в каждом слове ощущается долгая разлука. Иногда я думаю, если б не война, может быть, вообще ничего не было бы... Но я не хочу в это верить. Я не хочу ни за что благодарить войну. «Противное человеческому разуму», — писал Толстой. Разве только разуму? Противное естественным человеческим потребностям, которые ощущает в себе даже самое неразумное существо. Самой насущной человеческой потребности: любить и быть любимым. В двадцать лет хочется гулять с любимой девушкой по ночным улицам,

¹ Из личного архива, владелица которого пожелала остаться неизвестной.

читать ей стихи, плохие свои и хорошие чужие, с какой-нибудь пышной клумбы сорвать, рискуя поплатиться, самый красивый цветок. . . Посмотреть на него и бросить небрежно к твоим ногам, потому что даже самый красивый цветок на свете не стоит твоей руки. Твоей маленькой нежной руки, до которой я всегда боялся дотронуться. . . Наташа, скажи, ведь врут ребята, когда говорят, что девушки, и ты в том числе, презирают таких «робких», ведь врут, Наташа, правда? Прости меня. Я знаю, что они врут.

Помнишь, еще весной мы говорили о войне (тогда она казалась нам совершенно невозможной!), и ты спросила, могу ли я убить человека. Я так содрогнулся, что ты и потом, вспоминая, долго смеялась. Нет, Наташка, нет, милая, никогда в жизни я не смогу убить человека. И ты не можешь себе представить, какое это радостное открытие. Первое время я стрелял, со страшным трудом подавляя в себе желание зажмуриться. Тогда я ничего не писал тебе о войне, мне было стыдно, ужасно стыдно. Но внешне они слишком похожи на людей. Мне казалось, что я не мужчина, тряпка, размазня, «баба», как у нас говорят. Но они слишком похожи на людей. Им надо было убить Колю Шабанова, чтобы я наконец понял, что они не люди, не люди, и их надо, надо, надо убивать. Это «надо» я твердил сначала как заклинание, теперь это слово, обычно пресекающее все эмоциональные порывы, стало как бы воплощением всех моих эмоций, всех моих желаний: надо убивать! Я никогда не скажу «хочется», но «это надо» ощущаю сейчас как самое страстное свое желание.

Я люблю тебя, Наташка! Мне раньше казалось, что на войне не до женщин, вообще не до любви. Нет, все наоборот. Мне кажется, я никогда не любил тебя так, как сейчас. Что-то новое вошло в мою любовь. Я помню, как весной вечерами бродил один по улицам и читал

наизусть «Гамлета»: «Что б для нее ты сделал?» Все, честное слово, все. Но что я мог сделать тогда? Если б ты любила меня, я сделал бы тебя самой счастливой девушкой на свете одной своей любовью. Но ты меня не любила, никто не требовал от меня никаких жертв, никаких подвигов. Я ничего не мог сделать для тебя. Теперь могу и делаю. Моя любовь сейчас — это любовь, наполненная ответственностью за счастье любимой девушки.

Я перешлю тебе это письмо с Володей Волковым, ты уже знаешь его по моим рассказам. Он как раз едет к вам. Не влюбляйся в него.

Подло ревновать, когда идет война, когда всем хочется быть любимыми, так хочется, как никогда раньше не хотелось. . . Но я ревную тебя ко всем, кто сейчас встречает тебя. Ты такая красивая, такая нежная, в тебя просто невозможно не влюбиться. А когда кругом так много поклонников, когда разбитые сердца так и сыплются к твоим ногам, трудно, я это очень хорошо понимаю, хранить верность какому-то. . . Ты лучше меня знаешь, кому и какому. Наверняка он тебя не стоит. Но любит, Наташка, любит! И я не могу сказать «любит так, как никто никогда любить не будет». Белинский прав, талант любить не каждому дан, но многие счастливы (а может быть, несчастные? Нет, все-таки счастливы), одаренные этой и тягостной и радостной способностью, будут любить именно тебя. Кого же еще, Наташка? Кого еще можно любить?

Как я хотел бы написать «целую». . . Но не покажет ли тебе, что я в разлуке совсем обнаглел?

Нет, я не нагл, я бросаю к Вашим ногам воображаемую розу, не смея близко к Вам подойти.

Но когда вернусь, я буду вести себя развязно: вместе с сердцем, которое давно уже Ваше, я буду назойливо предлагать Вам мою немужественную руку.

Алеша.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО МИСАКА МАНУШЯНА ¹ ЖЕНЕ

Моя любимая Мелине, моя самая любимая сиротка!
Через несколько часов меня не будет в этом мире. Скоро после полудня — в 15 часов — мы будем расстреляны. Это вошло в мою жизнь как некий несчастный случай. Этому не верю и все же знаю, что никогда больше тебя не увижу.

Что могу написать тебе? Во мне все сейчас неопределенно и вместе с тем ясно. Я вступил в Армию свободы, как добровольный солдат, и умираю за два шага до победы и цели. Желаю счастья тем, кто будет жить после нас и упиваться сладостью завтрашнего мира и свободы.

Уверен, что французский народ и все борцы за свободу достойным образом почтят нашу память. В час смерти заявляю, что у меня нет никакой ненависти к немецкому народу, к кому бы то ни было. Каждый получит по достоинству награду или наказание. После войны, которая уже долго не продлится, немецкий народ и все другие народы должны жить мирно, по-братски. Желаю счастья всем.

Глубоко сожалею, что не смог принести тебе счастья. Я очень хотел иметь от тебя ребенка, этого и ты всегда хотела. Прошу тебя, после войны обязательно выходи замуж и роди ребенка. В честь меня и во исполнение моего последнего желания выйди замуж за того, кто сможет сделать тебя счастливой.

¹ Именем Мисака Манушяна (1904—1944) названа одна из улиц в Париже. Мальчиком он был привезен из Турции во Францию, в 1934 году стал коммунистом, после оккупации Франции нацистами возглавил партизанский отряд; был схвачен и расстрелян. Стихи Манушяна впервые переведены на русский язык Э. Гольдернессом.

Все мое имущество завещаю тебе, твоей сестре и ее детям. После войны ты, как моя жена, сможешь получить воинскую пенсию, так как я умираю добровольным солдатом Армии свободы Франции. После войны с помощью друзей, которые пожелают почтить мою память, отдай издать мои стихи и вообще то из написанного мною, что заслуживает быть напечатанным. Если это будет возможным, отвези память обо мне и в Армению.

Через некоторое время — вместе с моими двадцатью тремя товарищами — я умру без страха и со спокойной душой человека, совесть которого чиста, потому что лично я не причинил вреда никому, а если и причинил, то без ненависти. Сегодня солнечный день. Глядя на солнце и на красоту природы, которую я так любил, я прощаюсь с жизнью и со всеми вами, моя горячо любимая жена и мои горячо любимые друзья. Я прощаю тем, кто лично мне повредил или хотел повредить, за исключением тех, кто предал нас ради спасения своей шкуры, тех, кто нас продал.

Крепко целую тебя, твою сестру и всех друзей, далеких и близких. Прижимаю всех вас к груди. Прощайте. Твой друг, твой товарищ, твой супруг.

М. Манушян.

НЕИЗВЕСТНАЯ — НЕИЗВЕСТНОМУ ¹

Хороший мой, любимый! Как рассказать тебе о моем счастье? Во все времена счастье было понятием отвлеченным. Это неверно. Ничего нет более зримого и вещественного, чем счастье. В течение трех дней я видела его, ощущала, дышала им, держала его в руках. Это сделал ты.

¹ Письмо найдено в старой книге «Образы Италии», купленной у букиниста.

Луна в радужном кругу, скрип голубого снега, заиндевшие волосы и ресницы — все это было счастьем. Две девочки догнали меня, таща за собой санки — совсем легонькие, детские салазки, которые звенели и подпрыгивали на ухабах. Мы катались с укутанной ледяной горки, и ветер свистел в ушах и до слез жег глаза. Мы падали, барахтались в снегу, карабкались по скользкой тропке. Наши варежки совсем промокли, а волосы растрепались. И все это было счастьем. Счастьем была большая темная комната, где пахло хвоей и только что погашенными свечками, а на полу лежали морозные лунные квадраты. Елки не было видно, и только тускло поблескивали кое-где стеклянные шарики. Счастьем была тихая белая мохнатая ночь, когда я одна ушла далеко, далеко от дома. Я шла по дороге, и все вокруг было полно мягкого белого рассеянного света, все казалось нежным и пушистым, и только фантастически искривленные стволы ветел чернели над заметным сугробами прудом. Казалось, так можно идти без конца и никогда не устанешь, не озябнешь и не соскучишься. А еще я помню утро — розово-голубое, чуть морозное, когда лыжи так чудесно шуршат по зернистому плотному снегу, а воздух такой свежести и чистоты, что его пьешь, как воду. Милый, с чем бы ни встречалась я в эти дни — все было счастьем. В сущности, ничто не имело непосредственного отношения к тебе и все-таки все было тобой! Как благодарна я тебе за то, что ни одна темная мысль, ни одно горькое воспоминание, ни одно печальное предчувствие не омрачили этих чудесных дней. Может быть, сейчас, когда я пишу эти слова, я уже не владею ничем. Вокруг меня знакомые стены, белый телефон молчит, и сердце мое снова бьется тревожно и неровно. Я так хочу услышать твой голос и так боюсь потерять чудесное свое счастье. Но вот сейчас, пока я ничего не знаю, пока я еще верю в самое лучшее, я хочу еще раз сказать тебе спасибо.

бо за счастье, за веру в себя, за молодость! Да, да, за молодость. С каким пристрастием, с какой пытливостью всматривалась я в эти дни в зеркало. И я видела: счастливые блестящие глаза, горячий румянец, гладкую, упругую, молодую кожу. . . Не свежий воздух, не январский морозец сделали это. Это сделало счастье. Это сделал ты. Словно не было ни горя, ни болезни, ни бессонных ночей. Засыпала ли я или открывала глаза — ты был со мной. Не помню, что ты говорил мне в новогоднюю ночь, не знаю, помнишь ли ты об этом, знаю только, что никогда не верила я в тебя так, как верила в эти, лучшие в моей жизни, дни. Родненький мой, а может, и вправду ты любишь меня? Может, и вправду я еще могу быть молодой и счастливой, может, сбудутся еще мои желания — мои три желанья, из которых самое главное — это быть дорогой и нужной тебе!

ЭПИЛОГ

Время
воскрешать

Я хотел, чтобы рядом с вечно живыми голосами, никогда не умолкшими для нас, зазвучали полузабытые и безвестные совсем. И вот настала минута услышать совершенно забытый голос человека, которому я обязан замыслом этой работы, — голос Анастасии Николаевны Сологуб-Чеботаревской (1876—1921).

В русских журналах начала века можно найти ее статьи по искусству — о Родене, художниках Монмартра, Нестерове, Врубеле, Сомове... Она переводила Стендаля, Мопассана, Ромена Роллана, Метерлинка... И она составила несколько оригинальных по замыслу книг. Одна из них, ставшая ныне большой библиографической редкостью, — «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII—XIX веков». В книге этой автор — она скромно именуется себя: «составитель» — как бы отсутствует вовсе: в ней — письма, только письма, одни лишь письма... Читая их, ощущаешь все отчетливей, все резче любовное письмо как весомейший исторический документ, отражающий в тончайших бесценных подробностях дух эпохи, ее нравы.

Анастасия Николаевна Сологуб-Чеботаревская уме-

лым талантливым отбором раскрыла философскую суть и эмоциональную мощь любовного письма, его непреходящую ценность, когда в нем запечатлена живая, ищущая истины душа. В отборе этом живет и она сама — автор-составитель, собственная душа ее. В собранном ею томе большое, пожалуй, даже господствующее место занимают письма поэтов, особенно поэтов-романтиков, и письма женщин. Отдельные строки могут сегодня рассмешить чересчур рассудительного читателя, показаться инфантильными или банальными, удивить сентиментальностью. Удивляет даже сама техника обмена письмами. Поэт начала XIX века Иустин Кернер и его возлюбленная Рикеле не пересылали их по почте, а оставляли под камнем в старой, заброшенной капелле. Но то странное, возвышенно-невнятное, о чем он ей писал, пожалуй, и нельзя было передавать иначе: «... юноша относится к деве как звезда к цветку; неустанно плывет по небу звезда, сквозь облака и бури... Цветок тихо благоухает на родной почве...» Это бормотание сердца и надо было, наверное, укрыть под камнем, как укрывает под ним бормотание первый весенний ручей.

Можно улыбнуться сегодня, читая строки из писем поэта-романтика Ленау: «В прекрасных глазах, подобных твоим, как в пророческом иероглифе, является нам материя, из которой когда-нибудь будет создано наше вечное тело. Когда я умру, то уйду из этой жизни богатым, так как видел прекраснейшее... Слова, сказанные тобой сегодня вечером, как бальзам, пролились в мое сердце... Такие минуты наполняют сердце бурным избытком и счастья, и страдания, и оно, смущенное, не знает, исходить ли ему кровью или смеяться...» Можно, повторяю, улыбнуться, можно... Но тот, кто ощутит в ворохе слов этих, похожих на ворох старой, старой листвы, живое подлинное страдание — страдание, от которого даже умирают (что и доказал собственной судьбой

поэт), устыдится желая улыбнуться. Увядает стиль, но не умирает боль.

В книге А. Н. Сологуб-Чеботаревской особенно много писем женщин, в отличие от моей, куда более «мужской». (И это естественно: писатель склонен рассказывать о том, в чем он разбирается. То, что написано о загадке женской души, отнюдь не романтический вымысел, потому что написано это мужчинами, а мы ее действительно не понимаем.)

Странное дело — ни одно из этих женских писем не вызвало иронии и у самых несентиментальных, даже антиромантически настроенных людей, которым я давал читать их. Они не казались ни банальными, ни инфантильными, ни даже наивными, хотя написаны были в то же самое время и порой в духе тех же умонастроений, что и мужские «смешные». Почему? Самое легкое, не раздумывая, отнести это к «загадке женской души». Но, объявляя загадочное загадкой, мы не делаем его ни более понятным, ни более волнующим.

В письмах женщин, которые любили, есть та возвышенная трезвость, земная нежность и земное милосердие, то радостное переживание живого мира, которое делает их неувыдаемо естественными, именно естественными, как естествен лес или дождь. Эти «несмешные», несмотря на всю «старомодность» чувств, женские письма делают более понятными и «смешные» мужские, ибо раскрывают в женщине то, от чего можно, как некогда говорили, потерять голову и сердце. (Хотя как раз те, кому они писались, не теряли часто ни сердца, ни головы.)

Я вернулась сегодня вечером в Эрбле, думая о вас, — писала в 1841 году забытая ныне французская писательница Гортензия Алларт де-Меритенс известному писателю и критику Сен-Беву. — Если бы вы знали, какое очарование быть одной в природе среди зимы, вдали от

шума городов и суеты страстей. Я не поспела на дилижанс в Эрбле, и мне пришлось ехать в карете, отправляющейся в Понтуаз, которая довезла меня до того места, где мы с вами обедали; оттуда я пошла пешком при свете луны в легком тумане. Я была так счастлива, воздух и тишина давали мне такую радость, что я готова была броситься на колени в грязь и благодарить бога; бегущие облака проносились над рождающейся луной, вечерний холод был не резкий, воздух был пропитан туманом и населен видениями. Все было спокойно, все с негой призывало к домашнему очагу. И, сидя здесь, у моего одинокого очага, я чувствую радость, передать которую я вам не сумею. Я слышу только дыхание моего уснувшего ребенка; все в деревне спит, кроме меня, пишущей вам. Мне кажется, что я с радостью разделила бы с вами эту тишину уединения полей. Мы бы вместе наслаждались общением с наукой и одиночеством; тут около меня все эти мудрецы, мои истинные возлюбленные. Какую радость дает наука! Как приятно быть одной с книгами! Но хорошо было бы также читать их с кем-нибудь, — по очереди, как вы говорите в ваших стихах.

Меня очень смутило то письмоцо, которое вы мне написали, — вы, который бежит от любви, как сражающийся Парфянин. Любили мы друг друга? Нет, так не любят. Я знаю, что значит любить, я бы вам показала, как я умею любить. Теперь, может быть, мы могли бы начать. Любовь — это что-то святое, томительное, то грустное, то радостное. Никто бы не внес в любовь к вам такой нежности, такой свободы, как я. У нас был бы один общий культ, культ великих писателей на земле и богов на небе. Подарите мне хоть на мгновение тень сожаления об этом, а потом сейчас же раскажите по обыкновению. Вы всегда очаровывали меня. . .

В вас есть какая-то сдержанность, скрытая сила,

скромность и величие, полное такой неги и красоты, что мысль всегда обращается к богу. Я бы сумела понять вас и нашла бы радость в том, чтобы жить для вас.

Я прочла сегодня вечером у Бэкона: «Всякая наука и всякое преклонение перед ней приятны сами по себе». И еще: «Науки вызывают в душе постоянное волнение. Бедность — удел добродетели и т. д.»

Почему это письмо хочется перечитывать? Должно быть, из-за тишины, которая растворена в нем, тишины любви. Это — и тишина мудрости. Очарование письма и в обилии — при всей возвышенности чувств — чисто земных, обыденных подробностей. Хотя и мелькает в нем — в духе эпохи — «воздух, населенный видениями», но мы видим явственно: карету, каменистую дорогу, тускло освещенную рождающейся луной; одиноко освещенное окно в ночном доме; чувствуем нерезкий холод туманного зимнего воздуха и даже как бы осязаем старые кожаные переплеты книг. То, что она пишет о любимом: «скрытая сила, скромность и величие, полное такой неги и красоты», — хочется отнести к самому письму. Точнее и не определишь его особенность — «скрытая сила и величие».

А вот что писала в самом конце большой беспокойной жизни известная французская писательница Сталь (1766—1817) писателю и политическому деятелю Бенжамену Констану:

Нет, право, я не могу вас забыть. Я хотела, я могла бы, затаив в душе своей горе, утешить его развлечениями, но оно вновь оживает, лишь только я остаюсь одна. Навсегда разбитое счастье! Если бы вы обладали свойствами преданного друга, то я осталась бы счастливейшей из смертных. Но этого я не заслужила. Свидание с вами пробудило во мне весь дух и способность верить, погасшую вместе со всем остальным. Если вы не приедете сюда — в Англию — я приеду на континент. Мне кажет-

ся это возможным. Кто знает, что станется с миром? Свободе угрожает одинаковая опасность с обеих сторон. . . Но самое главное, надо, чтобы тот, кто стоит вне пределов человеческого естества (речь идет о Наполеоне. — Ред.), перестал царствовать. Записку, присланную мне, я передала министрам. Она была написана так же превосходно, как и все исходящее от вас. Я сомневаюсь, чтобы у кого-нибудь можно было найти подобный стиль, подобную твердость и ясность выражений. Вы были бы предназначены к высокому назначению, если бы остались верны себе и другим.

Видели ли вы предисловие к моей книге, и знаете ли вы, какое ее воздействие на континенте? Если вы хотите продать здесь ваше сочинение, думаю, что я могу вам в этом оказать помощь. То, что относится к современному политическому положению, — очень ценится. После свидания с вами я отправлюсь в Грецию. Стихотворение «Ричард» станет моим завещанием. Бенжамен, вы отняли у меня жизнь! В течение десяти лет не существовало дня, когда бы мое сердце не тосковало по вас. Как я любила вас! Оставим все это, — это слишком жестоко, но все же я никогда вам не прощу, как никогда не перестану страдать. . .

Возводить здание на песке жизни — тяжкий труд; лишь страдания неизменны и постоянны. Напишите мне.

Я часто писал о том, что умение переживать личное, интимное в сочетании с общечеловеческим, мировым — отличительная особенность человека XX столетия. Действительно, если иметь в виду людей «рядовых», будто бы ничем не замечательных (хотя абсолютно ничем не замечательных, абсолютно рядовых, по-моему, не существует), если, повторяю, иметь в виду не мыслителей или художников и социальных деятелей, то особенность эту можно назвать новой, даже нарождающейся, ибо рань-

ше она была уделом лишь избранных. Была она и уделом истинно любящих.

Я коснусь сейчас одной замечательной особенности любви, надеясь в последующем остановиться на ней более подробно.

В старом, почти тысячелетней давности стихотворении рыцарь, расставаясь с дамой перед походом, говорит ей, что любил бы ее больше всего на свете, если бы не любил больше всего на свете чести. К чести дамы, она понимает, что это ничуть не умаляет любви к ней рыцаря, не отводит любви второе место в его жизни, а, напротив, сообщает ей особую силу и красоту, делает истинно рыцарской. Почему? Да потому, что человек, для которого честь на втором месте, не удержит на первом любовь перед лицом опасности, в испытаниях. И, не удержав, утратит ее совсем. Рыцарь, ставящий честь ниже любви, в любви ненадежен.

В понимании более современном честь — осознание себя частицей мира и человечества, чувство ответственности за их судьбы. От масштабов этого сознания зависят и масштабы любви, о чем рассказали Маяковский, Назым Хикмет, Пабло Неруда, Гарсиа Лорка... Может показаться странным, что я о рыцарстве завел речь в разговоре о женских письмах. Но ведь и они «больше», чем о любви. Гортензия Алларт де-Меритенс пишет о науке и философии, о книгах мудрецов и культе великих писателей; Сталь — о судьбах Европы. И в то же время это истинно любовные письма, насыщенные и тоской, и нежностью, и всепрощением. Эти письма обнажают одну великую особенность женской любви — готовность начать все сначала.

Что бы ни было раньше — *начать*. Истоки этого дара — в милосердии.

Говоря об обилии женских писем в книге А. Н. Сологуб-Чеботаревской, стоит особо отметить, что в ней

немало писем невест и писем, что ли, чересчур возвышенно платонических, чтоб отнести их к роду любовных. Я дам сейчас образец и первых и вторых.

ЛОТТА ¹ — ШИЛЛЕРУ

1787 г.

Три раза вскакивала я сегодня утром с постели и подбегала к окну, заслышав лошадиный топот, и надеялась увидеть тебя, но нет; каждый раз то были телеги мельника, нагруженные тяжелыми мешками. Наконец я все-таки дождалась тебя, встала в четвертый раз — и это был ты! Я увидела тебя еще, когда ты шел через рынок, пока ты не завернул за угол. И сердце мое последовало за тобою, дорогой мой возлюбленный! Вчера был чудный, теплый день, мы были счастливы; такие мирные дни будут часто повторяться в будущем. Это собственно значит жить, — вновь обретать себя в объятиях любви, о, мир так тесен без этого!

Я только что отобедала и должна была обедать одна, так как Лина приглашена ко двору. Вечером и я отправилась туда; мне так странно среди людей, когда подумаю, что я могла бы быть с тобою, они проходят мимо, как тени, и мое сердце так мало нуждается в ощущении их реальности, ибо оно полно собою.

Что делаешь ты сегодня? Ах, мне хотелось бы знать это ежеминутно!

Наши вчерашние планы так ясны и светлы, и я верю, что они исполнятся. Если ты чувствуешь себя хорошо в Р. и если можешь ничего не терять для будущего, то

¹ Шарлотта Ленгефельд — невеста великого немецкого писателя Шиллера, ставшая потом его женой.

все устроится, добрый отец, надеюсь, будет успокоен твоими объяснениями и сознанием того, что ты будешь счастлив, милый, дорогой, не правда ли? О, мысль о том, что я смогу дать тебе радость, создать тебе спокойные чудные минуты, окрыляет мою душу!

Е. Г. ЛЕВАШОВА ¹ — П. Я. ЧААДАЕВУ

Около 1830 г.

Искусный врач, сняв катаракту, надевает повязку на глаза больного; если же он не сделает этого, больной ослепнет навеки. В нравственном мире — то же, что в физическом; человеческое сознание также требует постепенности. Если Провидение вручило вам свет слишком яркий, слишком ослепительный для наших потемок, не лучше ли вводить его понемногу, нежели ослеплять людей как бы Фаворским сиянием и заставлять их падать лицом на землю? Я вижу ваше назначение в ином; мне кажется, что вы призваны протягивать руку тем, кто жаждет подняться, и приучать их к истине, не вызывая в них того бурного потрясения, которое не всякий может вынести. Я твердо убеждена, что именно таково ваше назначение на земле; иначе зачем

П. Я. ЧААДАЕВ



¹ Левашова Е. Г. — близкий друг П. Я. Чаадаева.

ваша наружность производила бы такое необыкновенное впечатление даже на детей? Зачем были бы вам даны такая сила внушения, такое красноречие, такая страстная убежденность, такой возвышенный и глубокий ум? Зачем так пылала бы в вас любовь к человечеству? Зачем ваша жизнь была бы полна стольких треволнений? Зачем столько тайных страданий, столько разочарований?.. И можно ли думать, что все это случилось без предустановленной цели, которой вам суждено достигнуть, никогда не падая духом и не теряя терпения, ибо с вашей стороны это значило бы усомниться в Провидении? Между тем — уныние и нетерпение — две слабости, которым вы часто поддаетесь, когда вам только стоит вспомнить эти слова Евангелия, как бы нарочно обращенные к вам: будьте мудры, как змии, и чисты, как голубь. До свидания. Что ждет вас сегодня в клубе? Очень возможно, что вы встретите там людей, которые поднимут целое облако пыли, чтобы защититься от слишком яркого света. Что вам до этого? Пыль неприятна, но она не преграждает пути.

Какие разные письма, одно — жениху, второе — родному по духу человеку. И как похожи они — желанием создать тому, кому пишут, «чудные минуты», «окрылить душу».

В картинных галереях перед женщинами на старинных портретах я переживал часто нечто странное: мне казалось, что лично ко мне обращена заключенная в них загадка. От меня будто бы чего-то ждут. И Хендрикье Стоффелс на портрете Рембрандта. И Струйская, написанная Рокотовым, и камеристка на портрете Рубенса. . . Ждут? Чего же?

И вот я понял однажды: перед портретом Хендрикье Стоффелс — она ждет, чтобы я узнал ее. Чтобы я узнал ту сегодняшнюю, живую женщину, которую люблю.

И когда я узнал, то понял, почему она этого ждет. Передо мной был теперь не портрет женщины, написанный великим художником, а она сама — живая. Живая Хендрикье Стоффелс. Ей было мало быть портретом. И вот она уже не портрет. Портрет был формой ее существования, пока я не узнал ее. И он не нужен ей больше. Она вернулась в жизнь. Портрет не делал ее бессмертной, он сохранял ее для бессмертия. Бессмертной делает ее живая боль сердца (ведь любовь — это постоянное чувство боли, даже в радости). Бессмертной делает ее моя сегодняшняя любовь. И вот она очнулась, и окно распахнула шире, и с ней воскрес целый мир: старый Амстердам, старые радости и печали, рынки, каналы и мастерские художников, старая любовь, бесценные ткани, горящие в отблесках старого дня, старая тишина и старая боль, туманы и запах торфа.

Это она, живая, со всем, что окружало ее при жизни, и это она, узнанная мной, сегодняшняя, тоже ставшая бессмертной, потому что старая тишина и старые радости, старая боль и старый Амстердам с мастерскими художников, рынками и каналами в ту минуту, когда ты ее узнал, навсегда, навсегда подарены ей.

И сам ты, узнавая, воскрешая, утроишь собственное бытие и если и не стал бессмертным, то изведешь ту полноту и богатство духовной жизни, ради которой и стоит никогда не умирать.

Особенно люблю старые-старые портреты Рокотова, портреты неизвестных женщин. Как волнует само название: «Портрет неизвестной». Только мне кажется, что «Неизвестной» надо писать с большой буквы: «Портрет Неизвестной», — настолько огромно, безмерно то, что скрыто за этим.

И наверное, любой женский портрет можно назвать «портретом Неизвестной», пока он не узнан нами... Может быть, это относится и к старым письмам?

Мне хотелось по возможности подробно рассказать о том «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII—XIX веков», созданном А. Н. Сологуб-Чеботаревской. То, что я написал, построил, не похоже на ее работу, но замыслом я обязан именно ей.

И естественно, хотелось бы мне воскресить ее самое, как она воскресила полузабытых и забытых женщин минувших веков. Надо, надо, решил я с самого начала, чтобы читатель услышал живой ее голос. Но как этого добиться? Дать строки ее писем к любимому? Мне они не известны, а может быть, их и нет. Известно лишь, что она была верной женой и самоотверженной, бескорыстной до странности помощницей мужа — известного русского писателя Федора Сологуба. Определяя бескорыстие ее как странное, я имею в виду более чем редкое даже у самых по-человечески добрых писателей, особенно писательниц, умение раствориться в чьем-то творчестве — пусть даже в творчестве мужа, подарить ему самое дорогое: замысел, а порой страницу, и не одну, образ, мысль. А. Н. Сологуб-Чеботаревская делала это, по воспоминаниям самого Ф. Сологуба, легко, как нечто само собой разумеющееся.

Голос ее, живой, страстный, сохранился в последней ее неоконченной работе «Женщина накануне революции 1789 года», изданной в Петрограде в 1922 году. Мы услышим этот голос сейчас. . .

По сравнению с семнадцатым веком характер любовных отношений в восемнадцатом веке существенно изменился. По существу, любовь в восемнадцатом веке уже утратила тот рыцарский колорит, который был характерен для века семнадцатого — изысканной куртуазности¹, когда любовь являлась турниром, требовавшим огромного искусства, напряжения, выдержки, доблести и героизма в помпезном стиле того века.

¹ Куртуазный — любезный, вежливый.

Восемнадцатый век решительно отворачивается от мистики, загадочности и фетишизма в чувстве... Отношения утрачивают пафос и устойчивость...

Но наблюдались, и даже не как исключение, браки весьма удачные, поразительные случаи душевной близости и взаимного уважения. Таково пятидесятилетнее супружество маркизов де Круасси; таков брак Морепана, идиллически проживших в полном согласии 55 лет, не расставаясь ни на день; таков же счастливый удел четы Бово, Шофэленов, Верженов, четы Шуазель, — последней даже несмотря на измены мужа.

Не исключены случаи любви трагической. Так, муж 2-жи де Треуйль во время болезни обожаемой им жены самоотверженно ухаживает за нею и вместе с нею умирает от оспы. Возлюбленный 2-жи Портайл на глазах мужа запирается с нею, чтобы вместе умереть.

Уже из этого видно, что, кроме той легкой любви, которую Стендаль определяет, как «любовь-влечение», в XVIII веке мы встречаем случаи подлинной страсти, — любви самой истинной, беззаветной и пламенной. Отражениями такой любви в знаменитых литературных памятниках эпохи являются образы шевалье де Грие в восхитительно-неувядаемом романе аббата Прево «Манон Леско» и «Новой Элоизы» Жан-Жака Руссо.

В этой книге А. Н. Сологуб-Чеботаревская рассказывает удивительную историю любви 2-жи дю Дэффан, известной хозяйки литературного салона, который посещали Вольтер, Монтескье, Д'Аламбер, к англичанину Горасу Уольполю. Дю Дэффан в конце жизни, семидесятилетняя, ослепшая, полюбила рассудительного, с твердой моралью и устоями Уольполя, который был моложе ее на двадцать лет, «и, — добавляет Сологуб-Чеботаревская, — если в области чувства совершаются чудеса, мы наблюдаем такое чудо».

«Я словно переродилась, — пишет она Уольполю, —

мне всего тринадцать лет». В этом письме, переходя на итальянский, она говорит «люблю тебя». Она собирает у себя самых интересных людей, самых очаровательных женщин, чтобы он бывал у нее чаще. Это чувство кажется Уольполю сумасбродством, оно ему чуточку льстит и основательно раздражает. Он резко отвечает на одно из ее любовных посланий, и она обещает ему никогда больше не писать о любви. Ей это удается, пока она в Париже, но не успевает Уольполь вернуться в Лондон, как его ждут пламенные строки: *Не все ли равно: быть юной или старой, слепой? Не все ли равно, где жить? Какое дело до того, что нас окружает только глупость и сумасбродство? Когда душа всецело поглощена чем-нибудь, она жаждет только предмета, который овладел ею; а когда он отвечает на питаемое к нему чувство, то больше нечего и желать.*

А чудо любви в том, что суровый, страшно боящийся показаться комичным, англичанин начинает отвечать на «питаемое к нему чувство». О, он не становится ее возлюбленным, более того — они живут в разных городах, но мысль о ней сообщает его жизни особое содержание, делает ее более осмысленной. Он открывает в ней, уже семидесятипятилетней, массу достоинств. Он видит, что она соединяет очарование юности с мудростью старости без тщеславия и педантизма этой мудрости; его радуют ее образованность и верность суждений, ее человечность и даже то, что она до сих пор пишет стихи и сама сочиняет к ним музыку, даже ее беспомощность кажется ему милой, а ее духовность — заслуживающей восхищения. И хотя он пишет об этом не ей, это — язык любви, точнее, человечности, переходящей в любовь... И вот ей уже восемьдесят (чувствуют ли, сознают ли это они оба?) и до Уольполя в Лондон доходят вести о возможном сокращении ее пенсии из-за ухода в отставку министра, который ей покровительствовал. Он посылает ей три тыся-

чи ливров, умоляя как о великой милости не отвергать его помощи. «Позвольте мне насладиться радостью самой чистой, оказав Вам помощь...» Она отвечает, что его письмо умилило ее до восторга. Она говорит, что лишь сейчас по-настоящему его узнала.

А когда ей уже восемьдесят четыре года, она написала ему в последний раз: *Не сердитесь, но я не могу не сказать вам, что отдала бы все на свете, чтобы еще раз встретиться с вами. Не бойтесь, я не буду больше говорить об этом.*

Она умерла, и без нее мир для Уольполя — он и сам уже состарился — опустел.

История эта, рассказанная А. Н. Сологуб-Чеботаревской в последней ее неоконченной книге, помогает уяснить, почему «совершаются в области чувства чудеса» и что делает любовь чудом. Отмечу сейчас лишь два обстоятельства: торжество духовного над телесным и торжество над временем. Остановлюсь на втором, чтобы вернуться к первому несколько ниже.

Что и почему торжествует над временем? Любовь торжествует, потому что она событие совершенно уникальное. И как все уникальное, то есть неповторяющееся никогда, «выпадает» из времени, которое есть бесконечный ряд ритмических повторений — вообразим для наглядности, осязаемости волны моря или музыку. Появление же любви по уникальности можно сопоставить с появлением на Земле самой жизни, с рождением самой мысли. Поднимаются и опускаются моря, растут и опадают горы, наступают и отступают льды, а жизнь и мысль родились лишь однажды. И любовь рождается однажды, в отличие от увлечений. Если стихия увлечений — время, то стихия любви — вечность. «Время, — писал Томас Манн, — вынашивает перемены».

Поскольку любовь вне времени, в ней и перемен быть не может.

Теперь о торжестве духовного над телесным. Странные бывают совпадения: в романе американского писателя Р. Бредбери «Вино из одуванчиков» рассказывает историю, напоминающая отдаленно отношения дю Дэффан и Уольполя. Тридцатилетний журналист Форрестор и девяностопятилетняя путешественница (теперь уже, конечно, на покое) мисс Элен Луис. Вечерами они сидят у нее дома, она рассказывает ему о мире, о городах и странах, о том, что видела, открывала, и дарит ему мир. Он видит с ней эти страны и города лучше, чем увидел бы один, не мысленно, а в действительности. Нет, это не любовь, это то, без чего не может быть любви. Вот они вечерами сидят, и она дарит ему мир: Шотландию, и Италию, и Париж, и острова Океании — он путешествует, о чем мечтал давно, и путешествует не один, с ней, с ней, молодой, потому что она видела это давным-давно, запомнив в тончайших подробностях, может быть, для того, чтобы когда-нибудь рассказать, подарить ему. Он путешествует с ней, молодой, и чувствует, что начинает видеть в этой девяностопятилетней, сидящей с ним на веранде женщине что-то новое. . . И уже не может жить без этих вечеров и рассказов.

И может быть, может быть. . . — ведь Бредбери — писатель-фантаст! — они вернутся в мир опять и уже так обидно не разминутся во времени (30 и 95!), и, юные, увидят мир, по-старому и по-новому. И в конце концов могло быть гораздо-гораздо хуже: если бы они разминулись настолько, что не было бы ни веранды этой, ни этих вечеров.

В один из последних вечеров она ему говорит: «Любовь определяет дух, хотя тело порой отказывается это му верить. Дух ведь рожден от солнца!»

Но об этом же писали в письмах — не в романе, в действительной жизни, лишь в ином веке, — дю Дэффан и Уольполь. Ничего не изменилось, а собственно говоря,

и не могло измениться, потому что лишь «время вынашивает перемены».

И суть «удивительных совпадений» состоит в том, что совершаются они в области человеческих чувств и отношений, которые торжествуют над временем.

Расскажу еще об одном «удивительном совпадении», будто бы не имеющем непосредственного отношения к нашей теме. Из жизни Жан-Жака Руссо и Андрея Болконского. Однажды, уже в старости, Жан-Жак Руссо шел, замечтавшись, в сумерках, за городом, и огромный, бежавший рядом с чьей-то коляской дог сшиб его; он упал на мостовую, потерял сознание, а когда очнулся, была уже ночь.

Я увидел небо, звезды и темневшие кусты. Это первое ощущение было незабываемо. В это мгновение я возродился к жизни. . . и мне казалось, что я стал каким-то легким и заполняю своим легким существом все окружающие предметы. . . Весь во власти данной минуты, я ни о чем не помнил. . . я не знал ни кто я, ни где я, я не чувствовал ни боли, ни страха, ни беспокойства. Я видел, как течет моя кровь — как видел бы, что течет ручей: не думая, что это моя кровь. Во всем моем существе я ощущал восхитительное спокойствие, подобного которому я не могу припомнить другого во всей сумме пережитых мною наслаждений.

Но ведь это же высокое небо увидел и Болконский, когда упал, раненный, на поле Аустерлица — высокое небо с бегущими по нем серыми облачками. И тоже не почувствовал ни боли, ни страха. И тоже ощутил во всем существе великий покой. И тоже в это мгновение возродился к жизни — к жизни духа. И если бы не это небо, он не полюбил бы потом Наташи Ростовой.

А Руссо? . . . Помните его письмо неизвестной: «Я должен любить вас вечно. . . если я сам не могу быть счастливым, я по крайней мере найду счастье в вашем». Не испы-

тав этих чувств, мог ли бы он раствориться в этом небе в одно из высших мгновений жизни?

Высокое небо, под созвездиями или облаками которого по-новому понимаешь мир и себя в мире, может быть, до большой любви, как у Андрея Болконского, может быть, после, как у Руссо. Человек, который его увидел, любил или (что, по-моему, естественнее, хотя Руссо существовал реально, а Болконский — лицо вымышленное) будет любить высоко и самоотверженно. Ибо любовь и перестраивает наше существо, утончая, углубляя его духовно, и нуждается сама в этой перестройке, чтобы быть узнанной, понятой. Любовь делает нас достойными высокого неба, и само оно — в еще большей степени — делает нас достойными любви.

Лично я никогда не мог вообразить Землю — с лесами, водопадами, радугами, жирафами, солнцем и морем, оленями и запахами осенней травы и... без человека! Рассудком понимаю, что в баснословные эпохи дочеловека существовало это, ибо не человек же насадил леса, и создал жирафа, и сообщил запах осенней траве, но если и существовало, думаю, без человека, то как обещание его, обещание настолько надежное, что на расстоянии миллионов лет оно воспринимается нами как осуществленная реальность. А когда вижу ночное полнозвездное небо или высокое дневное, с бегущими по нем серыми облачками, не могу поверить, что под этим небом никогда не было любви.

Полагаю, что этот возвышенный самообман рожден богатейшими напластованиями душевного опыта, опыта человечности, который сегодня, на излете второго тысячелетия новой эры, несем мы, порой неосознанно, в себе. Сомневаюсь, чтобы человек античности, не говоря уже о более ранних эпохах, столь очеловеченно видел эту землю и это небо.

Чересчур часто в минувшие века видел человек *высокое небо* в себе самом, чтобы сегодня допустить, что там, в беспредельности, оно существует в великом безразличии к нему. И чересчур часто мир души не уступал по разнообразию, богатству и мощи окружающему миру — с его водопадами, лесами, дивными животными и игрой таинственных сил, — чтобы сегодня понимать, переживать эти миры обособленно, в странной, обедняющей отдельности. Если на заре существования человек, чтобы задобрить, очеловечивал наивно, с детскими ужасами и детской надеждой, частности мироздания, то сегодня, умудренные опытом и наукой, мы научились этими частностями управлять или даже создавать их, но мыслить вне человека мироздание, космос мы уже не можем. Ученые объясняют это появлением ноосферы: нового мыслящего покрова, который разворачивается, все более уплотняясь, над миром животных и растений, вне биосферы и над нею. Сознание человечества делает этот мыслящий покров все более могущественным, и уже сегодня он реален настолько, что «фосфоресценция мысли» воспринималась бы марсианами, если бы они существовали. Этот живой огонь, окутывающий Землю, рожден работой мысли и системами действия, рожден миром человека. В него вошло то, что передумано, создано, перечувствовано человечеством и человеком.

Первым заговорил о новой мыслящей оболочке Земли великий русский ученый, советский академик В. И. Вернадский — он и одарил ее выпуклым термином: ноосфера.

В опубликованных недавно ранних письмах В. И. Вернадского жене (он жил с нею по собственному определению «душа в душу и мысль в мысль» 58 лет) он писал: «Одна сила и одна мощь — идея. Я теперь читаю Платона «Пир» (или «О любви»). . . Мне так дорого, что в тебе сильна, красива гармония мысли и что так много хорошо ты мыслью живешь» (письмо от 6 июня 1892 года).

Вернадский любил женщину, которой писал это, и любил в ней самое для него дорогое — мысль: самое дорогое и самое долговечное, может быть, даже бессмертное, потому что в ноосфере живет мыслящее человечество и мыслящая личность, восхождение к истине миллионов людей и поиск ее любимым из миллионов. Миллионы лет человек думал, боролся, любил, действовал, чтобы увидеть *высокое небо* — ноосферу. Увидеть и ощутить великий покой. Этот покой охватывает порою перед картинами великих художников или над томами мудрецов. Мы понимаем то, что больше и выше человека, — жизнь человеческого духа.

В лаконичных и мудрых строках письма академика В. И. Вернадского по самой логике гармония мысли, мощь идеи неотрывны от гармонии чувства, мощи сердца. «Я теперь читаю Платона «Пир» (или «О любви»)...

Когда Руссо писал любимой женщине, что он ставит ее будущность выше собственной и будет любить ее вечно, ноосфера стала богаче, и она помогла потом Льву Толстому в работе над «Войной и миром», и это может показаться фантастическим лишь тому, кто не ощутил великой целостности человечества.

Вернемся к любви... В ней, как и в истории жизни и мысли на Земле, постоянно появлялось нечто новое; оставаясь, по сути, собой, уникальным духовно-телесным совпадением двух личностей, она обогащалась новыми состояниями человеческой души — живой, ищущей, развивающейся. И это, как в зеркале, отражено в поэзии... Когда три с половиной тысячи лет назад поэт-египтянин, чье имя не сохранилось, говорил о любимой: «Лучится ее добродетель и светится кожа ее, Взгляд упоителен, сладкоречивы уста, Без пустословия», он открывал в ней возвышенно-нравственное существо, чье духовно-душевное совершенство нашло чудесное телесное воплощение. И это рождало в нем нечто абсо-

лютно новое — Нежность. Возлюбленная не могла не почувствовать нежности и отвечала: «Стала я счастливейшей из женщин, Сердцу моего не ранит милый». Она на нежность отвечала Восхищением нераненого сердца. Она восхищалась ясновидением его души — и углублялось Понимание. «В одиночестве и то не нарадуюсь любви. Сердце у меня в ладу с твоим», — это говорит она. «Рука моя лежит в твоей руке. По телу разливается блаженство, ликует сердце. Мы идем бок о бок...» — это говорит тоже она. «Вот блаженство — ей повиноваться!» — это говорит не он, а одно из деревьев ее сада. Он пока не поднялся душой настолько, чтобы вымолвить это. Он об этом ей расскажет через тысячелетия, но ведь ясно, что голос дерева не больше, чем поэтическая условность — игра фантазии любящих и игра человеческого сердца, которое познает себя. «Сердце взыграло, имея как бы вечность в запасе, Царица, не медли вдали от меня», — это говорит он. Он назвал ее Царицей и тем самым в тайне сердца тихо-тихо согласился с деревом ее сада, в тени которого он укрыл, будто бы устыдясь, собственную растущую нежность, он по существу — не открыто, но достаточно внятно, — высказал то, о чем напишет потом тысячи песен: повиноваться ей — великая радость. И, совершив эти открытия, выиграл битву... за любовь? — нет, за бессмертие.

На стенах коридоров пирамид начертаны наидревнейшие в мировой истории тексты — в них запечатлено желание человека обрести бессмертие богов. «О, ты, — обращается он к богине, — шагающая так широко, сеющая смарагды, малахит и бирюзу, словно звезды, когда цветешь ты, цвету и я, цвету подобно живому растению». «Твоя любовь — небесный дар...» — обращается не к богине — к возлюбленной поэт.

В юном, неискушенном человеческом сердце объединились желание бессмертия и желание любви. И это

с самого начала — на заре человеческих чувств — сообщило любви ту высоту, которую она не утратит уже никогда. Человеческое сердце, подобно ребенку, делало открытие за открытием. Оно наслаждалось первыми этими озарениями, как наслаждался человек сиянием солнца, когда оно «видно Вовеки и когда оно царит Над гробницами».

«Мы удалились с тобой в страну вечности, чтобы имени наши не были забыты». Страна вечности — любовь.

Чтобы увидеть *высокое небо* (ноосферу), человек должен был его создать. А создавая, он учился *видеть*.

«Быть бы мне перстнем с печатью на пальце твоём. Ты бы меня берегла. . .» «Положи меня печатью на сердце, печатью на руку!»

Человек учился видеть человека. Именно в любви открывалось великое «ты», бесконечная ценность человеческой личности, радость растворения, радость милосердия и умаления себя ради того, кого любишь. Любовь учила тому, что обрело потом самостоятельную силу. В ней рождались ценности, без которых не было бы культуры.

А сердце не уставало открывать, обогащать человеческие отношения и мир абсолютной новизной и совершенством то, что было открыто им раньше. В нежности появлялась горечь, явственно ощущаемая в стихах Овидия, много любившего и остро страдавшего от любви. Но и сама нежность стала шире — она охватывала теперь не одно лишь избранное существо, но и людей, окружающих его, большой человеческий, земной мир. «Быть бы мне черной рабыней, мойщицей ног! Мог бы я вволю кожей твоей любоваться», — восклицал за тысячелетия до нашей эры безвестный поэт-египтянин.

А Овидий в первом веке до нашей эры испытывал нежность и к рабыне, которая касалась тела его любви.

мой. И в этой нежности таилось обещание чего-то большего, чем любовь к одному человеку.

Но и любовь к одному человеку углублялась духовно, и было это тяжким искусом для человеческого сердца. Когда в том же первом веке до нашей эры Катулл после очередной измены любимой женщины открыл, что «обманутым сердцем можно сильнее хотеть, но невозможно любить», он и рассказал о том, как усложнилась человеческая душа, и поднял любовь на новую высоту. Любовь и раньше соединялась с истиной. В любовной лирике Египта, обращаясь к любимой, поэт называл ее Истиной. Но лишь теперь стало ясно, что истина могущественней любви. Перестав быть Истиной, любимая перестает быть любимой. Ведь любимую (и любимого) ищут сердцем — органом, особенно восприимчивым к тому, что не истина.

Читая старых поэтов, мы склонны порой думать, что они не рассказывали о живом чувстве, а отдавали дань поэтической моде или условности. В век Овидия была «мода» на нежность, а в эпоху трубадуров были модными «культ возлюбленной» и «любовь издалека». Но, объясняя то, что нам чуждо или странно, условностью, модой, мы незаслуженно унижаем себя, собственное сердце, ибо, углубившись в его память, найдем ряд живых, насущно важных нам объяснений.

Не исключено, что кому-то в будущие века (далекие-далекие!) покажется утрированным, странным культ детей и детства в наше время, особая нежность к ним, и, читая нас, он сочтет это условностью или модой. Конечно, обратившись к истории, будущий маловеер уяснит, что это чувство обусловили ряд великих событий, но настоящему его не поймет, пока сердце не ощутит тяжесть от тысяч маленьких башмачков в закромах Освенцима и боль от белой молнии, повиснувшей в один августовский день над Хиросимой. И тогда покажутся ко-

щунственными объяснения модой и литературными условностями.

Овидий жил в век внешне театрално-помпезный, но по сути жестокий и безнравственный, век стареющего императора-мецената Августа. Поэты сочиняли в честь цезаря возвышенные оды; в цирке на потеху римлянам умирали рабы. За убийство рабом патриция казнили рабов-детей и рабынь-женщин, живших в его доме. А рабы восставали и мыслили все возвышеннее. Они уже выдвинули из безликой и темной ранее массы философов, которые учили человеческому достоинству, духовным и этическим добродетелям. В Риме высшее общество кутило, интриговало, нежилось, раболепствовало; император и его добродетельная супруга Ливия с искренним лицемерием умных политиков мечтали о возврате сурово целомудренных нравов старого доброго Рима. Жестокость, сентиментальность, ханжество играли в высокое и обращали подлинно высокое в игру. Любовь к параду и парад любви делали само существование чистого, искреннего человеческого чувства (даже самого интимного — нежности к женщине) социально острым и социально опасным. Подлинное, живое делало особенно явственным фальшивое, мертвое. Настоящие поэты, борясь за целостность человеческого сердца, делали его «политически ненадежным». Истинное чувство нелегко совмещать с игрой в любовь — даже к императору, как нелегко, полюбив истину, заставить себя полюбить ложь.

А утратив истину, утрачиваешь любовь. Обманутое сердце не любит. И император — покровитель искусств — удаляет Овидия с его, казалось бы, камерно-невинной «наукой страсти нежной» из Рима на суровый север, где он умер — неизвестно, от холода или тайного яда. У нелюбимых императоров не менее острое чутье на подлинную нежность, чем у любимых женщин; когда она

становится социально опасной, они ее убивают. Можно умереть за идею, за чувство, за человека — за литературную условность и моду не умирают.

А трубадуры! Культ женщины и «любовь издалека», которым посвящены их песни, действительно кажутся на расстоянии веков несколько надуманными, условными. Увидел один раз, а потом ряд долгих лет любил, не видя, воспевал ее идеальную сущность; или не видел ни разу, а полюбил по описаниям путешественников и к ней поехал, поплыл и умер в ее объятиях. . . Но чаще: видел редко-редко в великие избранные дни, в окне башни, и, расставаясь надолго, не забывал, не переставал любить никогда.

Чтобы это постигнуть, надо, наверное, в первую очередь понять: не умом, а сердцем — огромность расстояний в том мире. Сегодня это понять нелегко. Мир умещается в расписании авиарейсов. Кажется, вот-вот он уместится на детской ладони.

Время-пространство мира трубадуров обладает непредставимыми для нас масштабами. Не было даже регулярной почты. И это иное, чем у нас, время-пространство не могло не отразиться в эпоху великих походов и странствий на человеческих отношениях, и в особенности на отношении мужчины к женщине. Уходя в поход, рыцарь расставался с дамой на неопределенный ряд месяцев, лет или десятилетий. Нам это непонятно. Мы расстаемся на два часа, на пять дней или на десять месяцев. Если нас задерживает что-то непредвиденное, сообщаем немедленно по телефону или телеграфом; в нормальной ситуации пишем письма или говорим по телефону, чтобы услышать живой любимый голос. Если нас что-то задержало и мы о себе не сообщили, нас ищут с помощью печально-экстренных служб. . . Мы уехали — мы информировали о себе — мы вернулись. «Пользуйтесь междугородным телефоном». «Летайте самолетами».

Рыцарь мог пользоваться только собственным сердцем или поэтическим даром, если обладал им. Он мог любить (чуть было, утратив чувство юмора, я не написал: «только любить») и петь об этом, неопределенно надеясь, что когда он вернется — когда? — неизвестно — его песню, его сердце услышит уже совершенно непосредственно дама его сердца.

Он уходил с севера Европы на юг и восток, как сегодня космонавты улетают на Луну, но с гораздо меньшим основанием вернуться обратно. «Любовь издалека» была ответом человеческого сердца на неохватность и неопределенность времени-пространства, может быть, даже дерзким вызовом ему. Вероятно, будущее человечество в начальной стадии эпохи развернутых межзвездных путешествий поймет это лучше. . .

С развитием путей сообщения и почты родились, расцвели «романы в письмах»; сегодня стали возможными «телефонные романы» (все более тусклые подобию «любви издалека»); по мере развития техники будто бы падает культ женщины, рожденный, как кажется нам сегодня, поэтической условностью и модой или тем унылым обстоятельством, что только из подлинного далека и можно любить коленопреклоненно.

Конечно, и «мода», и литература, и тоска рыцаря, оторванного надолго от дамы, усиливали этот культ — но не это существенно. Важен новый великий опыт человеческого сердца — опыт восхищения, поклонения, верности. И этот опыт остался в сердце навсегда. Он может выражаться сегодня в новых формах — более будничных или лаконичных и строгих. Но он не может быть утрачен, это то, что вошло навечно в ткань души.

«Я вас любил безмолвно, безнадежно. . .» (А. Пушкин). «Я слезы лил, но ты не снизошла. . .» (А. Блок). «Полухлебом плоти накорми. . .» (О. Мандельштам).

А рыцарь и любил безмолвно, безнадежно, и слезы

лил из-за тех, кто не снисходил к его тоске, и если и мечтал о чувственной любви, то не более, чем о «полухлебе».

«... Чтобы твою младую руку, безумец, лишней раз пожать» (М. Лермонтов). «Хотел бы в единое слово я слить мою грусть и печаль...» (Г. Гейне). «... Я не хочу тебя будить и беспокоить» (В. Маяковский).

И это родственно чувству рыцаря.

«О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней» (Ф. Тютчев). «Обезуметь от нежности и доверчивости...» (Э. Верхарн). «Ты — благо гибельного шага...» (Б. Пастернак).

А это — новое, то совершенно новое, чем человеческое сердце постоянно обогащает мир...

Новая человечность и новая боль.

Существуют люди, которым доставляет утонченное удовольствие ни во что не верить. Они не верят в то, что действительно существовала Троя, им кажется, ее выдумал Гомер; не верят в живую подлинность Беатриче и Лауры, будто бы выдуманных как идеальные образы Данте и Петраркой. Они, вероятно, начали бы убеждать нас, что и женщин в эпоху трубадуров не существовало, если бы это странное обстоятельство не ставило под сомнение их собственное существование.

«Они существуют. Они существуют», — помните, писал о собственных стихах Рильке женщине, которую любил.

Повторим же за ним в более широком смысле: «Они существуют. Они существуют». О городах, о женщинах, о чувствах. Они существуют.

Они не умрут, пока жив человек. «Вратами рая» — назвал Микеланджело брови женщины, которую в старости любил возвышенной, платонической любовью. Они останутся «вратами рая» и через тысячу лет для тех, кто будет любить возвышенно, хотя назовут их, вероятно,

иначе. А может быть, тоже — «вратами рая». Микеланджело был великим художником — его образы не ветшают.

Но и язык чувств, который уже сегодня кажется архаичным, не оставит бесчувственным человеческое сердце, если это язык *чувств*. «Если б я мог, — писал весьма известный в XVIII веке поэт-романтик Готфрид Август Бюргер возлюбленной, с которой не мог соединиться, — добыть тебя ценой того, чтобы без одежды, босому, через тернии, чертополох и репейник, по скалам, льду и снегу обойти всю землю, о, я сегодня еще тронулся бы в путь, а потом, когда истекая кровью и с последней искоркой жизненной силы пал бы в твои объятия, у твоей любвеобильной груди, вновь впитал бы сладострастие и свежую жизнь, — я уверовал бы, что добыл тебя за бесценок».

Пока мужчину не оставит желание «обойти всю землю», чтобы «добыть» любимую, его эти строки не рассмешат. А когда они его рассмешат, он перестанет быть мужчиной.

Перед тем, как вернуться более основательно к письмам, хочу затронуть уже ставшую в нашем веке банальной тему о странностях и парадоксах любви, ибо именно в них опыт человеческого сердца высветляется неожиданно резко, и то, что казалось умершим и забытым, улыбается нам весело, или печально, или иронично. Само выражение это «странности любви», необыкновенно быстро застывшее в тривиальное клише, у старых писателей почти не встречается, оно обрело широкое хождение для обозначения любых отклонений от нормы относительно недавно. Тут, как и во всем мире, или, точнее, как во всех мирах (начиная от мира элементарных частиц и кончая миром галактик или человеческим сердцем), понимание явления как странного зависит от того, в чем полагать норму. Странно ли, что Пенелопа два-

дцать лет ждала Одиссея? Что Петрарка, видевший Лауру издали несколько раз в жизни, после ее кончины помышлял лишь о том, чтобы умереть? Что нестарый, рассудительный Уольполь оплакивал сумасбродно любившую его восьмидесятичетырехлетнюю мадам дю Дэффан.

Странно ли, что жены декабристов пошли за ними в Сибирь, пожертвовав богатством, будущностью, даже детьми? Или, может быть, было бы странно, если бы Пенелопа, любя Одиссея, не ждала его двадцать лет в тот век, когда путешествовали долго и часто возвращались как бы из небытия? И декабристки, с их высокими душами и не менее высоким пониманием долга, не пошли бы за мужьями в Сибирь? И Петрарка быстро забыл бы Лауру?

Понимание странного и нестранного вырабатывает эпоха, господствующие в ней мировоззрение и нравы. Но это не освобождает человека ни от личного понимания, ни от выбора решений. В эпоху Гомера были женщины, которые не ожидали мужей-путешественников, уступая настойчивости новых завидных женихов, и, увы, не все жены декабристов поехали за ними. Некрасовы они казались странными, а Николаю I странными казались Волконская и Трубецкая...

Конечно, чем норма непреклоннее и уже, тем больше странностей; поэтому и не стоит именовать парадоксом любое отклонение от того, что кажется сегодня нормальным и в то же время не стоит отказывать любви в парадоксах и странностях на том основании, что нормально любое искреннее выражение искреннего чувства. Богатство человеческого сердца, разнообразие человеческих отношений, трагическая мощь жизни при самом широком и «гибком» отношении к норме не могут порой не удивлять, а то и потрясать нас. Никто не назовет нормальными судьбу Ромео и Джульетты! Я, конечно, сей-

час назвал имена недостижимо высокие и ослепительно яркие, по отношению к которым кощунственно неуместны все рассуждения о странностях-парадоксах любви, но и сойдя с этих вершин, будем осторожны в наших определениях, в наших суждениях о том, что нормально и что странно.

А пожалуй, постараемся вовсе избежать, если удастся, выражения, ставшего расхожим, и поговорим не о странностях-парадоксах, а о тех или иных историях, в которых неожиданно выявился тот или иной тысячелетний опыт человеческого сердца. Я люблю коллекционировать подобные истории.

Вот — из этой коллекции.

Известному английскому философу Джону Стюарту Миллю было двадцать пять лет, когда он познакомился с женщиной, о которой потом говорил: «В сопоставлении с ее душой все высшее в поэзии, философии и искусстве кажется тривиальным». Она была женой товарища его детских лет мистера Тейлора, с которым он почему-то до этого долго не виделся. Полюбив ее, он в течение двадцати лет, пока был жив Тейлор, поддерживал с ней возвышенно-интеллектуальные отношения: делился любимыми мыслями, читал черновики сочинений, выслушивал ее суждения. Он посвятил ей большой труд «Политическая экономия». Он видел ее два раза в неделю, и ему не нужна была больше ни одна женщина в мире. Общение с ней было для него источником постоянной радости и новых сил.

Позднее, оставшись один, он писал о ней в «Автобиографии»: «По темпераменту и умственному складу она в молодости несколько напоминала мне Шелли; но Шелли был ребенком перед ней, когда она достигла полной умственной зрелости. В высших сферах умозрения так же, как в мельчайших деталях повседневной жизни, она всегда умела схватывать самую суть явления...» Он

был убежден, что она стала бы одним из вождей человечества, если бы женщинам был открыт доступ к общественной жизни. Он любил ее настолько, что никогда не боялся показаться чересчур восторженным или смешным.

Когда Тейлор умер, она стала женой Милля; они жили замкнуто и уединенно; им никто не был нужен; она умерла через семь лет в Авиньоне, куда он поехал ради нее по совету врачей. «Отныне, — писал Милль в Англию, — жизнь моя подточена в самом корне». Он умер через несколько лет в том же Авиньоне, городе, в котором Петрарка увидел Лауру.

Старого философа похоронили рядом с его женой.

Французский философ Огюст Конт в сорок четыре года разошелся с женой, которая то и дело обманывала его доверие, и решил в уединении полностью посвятить себя сосредоточенным умственным занятиям. Но именно тогда он, уже немолодой, полюбил первый раз в жизни. То была любовь-поклонение, любовь-культ. Она его не любила. Они переписывались; за год (потом она умерла) он написал ей девяносто шесть писем и тоже около ста от нее получил. Это был в трезвом XIX веке, пожалуй, последний роман в письмах в истории «европейской любви» — самый патетический и самый несчастливый.

Он хотел, чтобы она стала его женой, она отказывалась, колебалась, соглашалась, раскаивалась, отстраняла его и страдала сама от одиночества. Она заболела чахоткой и умерла на руках у Конта. Ежегодно потом он писал «Исповеди» — письма, обращенные к ней, вечно живой. Он перечитывал ее письма — по одному, именно в то число, когда они были написаны. Он стоял молитвенно на коленях перед креслом, на котором она сидела. . .

Ни Милль, ни Конт лирикой трубадуров не увлекались, но опыт сердца, воплощенный в песнях трубадуров, жил в сердцах философов.

Хотя я выше и высказывался за осторожность в опре-

делении странного и нестранного в любви, подлинно странное в ней, а если говорить шире: в человеке — существует бесспорно.

В философии Милль развивал теорию утилитаризма (разумеется, имеющую мало общего с утилитаризмом в понимании житейском, но в то же время и отстаивающую строго критерии пользы и удовольствия); Конт обосновал «положительную философию» — позитивизм; но до чего же не в ладу с головой были их сердца!

Существуют и истории настолько странные, что кажутся неправдоподобными. Одна из них рассказывает о весьма известном в начале XVIII века немецком поэте Генрихе Штиглице и его жене — Шарлотте. Бескорыстием и самоотверженностью Шарлотта напоминает А. Н. Сологуб-Чеботаревскую. Время от времени Шарлотта делает мужу-писателю подарки: в его отсутствие оставляет на его столе те сцены и страницы, которые ему не удавались. Она избаловала и в то же время восхищалась им настолько, что, путешествуя с ней, он записывал каждое ее слово: о пастухе, о хижинах, увитых виноградной лозой, о цветах и фруктах или о состояниях человеческого сердца, зависящих от вида той или иной местности. . . Она любила его и была, как все любящие, склонна не судить любимого, а жалеть, и видела не падающий талант избалованного, капризного и душевно мельчающего человека, а усталость, несчастное затухающее сердце, силы, которые подорваны, но могут воскреснуть. Она видела в нем гения, который заснул и должен быть разбужен.

Но ни путешествия, ни музыка, ни даже ее любовь не могли ничего поделать с его мрачной расслабленностью. И тогда, чтобы разбудить его гений, она совершает — обдуманно и трезво — безумный шаг: полагая, что лишь огромное потрясение может вызвать в нем подъем сил, кончает с собой, закалывается кинжалом.

Возвратясь вечером с концерта, он застаёт ее мертвой.

Через несколько лет по улицам Венеции — от кафе к кафе — шел одряхлевший, опустившийся человек в поношенном сюртуке, нескладно мотавшемся на нем, с запущенной седой бородой. Позируя, рисуясь, рассказывая об этой нашумевшей в Европе истории.

Он не стал великим. Была ли великой ее любовь? Ясно одно: это — любовь. Не надо идеализировать трагические, или трагикомические, или чисто комические чудачества в любви, но не надо забывать, что от чудачеств обычных они отличаются тем, что за них уплачено самой дорогой, бесценной валютой: сердцем, жизнью.

Умный мужчина, раболепно угождающий всю жизнь пустой бездушной женщине, может вызвать улыбку, но эта улыбка должна быть сочувственной, если мы не хотим быть еще менее мудрыми, чем он. И по неизведанным законам человеческого сердца, не ощутив хотя бы ироничного сочувствия к нему, мы не пожалеем от всей души и Отелло. И сами не испытаем восхищения женщиной, даже тогда, когда она больше чем достойна восхищения.

Дело в том, что человеческое сердце, при всей сосредоточенности на избранном существе, обычно любит нечто большее, чем одного человека.

В этом одном человеке оно любит все, чему с детских лет радовалось в мире: первое посещение театра, первую встречу с морем; оно любит первые опыты жизни и все последующие, углублявшие веру в жизнь: первую любовь, путешествия, тома мудрецов, осенние леса и работу, работу, делающую мир человечнее, чище.

Этот талант любящего сердца в одном чувстве к одному человеку сосредоточивать чувства, которые испытывало оно ко всему, что дорого в мире, обнаруживается с особой силой в последней любви.

Французский художник Пювис де Шаванн встретил женщину, которая стала его первой и последней женой, когда было ему уже семьдесят три года. Она умерла через год.

Он пережил ее лишь на два месяца. За эти два месяца он успел написать ее портрет, странно похожий на те возвышенно-печальные женские лица, которые он рисовал с дней юности в отшельнической долгой жизни. Он высматривал их будто бы в собственной душе, где жили надежды, воспоминания, страхи, сны.

Это был печальный и замкнутый человек, не желавший мириться с тем, что люди и жизнь делаются все более «некрасивыми». Он был современником импрессионистов, но в отличие от них не искал новую красоту в резко меняющемся мире, а пытался возродить старую. На его серовато-жемчужных полотнах тихо радуются жизни женщины, дети, старики. . . чуть было не написал: античного мира, но это было бы неточно; вот если бы люди античности, в особенности женщины, получили в дар от богини мудрости лучшее из душевного опыта последующих веков и поколений, они, вероятно, соответствовали бы образам Шаванна. И вот эти образы были странно похожи на портрет женщины, которую он в старости полюбил и потерял. Точнее, портрет был похож на них — не потому ли, что в ней он любил все, что жило в его душе.

Пювис де Шаванн в те два месяца, когда, овдовев, он, старый затворник, возлюбивший одиночество с юных лет, узнал первый раз в жизни, что такое одиночество, успел написать и автопортрет. Видя на стене рядом оба портрета — его и ее — вспоминаешь строку Бориса Пастернака: «Я кончился, а ты жива. . .» Действительно: он — мертв, живая — она.

Этот ее портрет чем-то похож на одну картину, написанную при ее жизни. Но странно: на ней изображе-

на девочка. В ней он любил ее детство и собственное детство любил тоже.

Картины, написанные им за долгую жизнь, — письма к ней. . .

История человеческих чувств — история восхождения ко все большей человечности. Быть может, самое романтическое в этой истории — романтизм русской любви. Отношения Онегина и Татьяны известны нам с детства в мельчайших подробностях, как те или иные события в собственной нашей семье, живущие в изустной передаче долгий ряд лет. И так же мало склонны мы удивляться им: это нечто устойчиво-домашнее и само собой разумеющееся. Она его увидела в деревне, полюбила, написала письмо; отвергнутая им, вышла замуж за немолодого генерала, из ничем не замечательной сельской девушки стала великосветской дамой; он увидел ее на балу, полюбил и был ею отвергнут из чувства долга, хотя любила она его по-прежнему. Об этом в детстве рассказали нам и роман и опера. «Я к вам пишу, чего же боле. . .» «Вы мне писали. . .» «Ужель та самая Татьяна. . .» «. . . И буду век ему верна». И это не удивляет, а волнует, тихо и сладостно, как семейная легенда. А между тем тут удивительно все, удивительно ошеломляюще, и не подробности удивительны, а сами события. Увидела, полюбила — это понятно. А вот написала письмо с романтическим и человечным объяснением в любви. . . Написала первая. . . Кто, когда — в литературе ли, в жизни — отваживался из девушек на это? Да еще в век устойчивых нравов и традиций, «кропотливого материнского дозора», когда при всей фривольности дворянско-помещичьей жизни девушка не смела и помыслить о том, чтобы объясниться — в письме! — в любви первой.

Широко известная отповедь Онегина начинается несколько странно: «Вы мне писали, не отпирайтесь. . .» А, собственно говоря, почему она должна отпираться?!

Да потому, что и Онегин, как и любой из повес той поры, не понимает, как можно написать подобное в трезвом уме и твердой памяти и не пожалеть в душе об этом. Для него это нечто безумное, ночное, от чего естественно отречься, когда возвращается утренняя ясность ума. И если бы Татьяна отрелась, он отнесся бы к этому, наверное, с пониманием и радостью, несмотря на то что ему хотелось развлечь себя трезво взвешенной речью. Но она и не думала отпираться. Это написала она. В ее безмолвии после великолепной онегинской отповеди, не растерянность, а верность себе. И верность ему. В эту минуту она верна ему безраздельно, как будет верна потом, любя его по-прежнему, нелюбимому мужу. Трагедия Татьяны — это трагедия верности.

Ее письмо — героическая попытка стать выше всех условностей, нравов, традиций, чтобы поверх всех барьеров — человечно и высоко — соединиться с любимым. Она отдает себя ему со страхом и бесстрашно, открыто и со стыдом. В истории чувств нет ни одного женского письма, равного по отваге сердца письму Татьяны.

И пожалуй, самое неудивительное в этой удивительной героине то, что она после замужества отвергает любимого человека. . .

Это единственное событие, которое можно отнести к само собой разумеющемуся.

Татьяна, тайна ее верности, хорошо объясняет героизм жен-декабристов. Становится одинаково понятным и то, что Александра Муравьева не могла не поехать в Сибирь к любимому мужу, и то, что Мария Волконская не могла не поехать к нелюбимому.

Объясняет Татьяна и последующее поколение русских женщин — подруг «идеалистов 30—40-х годов», не менее возвышенных, чем их мечтательные возлюбленные, но более решительных, талантливых не в одном лишь чувстве, но и в действии. . .

Объясняет она и наших современниц. Она объясняет их душевный мир, потому что она же и формирует его. Она дает уроки. «Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества», — четко сформулировала Марина Цветаева, рассказывая о том, что всю жизнь, полюбив, писала первая только потому, что в детстве видела в театре, как это делает Татьяна.

«У кого из народов такая любовная героиня: смелая и достойная, влюбленная — и непреклонная, ясновидящая и любящая».

Девочка Марина играла, росла в Москве, на Тверском бульваре, у памятника Пушкину. На излете был пушкинский девятнадцатый век. Черный, чудный, чугунный памятник Пушкину воспитывал в ней на всю жизнь любовь ко всему черному: к неграм, к каторжному труду, к невозможной, несчастливой любви.

Черный чугунный памятник был первым уроком мысли. Он объяснял, почему Татьяна застыла статуей, когда Онегин читал ей в саду нравоучения. Это самый достойный и долговечный ответ судьбе.

У начала XX века, наряду с великими событиями, стояли и маловажные, не события даже, а подробности, мимолетности, нечто по мерке исторических масштабов страшно несущественное, но тем не менее имевшее отношение к нарождавшемуся столетию.

Под охраной памятника Пушкину играла девочка, ставшая потом великим трагическим поэтом. Кончилась первая любовь Блока (в конце 1899 года он видел последний раз Ксению Садовскую).

Был опубликован небольшой чеховский рассказ «Дамы с собачкой» (в декабре 1899 года); в рассказе этом о любви стареющего Гурова к Анне Сергеевне, в которой «есть... что-то жалкое все-таки», описано с ясновидением, характерным для крупных художественных открытий, то, чем будет в новом веке мучиться человеческое

сердце. Великую литературу XIX столетия завершал — календарно — рассказ о последней любви.

XIX век был веком первой любви — и в жизни и особенно в литературе (за исключением Тютчева, чья последняя любовь была отвергнута современным ему обществом). В сущности, если посмотреть трезво, XIX век был веком первой любви, потому что социальные и религиозные традиции, устойчивый уклад были весьма строги к интимному миру личности — ей разрешалось быть более или менее «безумной» лишь раз в жизни, на ее заре. (Играло тут известную роль и то обстоятельство, что люди раньше старели. Для Достоевского и Тургенева пятидесятилетний мужчина — это старик. Толстовскому Каренину пятидесяти еще нет.)

XX век стал веком последней любви. В первые десятилетия, потому что люди рано уходили из жизни, и первая любовь часто была и последней, но больше последней, чем первой, ибо суровые испытания умудряли отношения и сердца, а во второй половине столетия последняя любовь как особое великое человеческое чувство раскрылось тем, кто был лишен в жизни первой любви из-за исторических бурь или обделен ею.

«Не досыпая, не долюбя, молодость наша шла...» — писал в двадцатые годы Эдуард Багрицкий. Это могло повторить и последующее поколение. Последняя любовь — торжество человеческого сердца над тяжкими испытаниями века. Оно решило: долюбить. Об этом рассказывают стихи Заболоцкого, Пастернака, Ахматовой. Гуров и дама с собачкой, растерянные, счастливо-несчастные, вошли в двадцатый век, чтобы неразрешимостью собственных отношений научить любящих ничего не бояться.

Историк человеческих чувств когда-нибудь объяснит убедительно и подробно, почему век первой любви буднично, неприметно, через небольшой рассказ пере-

шел в век последней любви. Можно надеяться, что будут отмечены и гений Чехова, и гений человеческого сердца, оказавшегося не менее нежным, но более жизнеспособным, чем полагали некогда лирики: при всей ранимости разбить его нелегко и непросто (само выражение это: «разбитое сердце» в XX веке вышло из употребления): сердца разрываются, а не разбиваются...

В стихах, написанных в девятнадцатом веке, господствует тема *встречи*. В поэзии двадцатого столетия появляется тема *невстречи*. Она возникает почти беспечно у юной Цветаевой («...за наши не-гулянья под луной, за солнце не у нас над головами») и раскрывается печально и умиротворенно у поздней Ахматовой («Но в память той не встречи шиповник посажу»). Она достигает ликующей трагической мощи в известных ахматовских стихах: «Сюда принесла я блаженную память последней не встречи с тобой, холодное, чистое, легкое пламя победы моей над судьбой». Эта же тема живет в странном названии стихов: «При непосылке поэмы».

В век разлук и утрат не встреча становится реальностью, действительностью, формирующей нечто новое, живое, развивающееся не в меньшей степени, чем это делала раньше встреча.

«Когда я смотрю на два обнявшиеся тела, — говорил великий скульптор Роден, — мне интересны не мужчина и не женщина сами по себе, а та новая, третья субстанция, которая порождается этим взаимоотношением двух и которая без их контакта возникнуть не может».

И вот оказалось, что «новая субстанция» может родиться из несоединения, неслияния двух, что не встреча — это целый мир, где несбывшееся, мечта, надежда, сон становятся высокой явью, обладающей мощью, которой может позавидовать то, что создано из камня и меди.

Эту явь Ахматова соткала в стихи в последнее де-

сятилетие жизни. Их можно назвать героическими, потому что в нашем понимании герой — тот, кто расширяет возможности человека. В шестьдесят, шестьдесят пять, семьдесят пять лет она говорит о любви с той неистраченностью души, женской силой и человечностью, которые делают ее личную победу общечеловеческой победой. И с ней повторяя: «И это все любовью бессмертной назовут», мы передаем дальше, новым поколениям, в новые века и тысячелетия, факел, полный не утихающего огня. Человеческое сердце в ситуации невстречи, при непосылке поэмы, под солнцем не у нас над головами засияло ослепительно, явив миру очередное человеческое чудо. Оно — в торжестве духа, который, как мы помним, рожден солнцем. Дух не стареет и не умирает, как не стареет и не умирает солнце, оно заходит и восходит. И женщина, которая говорит: «Пусть влюбленных страсти душат, требуя ответа, мы же, милый, только души...» — не стареет и не умирает.

Мысль о солнце вызывает у меня воспоминание о старинном голландском живописце Вермеере Дельфтском¹, чьи картины явно и тайно им напоены. Солнце укрывается в тяжелых портьерах, трогает яблоки на столе, нежно пятнает стены, — оно горит, меркнет, задремывает, сквозит, оно переливается в воздухе комнаты. Оно распахивает окно, обнимая женщину, и кажется, что именно им вылеплено в ее руке письмо.

На картинах этого художника женщины часто читают письма или пишут их — это один из самых любимых его сюжетов, что историк живописи объяснит особой склонностью художника к изображению одиноких, углубленных в какое-то действие фигур, а историк нравов

¹ Вермеер Дельфтский Ян (Вермер Делфтский) — вторая половина XVII века.

и человеческих чувств — той большой ролью, которую играло письмо в жизни его современников и современниц, даже в таком маленьком городе, как Дельфт. Для нас сейчас важно второе объяснение. Действие, на котором сосредоточена юная женщина, может быть и игрой на клавесине, и рассматриванием себя в зеркале, и даже переливанием молока из кувшина в чашку — Вермеер изображает и клавесин, и зеркало, и кувшин, но нас не оставляет мысль, что женщина, задумчиво музицируя или переливая молоко, думает все равно о письме, полученном сегодня или ожидаемом завтра, она думает о письме и тогда, когда его, казалось бы, нет и в помине, потому что письмо — самое большое событие в ее жизни.

Та истина, что подлинная любовь духовна, а дух — дитя солнца, на картинах Вермеера, изображающих юных женщин с письмами, получает почти телесную достоверность. Чудо живописи делает чудо любви осязаемо реальным. Кажется, что все совершается при нас: луч солнца отвердевает в листок бумаги, минута застывает в вечность и в письме, которое читает женщина, содержится нечто, от чего зависит и наша судьба.

Полотна Вермеера, хотя его волновала живопись, а не мораль, дают уроки сосредоточенности. Без сосредоточенности нет любви. Общение с письмом для его женщин — таинство, будничное таинство, потому что пишут им часто и они часто отвечают (географические карты на стенах изображенных им комнат напоминают, что то был век путешествий и великих открытий). Письма играли огромную роль в жизни людей, формировании отношений, они были событиями, которые хотелось переживать в одиночестве и тишине, наедине с миром и солнцем.

Будем учиться перед картинами старинного — из тихого города Дельфт — живописца искусству читать

письма. И — перечитывать их. И будем помнить, что наши вылеплены тем же солнцем. Да не оставит нас мысль, что наши пальцы — наше сердце осязают луч солнца. Он делает бессмертным и первую и последнюю любовь.

Одна из интересных особенностей дельфтского живописца заключается в том, что женщины на его картинах стоят к нам вполоборота, и даже вовсе спиной, но все же мы видим их лица, отраженные в стекле окна или в зеркале. Мы видим их тогда, когда они как бы не хотят, чтобы их видели. Возможно, что для Вермеера это было не больше чем живописным эффектом, он мыслил кистью, но он *мыслил* как любой большой художник, и, исследуя тайну живописи, исследовал тайну человеческой души. Всматриваясь в туманные отображения женских лиц, мы видим, угадываем, скрытую от нас жизнь души. Женщина в письмо погружается, как в музыку, ее душа озарена, как комната, в которой она стоит. И оттого, что мы это понимаем, между нами и одинокой фигурой на картине устанавливаются те же интимные отношения, что между ею и письмом. Сама картина становится письмом, посланным нам. В этом письме объяснение в любви, в любви к миру, к миру, в котором совершенны дела и вещи. Мы видим на одной из его картин тихую, вымытую, сонную, пустынную, как собор в непраздничное утро, улочку Дельфта, чем-то похожую на отрешенных, очаровательно будничных, покоящихся в себе женщин. Те, кто писали им письма, должно быть думая о любимых, думали и о городе, не отрывном от них. Но важнее и интереснее, что путешественники, попав издалека в этот город, узнавали в нем оставленных там, за горами-морями, возлюбленных. (Даже мы сегодня, перед картиной, узнаем в ней ту, кого любим.) Тут действует открытый Стендалем закон, по которому все лучшее в мире напоминает нам любимого человека,

являясь как бы самой сутью или развитием его достоинств. Соборы, линии берегов, улицы, заливы, башни, каналы, горы, картинные залы, очертания городов. . . Поэтому объяснение в любви к миру в сущности не больше, чем объяснение в любви к одному человеку. Не больше, потому что в одном человеке мы любим весь мир.

Английский писатель Льюис, исследуя любовь, пишет, что когда-то делил ее на любовь-дар и любовь-нужду. Любовь-дар — это чувство, которое испытывает мать к ребенку; любовь-нужда — то, что испытывает испуганный ребенок, бегущий к матери. Льюису казалось, что любовь-дар выше несопоставимо любви-нужды, потому что ничего ей не надо — она хочет лишь одарять любимого. Ему это казалось, пока он не понял: и любовь-нужда высока.

Поняли это сейчас и мы с вами. Не нужно делить любовь на высшую и низшую. Высшей без низшей, низшей без высшей не бывает. Чувство, которое старая дю Дэффан испытывала к Уольполю, бесспорно, любовь-нужда. Но постепенно она стала любовью-даром: она Уольполя одарила уверенностью, что в одном уголке Земли о нем думают, его жалеют, им восхищаются, его ждут. А без этого нечем жить и дышать самому сухому, бесчувственному (что к Уольполю не относится) человеческому сердцу. Любовь-нужда беспредельно человечна, это и делает ее не менее высокой, чем любовь-дар. И вовсе она не удел бедных душ.

Любовь-дар, наверное, неотделима от любви-нужды. Все мы нуждаемся в любимом человеке и хотим его одарить, и одаряем тем, что не можем без него жить, при том, конечно, условии, что сами мы боремся, не переставая, с деспотическими устремлениями в «нашей нужде» и собственным эгоизмом.

Не случайно, наверное, почти на всех языках мира называют одинаково любовью чувства в сущности различ-

ные: любят и женщину, и то или иное время года; любят и собаку, и тот или иной сорт яблок; любят ребенка, лес, родину; любят торт или пирожное и того или иного композитора... Не размывается ли «люблю», делаясь неопределенным, малосодержательным и будто бы даже безответственным от этого бесконечного разнообразия явлений духовной, душевной и даже животной жизни, которые уместаются в нем. Не кощунственно ли, что мы говорим «Я люблю...» единственной в мире женщине и «Я люблю антоновские яблоки», которые — не трагедия — можно заменить белым ранетом.

Что же делать? Выдумать, как хотел Б. Пастернак, «кличку иную»? Видимо, языковая изобретательность и языковые богатства любого народа позволили бы «выдумать» (существуют же тончайшие определения для тончайших оттенков любви), если бы надо было по существу называть это по-разному, если бы любовь к женщине и любовь к родине, любовь к лесу и любовь к собаке не сосуществовали в духовном единстве, которое нерасторжимо.

Это определение — абсолют. Человек, говорящий «люблю тебя», объясняется в любви всему миру. И обнимает сердцем весь мир — с лесами, собаками, антоновскими яблоками, и музыкой, и чистой водой, с работой, которая по сердцу, и картинами в старом музее.

Но в этом духовном единстве существует и определенная иерархия — мы уже коснулись ее в разговоре о том, что для рыцаря честь выше любви. Если она для рыцаря ниже любви, это нарушение иерархии, разрыв духовного единства. Но данные материи весьма тонки. Более явно нарушает иерархию человек, любящий гастрономические удовольствия больше, чем общение с морем или лесом. И опрокидывает иерархию тот, для которого собственное «я» дороже родины, хотя никому не возбраняется себя любить. Но это уже вовсе не любовь.

Подлинная любовь строго иерархична. Не отрывая низшего от высшего, она никогда не поменяет их местами. И именно это сообщает красоту и силу даже любви к антоновским яблокам или вишневому варенью, потому что с ними и в них любят родные сады, родных людей, родную землю; но не больше, и именно поэтому яблоки истинно дороги тем, кто их любит.

Нарушив иерархию, мы убиваем любовь, хотя в ослеплении нам мерещится, что, наоборот, мы ее возвеличиваем. Именно иерархия любви дает нам силы выстоять под ударами судьбы, при самых тяжких, непоправимых утратах. Рембрандт теряет жену, дом, детей, но у него остается искусство, венчающее иерархию — лестницу любви в его жизни. Об этой великой особенности любви и человеческого сердца человек стал задумываться рано — о ней повествует широко известная библейская легенда об Иове.

Иов был добродетельнейшим человеком, но бог, дабы испытать силу его любви, чистоту его сердца, разрешил сатане отобрать у него стада, и дочерей, и сыновей, и покрыть его тело язвами. . . Безмерность утрат и бед не ослабила любви Иова к истине, веры в ее торжество и силу. За эту любовь вернулись к нему и дети, и стада. Иов — один из самых загадочных образов в истории человеческого духа (как и Рембрандт). Чтобы понять его, надо понять иерархию любви. К Иову вернулось утраченное. И мы радуемся с ним. Но существует, как мне кажется, последняя тайна Иова: когда все к нему вернулось, он испытал. . . печаль. Печаль? Но вернулось самое любимое, самое любимое. Но было и самое, самое, самое любимое. И это он не терял. Он испытал печаль, потому что любовь утратила ослепительную сосредоточенность на высшем. Рассредоточенность любви большинство людей не ощущают; почувствовать ее можно лишь чересчур дорогой ценой.

Высшим в иерархии любви может быть родина, человечество, истина, честь; а может быть искусство у великих художников, как Рембрандт, или бог у верующих, как Иов.

П. П. ШМИДТ — З. И. РИЗБЕР

1 ноября 1905 г.

С добрым утром, дорогая моя Зинаида Ивановна! Вставайте! Теперь уже 7 часов. На душе детская радость! Я встал в 5 и до сих пор... читал ваши письма. Как хорошо мне с ними в моей темнице! Да, я писал, что мне в бою будет «не до вас». Да, писал. Ведь вы видите, как я сильно люблю вас, видите? Верите? Не можете не верить, потому что от этого неверия «камни возопиют». Люблю бесконечно, нежно и сильно, а все-таки мне в бою будет не до вас. И теперь повторяю это, и если бы этого не было, если бы вы могли меня отвлечь от боя, то вы сами потеряли бы ко мне уважение и я сам был бы недостоин вас. А теперь, когда мне в бою «не до вас», я знаю, что я достоин вас и смело протягиваю вам руку, как равноправный друг, а не раб. Хотя мне очень хочется опуститься перед вами на колени! Право, хочется, — но и тогда, на коленях, я останусь просто безумно, чисто, свободно любящим, а не рабом. Не рабом своего счастья, понимаете? ..

Эту иерархию ощущаешь, как живую, читая письмо Петра Петровича Шмидта женщине, которую он любил, — Зинаиде Ивановне Ризбер. Письмо написано им в тюрьме после революционных событий на кораблях Черноморской эскадры в 1905 году.

Но существует и низшее в этой иерархии, и оно при всем возможном разнообразии высшего должно быть,

в сущности, одно, одно-единственное, если мы не хотим, чтобы иерархия обрушилась. Любовь к себе, даже выскажусь резко — наше собственное «я» должно быть в основании иерархии любви. Если это и умаление, то не более обидное, унижительное, чем умаление любого основания, фундамента, от надежности которого зависит судьба возвышающихся над ним этажей.

Но разве «я» не должно быть ярким? И разве наша собственная личность не должна освещать жизнь?

Чтобы лучше это понять, расскажу одну сегодняшнюю историю. О ней, наверное, хорошо написал бы Андерсен.

В Канаде стаи перелетных птиц все время разбивались ночью об ослепительно освещенную и высоченную телебашню. Тогда погасили огни, чтобы они не манили, не убивали птиц...

Надо быть ярким, но не надо, чтобы о тебя разбивались.

Мне хотелось бы подарить читателю нечто большее, чем томик, содержащий ряд замечательных свидетельств величия человеческого сердца. Хотелось бы подарить ему мир... чуть было не написал «воспоминаний». Но этот мир — живой, он вечно живой и сегодняшний, в нем и сейчас наслаждаются тишиной долгого пастушеского дня Дафнис и Хлоя, и ищет Изольду Тристан, и помнит



П. П. ШМИДТ

чудное мгновение Пушкин. Иногда этот мир шлет нам послы, мы их, к сожалению, часто не узнаем. Это те, кто нас любит. Это — любящие нас. Не узнавая или отвергая их, мы не узнаем или отвергаем и мир, который их к нам послал.

Я люблю у Монтеня одну бесхитростную историю: он рассказывает о стране, где новогодний подарок царя состоит в том, что он посылает подданным огонь из собственного очага, и, когда появляется с факелом царский гонец, все огни, до этого горевшие в доме, должны быть погашены. Вообразите: новогодняя ночь, дом с погашенными огнями в ожидании царского подарка, а потом созвездие огней, затмевающее небо. И это больше чем живописно, это человечно, потому что дом стоит в непроницаемой темноте, открытый, с доверием к миру, который одарит его милосердным огнем.

Будем ожидать и мы этого милосердного огня открыто, с доверием к мудрости человеческого сердца.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть I. ВОСХОЖДЕНИЕ

Два голоса	9
Начало	13
«Славная добродетелями...»	17
Старый парус	26
Накануне	48
Письмо перед казнью	69
Нечто странное	88
Как они любили	109

Часть II. ОГОНЬ ПОД ПЕПЛОМ

Два голоса	133
Тайна сия...	135
Странный русский роман	155
«В тревогах мирской суеты...»	179
«Такая живая...»	194
Как они любили	218

Часть III. ВОЗВРАЩЕНИЕ К СТЕНДАЛЮ

Два голоса	241
Удар молнии	247
Как они любили	312

Эпил о г. ВРЕМЯ ВОСКРЕШАТЬ

1 ББК 87. 7

Б 73

Для старшего возраста

Евгений Михайлович Богат

ЧТО ДВИЖЕТ СОЛНЦЕ И СВЕТИЛА

ИБ № 2027

Ответственный редактор Э. П. Микоян.

Художественный редактор Е. М. Ларская.

Технический редактор Л. П. Костикова.

Корректоры К. И. Каревская и Е. И. Щербакова

Сдано в набор 12/VI 1978 г. Подписано к печати 17/XI 1978 г. А 14633. Формат 70×108^{1/32}. Бум. офс. № 1. Шрифт академический. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Уч.-изд. л. 16,21. Тираж 100 000 (1—50 000) экз. Заказ № 568. Цена 80 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр. М. Черкасский пер., 1. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавополиграфпрома Государственного комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 2-я Советская, 7.

Богат Е. М.

Б 73 Что движет солнце и светила: Любовь в письмах выдающихся людей/Худож. Л. Зусман. — М.: Дет. лит., 1978. — 383 с., ил. (Люди. Время. Идеи)

В пер.: 80 к.

Эта книга поможет старшим школьникам в познании подлинных ценностей личности человека: его творческих возможностей, духовного богатства, искусства общения с другими людьми, высоких нравственных идеалов, чувства ответственности перед другими людьми, перед обществом. В книгу включены письма многих выдающихся людей прошлого и современности, в которых раскрываются лучшие качества и богатство человеческой души.

70803—554
Б—————**51Р—78**
М101(03)78

ББК 87.7
I





80 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»